

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 6

И Ю Н Ъ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА“
МОСКВА—1928

Главкит № А—19587

Тираж 4.000

Тип. газеты „Правда“. Москва, Тверская 48.

СОДЕРЖАНИЕ.

| | Стр. |
|---|------|
| Ф. Энгельс.—Истинный социализм | 5 |
| Н. Зинкелродцев.—Ге ель и современные неогегельянцы | 32 |
| Д. Франкфурт.—Учение В. М. Бехтерева и ма.ксизм | 48 |
| — | |
| А. Богданов.—К вопросу о закономерности исторического развития капитализма (Критика теории больших циклов проф. Кондратьева) | 80 |
| С. Аленко.—Количественная теория денег. (Опыт методологической «критики») | 99 |
| — | |
| А. Малок.—Андре Лео (Из истории революционно-социалистической публицистики Парижской Коммуны 1871 г.). | 133 |
| Э. Зегер.—Жан Варле в эпоху термидорианской реакции | 157 |
| — | |
| И. Дукор.—Рефлексология и искусство (По поводу книги А. Иванова „Искусство.—Опыт социально-рефлексологического анализа“). | 171 |
| — | |
| А. Греб.—Диалектика и логика как научная методология. | 183 |

Критика и библиография.

| | |
|--|-----|
| Ф. Клявалюш.—Архив социальных наук и социальной политики. Ежегодник политической экономии и статистики | 196 |
| И. Альтер.—В. Зомбарт. Хозяйственное развитие в эпоху новейшего капитализма | 208 |
| И. А.—Роза Люксембург. Ораторы революции. | 212 |
| А. Водик.—Предшественники научного социализма в отрывках из их произведений. Сост. В. П. Волгина | 214 |
| А. Завальчинская.—Л. Шюккинг. Социология литературного вкуса | 215 |
| А. Боровский.—Ю. Фролов. Учение об условных рефлексах как основа педагогики | 218 |
| Э. Дибельман.—Э. Борель. Основные идеи алгебры и анализа | 225 |

Сообщения и заметки.

| | |
|--|-----|
| О работе всесоюзной конференции историков-марксистов | 230 |
|--|-----|



Истинный социализм.

Ф. Энгельс.

Печатаемая статья Энгельса представляет собою главу из «Немецкой идеологии», в которой основоположники марксизма подвергли критике гегелевскую философию и в которой, в противоположность идеалистическим взглядам тогдашней немецкой философии, они заявили разработкой диалектического материализма и в особенности материалистического объяснения истории. Полный текст «Немецкой идеологии» будет в скором времени впервые опубликован т. Д. Б. Рязановым в 27-томном издании сочинений Маркса и Энгельса, выходящем в настоящее время на русском языке. Исособой вступительной статье т. Рязановым будет дана там всесторонняя историческая оценка «Немецкой идеологии» в целом. Поэтому мы пока ограничиваемся только опубликованием текста главы «Истинный социализм», издерживаясь от каких бы то ни было комментариев и оценок.

Редакция приносит т. Рязанову искреннюю благодарность за предоставление в ее распоряжение манускрипта Энгельса «Истинный социализм».

Ред.

Между немецким социализмом и пролетарским движением Франции и Англии наблюдается то самое отношение, которое мы отметили в первом томе (ср. «Святой Макс», «Политический либерализм») между прежним немецким либерализмом и движением французской и английской буржуазии. На ряду с немецкими коммунистами появился ряд писателей, которые восприняли некоторые французские и английские коммунистические идеи, смешав их со своими немецкими философскими предпосылками. Эти «социалисты», или «истинные социалисты», как они себя называют, видят в заграничной коммунистической литературе не выражение и продукт известного реального движения, а чисто теоретические писания, вышедшие из «чистой мысли», подобно тому, как они мыслят себе немецкие философские системы. Они совершенно не задумываются над тем, что в основе этих сочинений,—даже тогда, когда они проповедают системы,—лежат практические потребности и вообще вся обстановка жизни определенного класса в определенных странах. Они разделяют и иллюзию некоторых из этих литературных представителей партии, будто речь у них идет только о «всеприменяемой» общественном строе, а не о потребностях определенного класса и определенной эпохи. Немецкая идеология, в плену которой находятся эти «истинные социалисты», не позволяет им подвергнуть рассмотрению

реальные отношения. Их деятельность в отношении к «ненаучным» французам и англичанам заключается, главным образом, в том, чтобы выставить на посмешище немецкой публики поверхностность или «грубый» эмпиризм этих иностранцев, воспеть хвалу немецкой науке и связать ей миссию выявить, наконец истину коммунизма и социализма, выявить абсолютный истинный социализм. В качестве представителей «немецкой науки» они немедленно принимаются за работу, чтобы выполнить эту миссию, хотя, в большинстве случаев, эта «немецкая наука» остается им почти столь же чужой, как и оригинальные произведения французов и англичан, известных им только из компиляций Штейна, Элькерса и т. п. В чем же заключается истина, которую они преподносят социализму и коммунизму? С помощью немецкой, в особенности гегелевской и фейербаховской, идеологии они пытаются выиснить себе идеи этой литературы, идеи совершенно непонятные для них отчасти вследствие незнания ими чисто литературной связи этих идей, а отчасти вследствие упомянутого ложного понимания ими коммунистической и социалистической литературы. Они отрывают коммунистические системы, критику и периодические издания от реального движения, простым выражением которого те являются, устанавливая совершенно произвольную связь между ними и немецкой философией. Они отделяют сознание определенных общественно-обусловленных областей жизни от самих этих областей и иерархизуют это сознание мерой истинного, абсолютного, т. е. немецко-философского, сознания. Они вполне последовательно превращают отношения этих определенных индивидов в отношения «Человека», они объясняют себе мысли этих определенных индивидов насчет их собственных отношений таким образом, что они являются мыслями о «Человеке». Благодаря этому они покидают реальную историческую почву для почвы идеологии, и, таким образом, при своем незнании реальной связи явлений, они оказываются в состоянии легко конструировать с помощью абсолютного или иного идеологического метода фантастическую связь их. Этот перевод французских идей на язык немецкой идеологии и эта произвольно сфабрикованная связь между коммунизмом и немецкой идеологией и образует так называемый «истинный социализм», который прославляют затем, подобно тому, как торжествуют английскую конституцию, эту «гордость нации и предмет зависти всех соседних народов».

Таким образом, этот «истинный социализм» является просто преобразованием пролетарского коммунизма и более или менее родственных ему партий и сект Франции и Англии на небе немецкого духа — как мы это также увидим — на небе немецкого характера. Истинный социализм, уверяющий, будто он основывается на «науке», является прежде всего, в свою очередь, сам некоей эзотерической наукой; его теоретическая литература существует лишь для тех, которые посвящены в таинства «мыслящего духа». Но у него имеется и эзотерическая литература; интересуясь общественными эзотерическими отношениями, он

должен уже по одному этому вести своего рода пропаганду. В этой экзотической литературе он апеллирует уже не к немецкому «мыслящему духу», а к «немецкому характеру». Это для истинного социализма тем легче, что, интересуясь вовсе не реальными людьми, а «Человеком» вообще, он потерял всякую революционную страсть и провозгласил вместо нее всеобщую любовь к людям. Поэтому он обрывается не к пролетариям, а к обоим многочисленным классам Германии, к мелкой буржуазии с ее филантропическими иллюзиями и к идеологам именно этой мелкой буржуазии, к философам и ученикам философов; он обращается вообще к господствующему в настоящее время в Германии «обыденному» и необыденному сознанию.

Согласно фактически господствующим теперь в Германии отношениям неизбежно было образование этой промежуточной секты, неизбежна была попытка компромисса между коммунизмом и господствующими взглядами. Столь же неизбежно было, чтобы ряд немецких коммунистов, исходивших от философии только путем такого перевода, пришел к коммунизму и продолжал приходить к нему, в то время как другие мыслители, неспособные высвободиться из пут идеологии, обречены проповедывать этот истинный социализм до самой кончины. Мы поэтому не можем знать, остались ли на точке зрения «истинного социализма» те из представителей его, сочинения коих, критикуемые здесь нами, были написаны некоторое время тому назад, или же они ушли вперед от него; вообще мы не имеем ничего против личностей, как таковых; мы просто рассматриваем печатные документы, как выражение неизбежной для Германии, при ее отсталости, линии развития.

Но, кроме того, истинный социализм открыл перед массой младонемецких беллетристов, чудо-докторов и прочих литераторов поприще для эксплуатации социального движения. Отсутствие в Германии реальной, страстной, практической партийной борьбы превратило начало даже социального движения в чисто литературное. Истинный социализм, это—совершеннейшее социальное литературное движение, возникшее без наличия подлинных партийных интересов и желающее продолжать свое существование и после того, как образовалась коммунистическая партия. Само собой разумеется, что с момента возникновения в Германии настоящей коммунистической партии, истинные социалисты вынуждены будут все более и более искать свою публику в среде мелкой буржуазии, а представителей этой публики—среди импотентных и опустившихся литераторов.

«Рейские Летописи», или философия истинного социализма.

А. «Коммунизм, социализм, гуманизм» («Рейские Летописи», т. I, стр. 167 и след.).

Мы начнем с этой статьи, ибо в ней обнаруживается с полным сознанием и чувством своего значения немецко-национальный характер истинного социализма.

Стр. 168. «Повидимому, французы не понимают своих собственных гениев. Здесь им приходится на помощь немецкая наука, которая указывает в социализме разумнейший—если можно только применять к разуму степени сравнения—порядок общества». Итак, здесь «немецкая наука» указывает «разумнейший» порядок общества «в социализме». Социализм становится просто ветвью всемогущей, всемудрой, всеохватывающей немецкой науки, которая основывает даже общество. Правда, социализм—французского происхождения, но французские социалисты были «в себе» немцами, почему действительные французы их и не поняли. Поэтому наш автор может сказать: «Коммунизм»—французское явление, социализм—немецкое; счастье французов, что они обладают таким счастливым общественным инстинктом, который сможет когда-нибудь заменить им научные занятия. Результат этот был предначертан в ходе развития обоих народов. Французам через политику приходит к коммунизму (мы знаем, разумеется, как французский народ пришел к коммунизму); немцы, через метафизику, которая превратилась под конец в антропологию,—к социализму (именно к «истинному социализму»). «Оба, в конце концов, растворяются в гуманизме». После того как коммунизм и социализм превращены в две абстрактные теории, в два принципа, разумеется, нет ничего легче, как сочинить любое гегелевское единство обоих этих противоположностей под любым неопределенным названием. Это дает возможность не только бросить проницательный взгляд на «ход развития обоих народов», но и блестяще обнаружить превосходство спекулирующего индивида над французами и немцами.—Впрочем, все это предложение почти дословно списано из «Гражданской книги» Пютмана, стр. 43 и др. Да и вообще «научные занятия» автора социализмом ограничиваются конструктивным воспроизведением идей, находящихся в этой книге, в «21-м листе» я других произведений из эпохи возникновения немецкого коммунизма.

Мы приведем несколько выдвинутых в этой статье образчиков возражений против коммунизма:

Стр. 168. «Коммунизм вовсе не объединяет атомов в органическое целое». Требовать объединения «атомов» в «органическое целое» имеет такой же смысл, как требовать квадратуры круга.

«Коммунизм, как он представлен фактически в главном своем центре, во Франции, находится в грубом противоречии с эгонистическим развалом государства лавочников; он не выходит из рамок этой политической противоположности; он не достигает безусловной, беспредпосылочной свободы» (ibid). Voilà немецко-идеологический постулат «безусловной беспредпосылочной свободы», которая является только практической формулой для «безусловного, беспредпосылочного мышления». Французский коммунизм, конечно, «груб», ибо он является теоретическим выражением реального противоречия, над которым, однако, он должен был бы, согласно нашему

автору, подняться, потому что он считает это противоречие преодоленным уже в воображении. Впрочем, ср. «Гражданскую книгу», стр. 43.

«Тирания может продолжать существовать внутри коммунизма, ибо он не дает продолжать существовать роду» (стр. 168).

Бедный род! До сих пор «род» существовал одновременно с «тиранией», но так как коммунизм отменяет «род», то именно поэтому он может оставить продолжать существовать «тиранию». Но как же, по мнению нашего истинного социалиста, коммунизм начинает отменять «род»? Он «имеет перед собой массу» (ibid.).

«Человек в коммунизме не сознает своего существа... коммунизм доводит его зависимость до последнего самого грубого отношения, до зависимости от грубой материи—до разделения труда и наслаждения. Человек вовсе не достигает свободной нравственной деятельности».

Чтобы оценить по достоинству «научные занятия» нашего истинного социалиста, при помощи которых он дошел до этого утверждения, приведем для сравнения следующее положение:

«Французские социалисты и коммунисты... теоретически совершенно не познали сущности социализма... даже радикальные французские коммунисты вовсе не преодолели противоположности труда и наслаждения... не поднялись еще до мысли о свободной деятельности... Различие между коммунизмом и миром лавочников заключается лишь в том, что в коммунизме полное отчуждение реальной человеческой собственности должно быть освобождено от всех случайностей, т.е. должно быть идеализировано» («Гражданская книга», стр. 43).

Итак, наш истинный социалист упрекает здесь французов в том, что они обладают важным сознанием своего фактического общественного положения, в то время как они должны были бы содействовать созданию «Человека» своей «сущности». Все упреки этих истинных социалистов французам сводятся к тому, что фейербаховская философия не является последним словом всего их движения. Наш автор исходит из найденного им тезиса о разделении труда и наслаждения. Вместо того, чтобы начать с этого тезиса, он идеологически переворачивает вопрос, начинается с недостающего сознания «Человека», умозаключает отсюда о «зависимости от грубой материи» и дает этой зависимости реализоваться в разделение труда и наслаждения. Впрочем, мы еще увидим образцы того, куда приходит истинный социалист со своей независимостью от «грубой материи». Вообще, все эти господа отличаются необычайной чувствительностью. Все, а в особенности материя, шокирует их; повсюду они жалуются на грубость. Даже мы уже имели «грубое противоречие», теперь же мы имеем «такое грубое отношение» «зависимости от грубой материи».

Немец раскрывает широко рот:

Пусть любовь не будет слишком грубой.

Иначе она будет вредной для здоровья.

Стр. 168. «Повидимому, французы не понимают своих собственных гениев. Здесь им приходится на помощь немецкая наука, которая указывает в социализме разумнейший—если можно только применять к разуму степени сравнения—порядок общества». Итак, здесь «немецкая наука» указывает «разумнейший» порядок общества «в социализме». Социализм становится просто ветвью всемогущей, всемудрой, всеохватывающей немецкой науки, которая основывает даже общество. Правда, социализм—французского происхождения, но французские социалисты были «в себе» немцами, почему действительные французы их и не поняли. Поэтому наш автор может сказать: «Коммунизм»—французское явление, социализм—немецкое; счастье французов, что они обладают таким счастливым общественным инстинктом, который сможет когда-нибудь заменить им научные занятия. Результат этот был предначертан в ходе развития обоих народов. Французы через политику приходят к коммунизму (мы знаем, разумеется, как французский народ пришел к коммунизму); немцы, через метафизику, которая превратилась под конец в антропологию,—к социализму (именно к «истинному социализму»). «Оба, в конце концов, растворяются в гуманизме». После того как коммунизм и социализм превращены в две абстрактные теории, в два принципа, разумеется, нет ничего легче, как сочинить любое гегелевское единство обоих этих противоположностей под любым неопределенным названием. Это дает возможность не только бросить проницательный взгляд на «ход развития обоих народов», но и блестяще обнаружить превосходство спекулирующего индивида над французами и немцами.—Впрочем, все это предложение почти дословно списано из «Гражданской книги» Пютмана, стр. 43 и др. Да и вообще «научные занятия» автора социализмом ограничиваются конструктивным воспроизведением идей, находящихся в этой книге, в «21-м листе» и других произведениях из эпохи возникновения немецкого коммунизма.

Мы приведем несколько выдвинутых в этой статье образчиков возражений против коммунизма:

Стр. 168. «Коммунизм вовсе не объединяет атомов в органическое целое». Требовать объединения «атомов» в «органическое целое» имеет такой же смысл, как требовать квадратуры круга.

«Коммунизм, как он представлен фактически в главном своем центре, во Франции, находится в грубом противоречии с эгоистическим развалом государства лавочников; он не выходит из рамок этой политической противоположности; он не достигает безусловной, беспредпосылочной свободы» (ibid). Voilà немецко-идеологический постулат «безусловной беспредпосылочной свободы», которая является только практической формулой для «безусловного, беспредпосылочного мышления». Французский коммунизм, конечно, «груб», ибо он является теоретическим выражением реального противоречия, над которым, однако, он должен был бы, согласно нашему

штору, подняться, потому что он считает это противоречие преодоленным уже в воображении. Впрочем, ср. «Гражданскую книгу», стр. 43.

«Тирания может продолжать существовать внутри коммунизма, ибо он не дает продолжать существовать роду» (стр. 168).

Бедный род! До сих пор «род» существовал одновременно с «тиранией», но так как коммунизм отменяет «род», то именно поэтому он может оставить продолжать существовать «тиранию». Но все же, по мнению нашего истинного социалиста, коммунизм значит отменять «род»? Он «имеет перед собой массу» (ibid.).

«Человек в коммунизме не сознает своего существа... коммунизм доводит его зависимость до последнего самого грубого отношения, до зависимости от грубой материи—до разделения труда и наслаждения. Человек вовсе не достигает свободной нравственной деятельности».

Чтобы оценить по достоинству «научные занятия» нашего истинного социалиста, при помощи которых он дошел до этого утверждения, приведем для сравнения следующее положение:

«Французские социалисты и коммунисты... теоретически совершенно не познали сущности социализма... даже радикальные французские коммунисты вовсе не преодолели противоположности труда и наслаждения... не поднялись еще до мысли о свободной деятельности... Различие между коммунизмом и миром лавочников заключается лишь в том, что в коммунизме полное отчуждение реальной человеческой собственности должно быть освобождено от всех случайностей, т.е. должно быть идеализировано» («Гражданская книга», стр. 43).

Итак, наш истинный социалист упрекает здесь французов в том, что они обладают важным сознанием своего фактического общественного положения, в то время как они должны были бы содействовать появлению «Человека» своей «сущности». Все упреки этих истинных социалистов французам сводятся к тому, что фейербаховская философия не является последним словом всего их движения. Наш автор исходит из найденного им тезиса о разделении труда и наслаждения. Вместо того, чтобы начать с этого тезиса, он идеологически переворачивает вопрос, начинает с недостающего сознания «Человека», умозаключает отсюда о «зависимости от грубой материи» и дает этой зависимости реализоваться в разделении труда и наслаждения. Впрочем, мы еще увидим образцы того, куда приходит истинный социалист со своей независимостью от «грубой материи». Вообще, все эти господа отличаются необычайной чувствительностью. Все, а в особенности материя, шокирует их; повсюду они жалуются на грубость. Выходит мы уже имели «грубое противоречие», теперь же мы имеем такое грубое отношение «зависимости от грубой материи».

Немец раскрывает широко рот:

Пусть любовь не будет слишком грубой.

Иначе она будет вредной для здоровья.

Разумеется, немецкая философия, облекшись в одежды социализма для вида, направляется к «грубой действительности», но она всегда держится на почтительном расстоянии от нее, крича в своей исторической сверхчувствительности: *poli me tangere!*

После этих научных возражений французскому коммунизму мы переходим к некоторым историческим разъяснениям, блестяще свидетельствующим о «свободной нравственной деятельности», о «научных занятиях», а также и независимости нашего истинного социалиста от грубой материи.

Стр. 170. Он приходит к «результату, что (опять-таки) «грубый французский коммунизм» один только и «существует». Конструкция этой априорной истины выполняется с большим «общественным инстинктом» и показывает, что «Человек создал свою сущность». В самом деле:

«Не существует никакого иного коммунизма, ибо то, что дал Вейтлинг, есть лишь переработка фурьеристских и коммунистических идей, с которыми он познакомился в Париже и Женеве».

«Не существует никакого английского коммунизма, ибо то, что дал Вейтлинг» и т. д. Томас Мор, левеллеры, Оуэн, Томсон, Уотс, Холнок, Гарни, Морган, Соузулла, Гудвин Бармби, Гривс, Эдиондс, Голсон, Спенс очень удивились бы и перевернулись бы в гробу, если бы они услышали, что они вовсе не коммунисты, «ибо» Вейтлинг ездил в Париж и в Женеву.

Впрочем, вейтлинговский коммунизм является, повидимому, также чем-то новым, в сравнении с «грубым французским» коммунизмом, *vilgo babuvizm*, так как он также содержит в себе «фурьеристские идеи».

«Коммунисты были особенно сильны в установлении системы или совершенно готовых общественных порядков (Икартия Каба, *la Félicité*, Вейтлинг). Но все системы отличаются догматически диктаторским характером» (стр. 170).

Высказав свое мнение о системах вообще, истинный социализм избавился, разумеется, от труда изучить самые коммунистические системы. Одним ударом он поразил не только Икартию, но преодолел и все философские системы от Аристотеля до Гегеля, *Système de la Nature*, ботанические системы Линнея и Жюссье и даже солнечную систему. Впрочем, что касается самих систем, то почти все они появились в начале коммунистического движения и способствовали тогда росту пропаганды в качестве народного романа, вполне соответствовавшего неразвитому еще сознанию поднимавшегося пролетариата. Сам Каба называет свою Икартию *Roman philosophique*, и судить о нем, как о партийном вожде, нужно не на основании его системы, но на основании его публицистических сочинений и вообще на основании всей его деятельности. Некоторые из этих романов, как, напр., системы Фурье, проникнуты, действительно, поэтическим духом, другие же,

как системы Оуэна и Кабэ, лишены всякой фантазии и полны купеческих выкладок или юридических тонкостей, приспособленных к воззрениям класса, который нужно обработать. При развитии партии, системы эти лишаются всякого значения и, в лучшем случае, сохраняют свое значение только в качестве боевых лозунгов. Кто во Франции верит в Икарню, кто в Англии верит в различные планы Оуэна, которые он сам видоизменял в зависимости от обстоятельств, времени или соображений пропаганды среди различных классов? Как мало связано подлинное содержание этих систем с их систематической формой, видно лучше всего на примере правоверных фурийеров из *Démocratie pacifique*, которые, при всем своем правоверии, являются прямыми антиподами Фурье, представляя доктринеров-буржуа. Истинным содержанием всех, составивших эпоху, систем являются потребности времени, в которое они возникли. В основе каждой из подобных систем лежит все предшествующее развитие нации, исторические формы классовых отношений с их политическими, моральными, философскими и иными последствиями. Слова о том, что все системы отличаются догматически-диктаторским характером, совершенно не затрагивают этой основы и этого содержания коммунистических систем. У немцев не было столь развитых классовых отношений, как у англичан и французов. Поэтому немецкие коммунисты могли заимствовать основу своих систем только из условий жизни того сословия, из которого они происходили. Вполне естественно поэтому, что единственная немецкая коммунистическая система была воспроизведением французских идей в рамках мировоззрения, определявшегося отношениями мелкого ремесла.

О тирании, продолжающей существовать внутри коммунизма, свидетельствует «безумная мысль Кабэ, требующего, чтобы весь мир подписался на его «Populaire» (Стр. 168). Если наш принцель извращает сперва требования, которые ставит своей партией вождь, вынужденный к тому определенными обстоятельствами и опасностью распыления ограниченных денежных средств, а затем подходит к этому требованию с мерой «сущности человека», то, разумеется, у него должен получиться тот результат, что этот партийный вождь и все прочие партийные люди «безумны», и что, наоборот, в здравом рассудке находятся только беспартийные личности, как он сам и «сущность человека». Впрочем из: *Ma ligne droite* Кабэ он мог бы ознакомиться с истинным положением вещей.

В заключение вся противоположность между нашим автором и вообще между немецкими истинными социалистами и идеологами и между реальным движением других народов резюмируется в одном классическом положении. Немцы судят обо всем *sub specie aeternitatis* (согласно сущности Человека), иностранцы смотрят на все практически, согласно реально данным людям и отношениям. Иностранцы мыслят и действуют для времени, немцы — для вечности. В этом наш истинный социалист сознается в следующих

выражениях: «Коммунизм обнаруживает свою односторонность уже в одном своем имени, заключающем противоположность конкуренции; но будет ли длиться вечно это ослепление, имеющее, правда, теперь свое звание в качестве партийной клички?»

После этого основательного уничтожения коммунизма, наш автор переходит к его противоположности—социализму.

«Социализм дает анархический порядок, который по существу присущ человеческому роду, в также вселенной» (стр. 170) и который именно поэтому не существовал до сих пор для «человеческого рода». Свободная конкуренция слишком «груба», чтобы казаться ившему истинному социалисту «анархическим порядком».

«Полный доверия к нравственному ядру человечества», «социализм» декретирует, что «соединение полов есть лишь высшая ступень любви и должно быть ею; ибо только естественное истинно, а истинное нравственно» (стр. 171).

Довод, приведенный в пользу того, что «соединение и т. д. должно быть ею», применим ко всему. Например: «Полный доверия к нравственному ядру «обезьяньего рода», «социализм» может также декретировать, что встречающийся у обезьян в естественном виде анализм является «только высшею ступенью любви» к своему себе и должен быть ею, ибо только естественное истинно, а истинное нравственно».

Трудно сказать, где черпает социализм масштаб того, что «естественно».

«Деятельность и наслаждение совпадают в своеобразии человека. Оби они определяются этим своеобразием, а не выходящими вне нас продуктами».

Но так как эти продукты необходимы для деятельности, т. е. для истинной жизни, и так как они, благодаря совокупной деятельности всего человечества, как бы обособились от последнего, то они являются—или должны быть—для всех общим субстратом дальнейшего развития (общность имущества).

Правда, наше теперешнее общество до того одичало, что отдельные личности с животной жадностью набрасываются на продукты чужого труда и при этом предоставляют тунелдству и безделью свое собственное существо (рантье); необходимым следствием этого является то, что другие лица, собственность которых (их собственное человеческое существо) хиреет не от бездеятельности, а от канурительного ивпряжения, вынуждены рвотать подобно ившням (пролетарии)... Но оба полюса нашего общества, рантье и пролетарии, ивходятся на одной ступени развития. Оба они зависят от вещей вне их или являются «неграми», как сказал бы Санкт Макс» (стр. 169—170).

Эти «результаты» ившего «моигольв» относительно «ившего негритянства» являются венцом того, что истинный социализм до сих пор «как бы отделил от себя в качестве необходимого для истинной

жизни продукта», и на что он считает необходимым, согласно «своеобразию человека», набросаться с животной жадностью.

«Рантье», «пролетарин», «подобно машина», «общность имущества», — четыре яти представления являются для нашего монгола во всяком случае «находящимися вне его продуктами», по отношению к которым его деятельность и его «наслаждение» заключается в том, чтобы представить их как просто антиципированные названия для результатов его собственной «машинообразной работы».

Мы узнаем, что общество одичало и что поэтому индивиды, составляющие именно это общество, страдают от всякого рода недугов. Общество обособляется от этих индивидов, представляется в виде чего-то самостоятельного, оно дичает за собственный страх, и только в результате этого одичания индивиды начинают страдать. Первым результатом этого одичания являются определения: хищное животное, бездеятельность и обладатель «туеядствующего собственного существа», вслед за тем мы узнаем к своему ужасу, что это определение «рантье». При этом остается только заметить, что это туеядство «собственного существа» есть просто философски мистифицированный способ уяснить себе «бездеятельность», о практическом характере которой, повидимому, мало что знают.

«Вторым необходимым следствием» этого первого результата одичания являются следующие два определения: «захищение собственного человеческого существа от изнурительного напряжения» и «принуждение работать подобно машина». Эти оба определения являются «необходимым следствием» того, что рантье предоставляют туеядству свое собственное существо, и называются на мировом языке, как мы узнаем снова с ужасом, «пролетариями».

Таким образом, причинная связь всего предложения сводится к следующему: перед нами тот факт, что пролетарии существуют и работают, подобно машина. Но почему пролетарии должны работать подобно машина? Почему рантье предоставляют туеядству свое собственное существо? Потому, что «наше нынешнее общество так одичало». Почему оно так одичало? Об этом остается спросить Творца.

Для нашего истинного социалиста характерно то, что он видит в противоположность рантье и пролетариев «полюсы нашего общества». Эта противоположность, которая существовала почти на всех более или менее развитых ступенях общественной жизни и о которой с незапамятных времен распространялись все моралисты, была снова с особой силой выдвинута в самом начале пролетарского движения в то время, когда пролетариат имел еще общие интересы с промышленной и мелкой буржуазией. Ср., напр., произведения Кобэтта и П. Л. Курье или же Сен-Симона, который первоначально причислял еще промышленных капиталистов к *travailleurs*, в противоположность — *oisifs* — рантье. Здесь, как и во всех других случаях, основательность завершившейся в истинном социализме немецкой науки сводится к тому, чтобы высказать эту банальность о противоположности пролетариев и рантье,

хотя, правда, и не на необыкновенном языке, а на священном философском языке, и придать этой ребяческой мысли вместо простого подходящего выражения какое-то преобразованное, абстрактное. Вещью этой основательности является заключение: здесь наш истинный социалист превращает совершенно различные ступени развития пролетариата и рантье в «одну ступень развития», потому что он может обойти молчанием их реальные ступени развития, подводя их под философскую рубрику: «зависимость от вещей вне их».

Здесь истинный социализм нашел ту ступень развития, на которой различные всех ступеней развития в трех царствах природы, в геологии и истории растворяется в совершенном ничто.

Несмотря на свою ненависть к «зависимости от вещей вне его», наш истинный социалист все же сознается, что он зависит от них, «так как продукты», т.е. именно эти вещи, необходимы «для деятельности и «для истинной жизни». Это стыдливое признание необходимо ишем автору для философского конструирования общности имущества, конструирования, носящего такой бессмысленный характер, что остается лишь обратить на него внимание читателя и ограничиться этим.

Теперь мы переходим к первому из вышецитированных положений. Здесь снова говорится, что для деятельности и наслаждения необходима «независимость от вещей». Деятельность и наслаждение «определяются» «своеобразием Человека». Вместо того, чтобы искать это своеобразие в деятельности и наслаждении окружающих его людей, где он вскоре увидел бы, какую роль играют при этом находящиеся вне нас продукты, он сводит и то, и другое к своеобразию «Человека». Вместо того, чтобы понять своеобразие людей из их деятельности и из обусловленного этим способа наслаждения, он, наоборот, объясняет их «своеобразием Человека», чем, конечно, отрезывается возможность всякого дальнейшего обсуждения. От реального поведения индивида он снова спасается в свое, неподдающееся описанию и недоступное, своеобразие. Мы видим здесь, кроме того, что понимают истинные социалисты под «свободной деятельностью». Наш автор неосторожно выдает нам, что это та деятельность, которая «не определяется вещами вне нас», т.е. что это—*actus purus*, чистая абсолютная деятельность, которая есть только деятельность и которая, в последнем счете, сводится к иллюзии «чистого мышления». Эта чистая деятельность, разумеется, очень загрязняется, если у нее есть материальный субстрат и материальный результат; истинный социалист только с крайней неохотой занимается подобной нечистой деятельностью и презирает продукт ее, который называется уже не «результатом», а «только отбросом человека» (стр. 169). Поэтому субъектом этой чистой деятельности и не может быть реальный чувственный человек, а только мыслящий дух. Истолкованная таким образом «свободная деятельность» есть лишь другая формула для вышеуказанной «безусловной, беспредпосылочной свободы». Но, впрочем, что свобод-

ная деятельность, которая служит истинным социалистам лишь для того, чтобы скрыть их незнание реального производства, сводится в последнем счете к «чистому мышлению», это наш автор доказывает уже тем, что его последним словом является постулат истинного познания.

«Это обособление обеих главных партий нашего времени» (именно французского грубого коммунизма и немецкого социализма) обнаружилось в процессе развития последних двух лет, как оно началось и сказалось в особенности в гессевской «Философии дела» — в 21-м листе Гервега. Благодаря этому настало время выяснить ближе и лозунги общественных партий» (стр. 173).

Итак, мы имеем здесь, с одной стороны, реально существующую коммунистическую партию во Франции с ее литературой, а с другой, несколько немецких полуученых, которые стремятся философски уложить себе идеи этой литературы. Эти немецкие литераторы оказываются, как и французские коммунисты, одной из «главных партий нашего времени», т. е. партией, имеющей бесконечно важное значение не только для своей ближайшей противоположности — для французских коммунистов, — но и для английских чартистов и коммунистов, для американских национал-реформаторов и вообще для всех других партий «нашего времени». К сожалению, все эти партии ровно ничего не знают о существовании этой «главной партии». Но с некоторых пор немецкие идеологи усвоили себе ту манеру, что каждая из их литературных фракций, в особенности фракция, иная, чем она «идет далее всего», объявляет себя не только одной из «главных партий», но даже «главной» партией нашего времени.

Так, среди прочих партий мы имеем «главную партию» критической критики, главную партию согласного с собой эгонизма, а теперь «главную партию» истинных социалистов. Германия может этим путем идти до целой сотни «главных партий», существование которых известно только в Германии, да и здесь только в небольшой среде ученых, полуученых литераторов, воображающих себе, что они поворачивают рычаг всемирной истории, в то время как они прядут бесконечную пряжу своих собственных фантазий.

Эта «главная партия» истинных социалистов обнаружилась «в процессе развития последних двух лет, как оно началось и сказалось в особенности в гессевской философии», т. е. она «обнаружилась», когда «началось» блуждание нашего автора в социализме, именно «последние два года», благодаря чему для него «настало время» познать себе посредством некоторых «лозунгов» то, что он принимает за «общественные партии».

Сравнившись, таким образом, с коммунизмом и социализмом, наш автор вводит высшее единство обоих, гуманизм. С этого момента мы вступаем на почву «Человека», и отныне вся истинная история нашего истинного социализма происходит только в Германии.

«В гуманизме разрешаются все споры о названиях. К чему коммунисты, к чему социалисты? Мы люди» (стр. 172)—*tous frères, tous amis*. К чему люди, к чему животные, к чему растения, к чему камни? Мы—тела!

Далее следует историческое рассуждение, которое основывается на науке и которое поможет когда-нибудь французам «заменить их общественный истинник». В древнее время—наивность, в средние века—романтизм, в новое время—гуманизм. При помощи этих трех базисностей исторически конструируется гуманизм нашего автора, оказывающийся истиной прежних Humanologs. О подобных конструкциях см. в первом томе «Святого Макса», который фабриковал такого рода вещи гораздо искуснее и с меньшим дилетантизмом.

На стр. 172 нам сообщают, что «последним результатом схоластизма является раздвоение жизни, уничтоженное Гессом». Таким образом, теория здесь изображается в виде причины «раздвоения жизни». Непонятно, почему эти истинные социалисты говорят вообще об обществе, если они думают вместе с философами, что все реальное раздвоения совершаются благодаря расщеплению понятий. В этой своей философской вере в мирсозидающую и мироразрушающую мощь понятий они, конечно, могут вообразить также, что какой-нибудь индивид способен при помощи некоторого «уничтожения» понятий «уничтожить» раздвоение жизни. Эти истинные социалисты, подобно немецким идеологам, постоянно смешивают, как нечто равнозначущее, литературную историю с действительной историей. Прием этот, конечно, очень понятен у немцев, прикрывающих жалкую роль, которую они играли и постоянно играют в действительной истории тем, что они ставят на одну ступень с действительностью столь обильные у них иллюзии.

Перейдем теперь к «последним двум годам», когда немецкая наука основательно покончила со всеми вопросами, предоставив другим народам только выполнение ее декретов.

«Фейербах только односторонне выполнил, т.е. только начал, задачу антропологии, обратное приобретение человеком своего (фейербаховского или человеческого?) отчужденного от него существа; он уничтожил религиозную иллюзию, теоретическую абстракцию богочеловека, в то время как Гесс разрушил политическую иллюзию его (Гесса или человека?) способности, его деятельности, т.е. разрушил способность. Только благодаря работе последнего, Человек освободился от последних, находившихся вне его, сил и стал способным к нравственной деятельности—все бесприютнее прежнего» (до-гессовского) «времени было только миним—только благодаря ей Человек был снова восстановлен в своем достоинстве. Действительно, когда раньше «(до Гесса) человек признавал тех, кем он был? Разве его не ценили по его сокровищам? Его дары приписывали ему его значение» (стр. 171).

Для всех этих возвышенных слов об освобождении и т. д. характерно, что освобождаемым etc. является всегда только отвлеченный «Человек». Хотя, согласно вышеприведенному замечанию, кажется, что «способность», «деньги» и т. д. прекратились, но мы узнаем в следующем положении такие вещи: «Только после разрушения этих иллюзий (деньги, рассматриваемые *sub specie aeternitatis*, являются, конечно, иллюзией; *l'or n'est qu'une chimère*) можно начать думать о новом человеческом строе общества» (*ibid.*). Но это совершенно излишнее, так как «познание существа человека имеет своим естественным, необходимым следствием истинно человеческую жизнь» (стр. 172).

Прийти через метафизику, через политику и т. д. и т. д. к коммунизму или социализму—эти излюбленные истинными социалистами фразы означают попросту то, что тот или иной писатель залетевшие к нему извне и зародившиеся в совершенно иной жизненной обстановке коммунистические идеи усвоил себе в фразеологии своего прежнего мировоззрения, придав им соответствующее этому мировоззрению выражение. Вопрос о том, преобладает ли то или иное из этих мировоззрений у целого народа, окрашены ли его коммунистические воззрения в политический, метафизический или иной цвет,—вопрос этот зависит, разумеется, от всего хода развития этого народа. Из того факта, что мировоззрение большинства французских коммунистов носит политическую окраску,—факта, которому противостоит другой факт, что очень многие французские социалисты совершенно чужды политике,—наш автор выводит заключение, что французы «пришли к коммунизму» «через политику», через свое политическое развитие. Это вообще очень ходячее в Германии мнение доказывает не то, что наш автор знает что-нибудь о политике и, в частности, о французском политическом развитии или о коммунизме, а лишь то, что он считает—вместе со своими идеологами—политику какой-то самостоятельной сферой, имеющей свое собственное самостоятельное развитие.

Другими излюбленными словечками истинных социалистов являются слова об «истинной собственности», «истинной личной собственности», «действительной», «общественной», «живой», «естественной» etc. собственности; весьма характерно при этом, что для обозначения частной собственности они употребляют выражение «так называемая собственность». Мы уже в первом томе указали на то, что творцами этой терминологии являются первоначально сен-симонисты, но у них она, однако, никогда не принимала этой немецкой метафизико-мистической формы и была даже до известной степени правомерна в начале социалистического движения, по сравнению с ограниченными волями буржуа. Впрочем, конечный этап развития большинства сен-симонистов доказывает, с какой легкостью эта «истинная собственность» превращается обратно в частную собственность.

Если представлять себе противоречие между коммунизмом и миром частной собственности в самой грубой форме, т.е. в абстрактной форме, в которой устранены все реальные условия этого противоречия, то получается противоречие между собственностью и отсутствием собственности. В этом случае можно рассматривать снятие этого противоречия как снятие той или иной стороны его, как снятие собственности,—при чем получается всеобщее отсутствие собственности или нищенство,—либо же как снятие отсутствия собственности, заключающееся в установлении истинной собственности. В действительности на одной стороне находятся действительные частные собственники, а на другой лишенные собственности коммунистические пролетарии. Это противоречие обостряется с каждым днем и необходимо ведет к кризису. Поэтому, если теоретические представители пролетариев желают достигнуть чего-нибудь путем литературной деятельности, то они прежде всего должны заботиться о том, чтобы покончить со всеми фразами, которые ослабляют сознание остроты этого противоречия,—фразами, которые затушевывают это противоречие и дают озабоченным мыслью о своей безопасности буржуа возможность приблизиться к коммунистам под покровом своих филантропических фантазий. Но все эти дурные свойства мы находим в словечках истинных социалистов, в особенности в их словечке об «истинной собственности». Мы отлично знаем, что кучке немецких фразеров не погубить коммунистического движения. Но в такой стране, как Германия, где философские фразы успели за ряд веков добиться известной силы, где отсутствие встречающихся у других народов резких классовых противоречий и без того ослабляет остроту и решительность коммунистического сознания, в такой стране надо выступать против всяческих фраз, которые могли бы еще более смягчить и ослабить все противоречие между коммунизмом и существующим строем.

Эта теория истинной собственности рассматривает всю существовавшую до сих пор действительную частную собственность просто как видимость, усматривая, наоборот, в абстрагированном из этой действительной собственности представлении истину и действительность этой видимости—она, следовательно, насквозь идеологична. Она выражает только более ясно и определенно взгляды мелких буржуа, филантропические стремления и благочестивые пожелания которых тоже направлены на снятие отсутствия собственности.

В этой статье мы снова могли убедиться, какие ограниченно-национальные взгляды лежат в основе мнимого универсализма и космополитизма немцев.

Немцы с огромным чувством самоудовлетворения противопоставляют другим народам это воздушное царство мечты, это царство «сущности человека», как цель и завершение всемирной истории; они рассматривают повсюду свои фантазии, как заключительное конечное суждение о деятельности других народов и так как они повсюду способны быть только зрителями и наблюдателями, то они считают себя

призванными чинить суд над всем миром, разрешая всей истории найти в Германии свой последний конец. Мы уже неоднократно отметили, что это надутое и безмерное национальное чванство соответствует совершенно жалкой торгашеской узкоремесленной практике. Если национальная ограниченность вообще противна, то в Германии она становится просто отвратительной, ибо здесь она соединяется с идеологией о том, будто немцы стоят выше вопросов национальности и всех действительных интересов, и противопоставляется тем народам, которые открыто признают свою национальную ограниченность и заботу о действительных интересах. Впрочем, у всех народов настоятельное подчеркивание национальности встречается только у буржуа и их литераторов.

Б. Камни для социалистического строительства («Рейнские Летописи», стр. 155 и след.).

Эта статья открывается беллетристически-поэтическим прологом, в котором читателя готовят к восприятию тяжелых истин истинного социализма. Пролог начинается с констатирования «счастья» в качестве «конечной цели всякого стремления, всех тяжелых неутомимых усилий прошлых тысячелетий». В нескольких коротких фразах мы получаем, так сказать, историю стремления к счастью: «Когда здание старого мира развалилось, то человеческое сердце вместе со своими желаниями бежало в потусторонний мир; туда оно принесло свое счастье» (стр. 156). Этим объясняются все бедствия земной жизни. В новейшее время человек распростился с потусторонним миром, и вот наш истинный социалист начинает вопрошать: «Удалось ли ему снова приветствовать землю, страну своего счастья? Узнал ли он в ней снова свою первоначальную родину? Почему же он все еще отличает друг от друга жизнь и счастье? Почему он не уничтожает последней преграды, которая все еще разделяет земную жизнь на две враждебные половинны?» (ibid.).

«Страна моих блаженнейших чувств» и т. д.

Наш истинный социалист приглашает затем на прогулку «Человек», на что «Человек» с удовольствием соглашается. «Человек» вступает в «свободную природу» и среди прочих сердечных излияний раздражается следующими тирадами в духе истинного социалиста:

«Пестрые цветы... высокие гордые дубы... ваш рост и цветение, наша жизнь и удовлетворение, ваше счастье... безмерное множество маленьких животных на лужайках... лесные птицы... резвое стадо жеребят... Я вижу (говорит «Человек»), что эти животные не знают и не понимают другого счастья, кроме того, которое заключается в проявлении жизни и в наслаждении ею. Когда спускается ночь, мой взор встречается с бесчисленным множеством миров, которые кружатся по вечным законам в бесконечном пространстве. В этом кружении их я вижу единство жизни, движения и счастья» (стр. 157).

«Человек» мог бы увидеть в природе еще массу, других вещей, напр., величайшую конкуренцию между растениями и животными; он мог бы, напр., увидеть, как в растительном царстве, в его «лесу высоких и гордых дубов», эти высокие и гордые капиталисты лишают средств к существованию мелкий кустарник, который мог бы восхвалить: «terra, aqua, aere et igni interdicti sumus»; он мог бы увидеть паразитические растения, идеологов флоры, далее открытую войну между «лесными птицами» и «безмерным множеством маленьких животных», между травой его «лугов» и «резвым стадом жеребят. Он мог бы увидеть в «несчетном множестве миров» настоящую небесно-феодальную монархию с ее бобылями и кутниками (Hintersassen und Inliegern), из которых некоторые, как, напр., луна, влачат весьма жалкое существование aere et aqua interdicti; он увидел бы ленивую систему, в которой даже безродные бродяги, кометы, обнаруживают словесное расчленение и в которой, напр., астероидные обломки свидетельствуют о временных неприятных приключениях, между тем как метеориты, эти падшие ангелы, стыдливо пробираются через «бесконечное пространство», пока они не найдут где-нибудь скромного пристанища. А далее за этим он натолкнулся бы на реакционные неподвижные звезды.

«Все эти существа находят в проявлении и функционировании всех своих жизненных способностей, которыми их наделила природа, также и свое счастье, удовлетворение и наслаждение жизнью».

Т.е. во взаимодействии тел природы, в проявлении их сил «Человек» находит, что эти тела природы находят в этом свое счастье и т. д.

«Человек» получает теперь от нашего истинного социалиста выговор за свою раздвоенность:

«Разве человек тоже не вышел из первобытного мира, разве он не творение природы, как и все прочие существа? Разве он не составлен из тех же самых веществ, не одарен теми же самыми всеобщими силами и свойствами, какие одухотворяют все вещи? Почему же он—все еще ищет на земле своего счастья в каком-то земном потустороннем мире?» (стр. 158).

«Те самые всеобщие силы и свойства», которые общи человеку «со всеми вещами», это—сцепление, непроницаемость, объем, тяжесть и т. д., словом, те свойства, подробное перечисление которых можно найти на первой странице любого учебника физики. К сожалению, не ясно, как можно отсюда извлечь довод против того, чтобы человек «искал свое счастье в каком-то земном потустороннем мире». Но, убеждает наш социалист Человека:

«Посмотрите на полевые лилии. Да, посмотрите на полевые лилии! Посмотрите, как козы пожирают их, как вдавливает их в петищу «Человек», как мнут их во время своих нецеломудренных ласк скотины и погонщик ослов. «Посмотрите на полевые лилии, они не тру-

ятся, не прядут, и все же отец небесный питает их». Ступайте к ним и живите, как они.

После того, как мы узнали таким образом единство «Человека» со «всеми вещами», мы узнаем об его отличии от «всех вещей».

«Но человек познает себя, он обладает сознанием самого себя». В то время, как в других существах инстинкты и силы природы проявляются разрозненно и бессознательно, в человеке они объединяются, достигая сознания... его природа — зеркало всей природы, познающей себя в нем. Но если природа познает себя во мне, то я познаю самого себя в природе, познаю в ее жизни свою собственную жизнь. Так переживаем и мы то, что природа вложила в нас» (стр. 158).

Весь этот пролог представляет собой образчик наивной философской мистификации. Истинный социалист исходит из мысли, что раздвоенность между жизнью и счастьем должна быть уничтожена. Чтобы доказать этот тезис, он прибегает за помощью к природе, предполагая, что в ней не существует этой раздвоенности, и заключает отсюда, что, так как человек является также телом природы и обладает всеобщими свойствами всех тел, то и для него тоже не может существовать этой раздвоенности. С гораздо большим правом Гоббс мог доказать на основании наблюдения природы свою *bellum omnium contra omnes*, а Гегель, из конструкции которого исходит наш истинный социалист, мог увидеть в природе раздвоенность, простодушный период абсолютной идеи, и назвать даже животное конкретным стражем божиним. После того, как наш истинный социалист мистифицирует так природу, он искажает человеческое сознание, делая из него «зеркало» искаженной таким образом природы. Само собою разумеется, что если приписать природе проявление сознания, выражение благочестивого пожелания о человеческих отношениях, то сознание является только зеркалом, в которое глядит на самое себя природа. Подобно тому, как раньше доказывалось на основании качества человека, как простого тела природы, так теперь на основании его качества, как простого пассивного зеркала, в котором природа приходит к сознанию, доказывается, что «Человек» должен уничтожить в своей сфере раздвоенность, которая, как утверждается, не существует в природе. Но присмотримся ближе к последнему тезису, в котором сконцентрирована вся бессмыслица утверждений нашего автора.

Первый факт, на который указывают нам, это то, что человек обладает самосознанием. Инстинкты и силы отдельных существ природы превращаются в инстинкты и силы отвлеченной «Природы», которые, разумеются, «проявляются» затем в разрозненном виде этих отдельных существах. Эта мистификация была необходима, чтобы установить затем соединение этих инстинктов и сил «Природы» с человеческим самосознанием. Ясно, благодаря этому, что самосознание человека превращается в самосознание природы в нем. Далее, эта

мистификация якобы анигилируется тем, что человек берет реванш у природы; за то, что природа находит в нем свое самосознание, он ищет в ней своего самосознания: процедура эта приводит, разумеется, к тому, что он находит в ней лишь то, что он вложил в нее путем вышеописанной мистификации.

Теперь он благополучно вернулся к тому, из чего исходил в начале, и это кружение на своем собственном каблуке называют в наше время в Германии... развитием.

После этого пролога мы приходим к самой сути учения истинного социализма.

Первый камень. I

Стр. 160. «Сен-Симон на своем смертном одре сказал своим ученикам: Вся моя жизнь резюмируется в одной мысли—обеспечить всем людям наивозможно свободное развитие их природных способностей. Сен-Симон был провозвестником социализма».

Этот тезис обрабатывается по вышеизложенному методу истинных социалистов в связи с данной в прологе мистификацией природы.

«Природа в качестве основы всякой жизни есть исходящее из самого себя и возвращающееся к самому себе единство, которое об-емлет все бесчисленное разнообразие своих проявлений и вне которого ничего нет» (стр. 158).

Мы видели, как в начале превращали различные тела природы и их взаимоотношения в разнообразные явления «тайной» сущности этого таинственного «единства». Ново в этом тезисе лишь то, что сперва природа в нем называется «о с н о в о й» всякой жизни, а тогда вслед за этим говорится, что «вне ее нет ничего» и что, значит, она об-емлет также и «жизнь», и не может быть поэтому простой основой ее.

Вслед за этими громовыми словами следует центральное место всей статьи:

«Всякое из этих явлений, всякая отдельная жизнь существует и развивается лишь благодаря своему противоречию своей борьбе с внешним миром; она покоится лишь на своем взаимодействии с совокупной жизнью, с которой она снова объединяется, благодаря природе, в одно целое, в органическое единство вселенной» (стр. 158, 159).

Это центральное положение поясняется дальше следующим образом: «С одной стороны, отдельная жизнь находит свою основу, свой источник и пищу в совокупной жизни, а с другой стороны, совокупная жизнь пытается в непрерывной борьбе растворить отдельную жизнь, поглотить ее в себе» (стр. 159).

После того, как положение это высказывается обо всех отдельных жизнях, его можно, соответственно, «применить и к Человеку», что в действительности и происходит: «Человек, соответственно с

этим, может развиваться только в совокупной жизни и через нее» (№ I) *ibid.*

Далее, бессознательной отдельной жизни противопоставляется сознательная жизнь, всеобщей жизни природы человеческое общество, и тогда цитированное напоследок положение повторяется в следующей форме: «Согласно своей природе, я могу достигнуть развития самостоятельного наслаждения своей жизнью, я могу добиться своего счастья только в общении с другими людьми и через него» (№ II) *ibid.*

Об этой развитии отдельного человека в обществе, как выше об «отдельной жизни» вообще, говорится дальше следующее:

«Противоположность между отдельной жизнью и всеобщей жизнью является и в обществе условием сознательного человеческого развития. Я развиваюсь до самоопределения, до свободы, без которой нет никакого счастья, только в непрерывной борьбе, в непрерывном противодействии обществу, противостоящему как ограничивающая меня сила. Моя жизнь, это—непрерывное освобождение, постоянная борьба и победа над сознательным и бессознательным внешним миром, чтобы подчинить его себе и использовать его для наслаждения жизнью. Таким образом, инстинкт самосохранения и стремление к собственному счастью, свободе, удовлетворению являются естественными, т.е. разумными, проявлениями жизни» (*ibid.*).

Далее:

«Соответственно с этим я требую от общества, чтобы оно дало мне возможность отвоевать у него мое удовлетворение, мое счастье, чтобы оно открыло попрание для моей жажды борьбы.— Подобно тому, как отдельное растение требует почвы, тепла, солнца, воздуха и дождя, чтобы расти и давать листья, цветы и плоды, так и человек желает найти в обществе условия для всестороннего развития и удовлетворения всех своих потребностей, склонностей и способностей. Общество обязано дать ему возможность завоевать себе счастье. Как он использует эту возможность, что он сделает из себя, из своей жизни, это зависит от него, от его индивидуальности. Решать о своем счастье могу лишь я сам» (стр. 159—160).

За этим следует приведенный уже в начале этого «камня» тезис Сен-Симона, как конечный результат всего рассуждения. Таким образом, французский афоризм обосновывается немецкой наукой. В чем же заключается это обоснование?

Как мы уже видели выше, природе приписываются некоторые идеи, осуществления которых истинный социалист хотел бы видеть в человеческом обществе. Подобно тому, как прежде зеркалом природы был отдельный человек, так теперь этим зеркалом становится все общество. Из этих приписанных природе представлений можно теперь сделать дальнейшее заключение о человеческом обществе. Так как автор не вдается в рассмотрение хода исторического развития, довольствуясь этой скудной аналогией, то неясно, почему общество

не могло быть во все времена правдивым зеркалом природы. Поэтому фразы об обществе, как о силе, ограничивающей отдельного индивида и т. д., годятся для всех решительно форм общества. Понятно, что при такой конструкции общества не могут не обнаружиться некоторые непоследовательности. Так, в противоречии с прологом и его учением о гармонии в природе, здесь приходится признать борьбу в природе. Наш автор рассматривает общество, «совокупную жизнь», не как взаимодействие составляющих его «отдельных жизней», а как особое существование, вступающее в свои особые взаимоотношения с этими «отдельными жизнями». Если здесь и имеется какая-нибудь связь с действительными отношениями, то это — иллюзия о самостоятельности государства по отношению к частной жизни, и вера в эту кажущуюся самостоятельность, как в нечто абсолютное. Впрочем, здесь, как и во всей статье, дело идет собственно не о природе и обществе, а о двух категориях: отдельного и всеобщего, которым придают различные имена и о которых говорится, что они образуют противоречие, примирение которого весьма желательно.

Из признания правомерности «отдельной жизни» по отношению к «совокупной жизни» следует, что удовлетворение потребностей, развитие способностей, любовь к себе и т. д. являются «естественными, разумными проявлениями жизни». Из рассмотрения общества, как зеркального отражения природы, следует, что во всех существовавших до сих пор общественных формах, включая и современную, эти проявления жизни достигли полного развития и признания.

Но вдруг на стр. 159 мы узнаем, что «в нашем современном обществе эти разумные естественные проявления жизни «весьма часто подавляются» и «лишь поэтому превращаются обыкновенно в разные извращения, уродства, эгоизм, пороки и т. д.».

Так как, таким образом, общество не соответствует вовсе природе, своему первообразу, то истинный социалист «требует» от него, чтобы оно согласовалось с природой, и доказывает свое право на это требование несчастным примером с растением. Во-первых, растение «не требует» вовсе всех перечисленных выше условий своего существования; если условия эти не удовлетворены, то оно не станет вовсе растением, оставаясь просто семенем. Далее, свойства «листьев, цветов и плодов» сильно зависят от «почвы», «тепла» и т. д. Словом, от климатических и геологических условий, при которых оно растет. Таким образом, в «то время, как приписанное растению «требование» превращается в полную зависимость от его определенных условий существования, это же самое требование дает право нашему истинному социалисту требовать устройства общества согласно его индивидуальной особенности. Требование истинного социалистического общества основывается на воображаемом постулате кокосовой пальмы о «совокупной жизни»: дать ей на северном полюсе «почву, тепло, солнце, воздух и дождь».

Вышеприведенное требование отдельного индивида к обществу выводится из минимого взаимоотношения метафизических особ, — отдельного и всеобщего, — а не из реального развития общества; чтобы получить этот результат, достаточно рассматривать отдельных индивидов как представителей, как воплощения отдельного, а общество — как воплощение всеобщего. Вместе с этим приводится к своему правильному выражению и получает свое истинное обоснование положение Сен-Симона о свободном развитии способностей. Это правильное выражение заключается в той бессмыслице, что инвалиды, образующие общество, сохраняют свою «особенность», что они желают остаться таковыми, что они суть, требуя в то же время от общества изменения, которое может получиться лишь из их собственного особенного изменения.

Второй камень.

«Бесконечное многообразие отдельных существ, рассматриваемое, как единство, есть мировой организм» (стр. 160).

Словом, мы отброшены к началу статьи и должны снова выслушать всю канитель об отдельной жизни и совокупной жизни. Снова открывается перед нами глубокая тайна взаимодействия между двумя этими родами жизни, *restauré à neuf*, благодаря новому выражению: «полярное (*polaris*) отношение» и превращению отдельной жизни в простой символ, «отображение» совокупной жизни. По свойственной всем истинным социалистам манере писания, рассматриваемая статья калейдоскопически отражается в самой себе. Истинные социалисты поступают со своими положениями подобно той торговке внешними, которая продавала их ниже себестоимости, руководствуясь правильным экономическим принципом: надо выгадать на наценке продаваемого товара. В случае с истинным социализмом это тем необходимее, что его внешние были гнилыми еще до того, как они сохранились.

Приведем несколько образчиков этого самоотражения:

Камень № I, стр. 158.

Всякая отдельная жизнь существует и развивается лишь благодаря своей противоположности, покоится лишь на взаимодействии с совокупной жизнью.

С которой она снова объединяется, благодаря своей природе в одно целое. Органическое единство вселенной.

С одной стороны, отдельная жизнь находит свою основу, источник и пищу в совокупной жизни.

С другой же стороны, совокупная жизнь пытается уничтожить отдельную жизнь в непрерывной борьбе.

Камень № II, стр. 160, 161.

Всякая отдельная жизнь существует и развивается лишь в совокупной жизни и через нее; совокупная же жизнь существует и развивается лишь в отдельной жизни и через нее (взаимодействие).

Отдельная жизнь развивается, как часть всеобщей жизни.

Связанное единство, это — всемирный организм.

Это (совокупная жизнь) становится почвой и пищей для развития ее (отдельной жизни)... обе они взаимно обосновывают друг друга...

... обе они борются и враждебно противостоят друг другу.

Соответственно с этим (стр. 159), то, что составляет для бессознательной отдельной жизни бессознательная всеобщая мировая жизнь, то составляет для сознательной... жизни человеческое общество.

Я могу достигнуть развития только в общении с другими людьми и путем этого общения... Противоположность между отдельной и всеобщей жизнью ставится и в обществе и т. д.

Природа... это некоторое... единство, которое охватывает все несконечное многообразие своих проявлений.

Не довольствуясь этой калейдоскопической картиной, наш автор повторяет свои нехитрые положения об отдельном и всеобщем еще иным образом. Сначала он выставляет эти совершенно бесплодные абстракции, как абсолютные принципы и умозаключает отсюда, что в действительности должно наблюдаться то же самое отношение. Уж одно это дает ему повод высказывать, под видом дедукции, все вещи дважды: сперва в абстрактной форме, а затем в качестве вывода отсюда, в якобы конкретной форме. Но, кроме того, он разнообразит конкретные названия, которые он придает своим обеим категориям. И вот, всеобщее выступает по очереди, как природа, как бессознательная совокупная жизнь, сознательная совокупная жизнь, всеобщая жизнь, мировой организм, собирательное единство, человеческое общество, общение, органическое единство вселенной, всеобщее благо и т. д., и т. д., в отдельные, под соответственными названиями сознательной и бессознательной отдельной жизни, счастья отдельного индивида, собственного блага и т. д., и т. д. При упоминании каждого из этих названий мы вынуждены снова выслушать те же самые речи, которые неоднократно и с избытком говорились уже об отдельном и всеобщем.

Таким образом, второй камень не представляет нам ничего нового по сравнению с первым. Но так как у французских социалистов встречаются слова: *égalité, solidarité, unité des intérêts*, то наш автор пытается онемечить их и сделать из них «камени» истинного социализма.

«В качестве сознательного члена общества я признаю в каждом другом члене его отличное от меня, противостоящее мне, но в то же время опирающееся на общую первооснову бытия и исходящее из него, равное мне существо. Я признаю, что каждый другой человек противоположен мне в силу своей всеобщей природы. Соответственно с этим признание человеческого равенства, право каждого на жизнь основывается на сознании общей, одинаковой у всех человеческой природы: точно так же любовь, дружба и справедливость и все общественные добродетели основываются на чувстве естественной человеческой связи и единства. Если до сих пор их называли

Отсюда следует (стр. 161), что и сознательная отдельная жизнь... обусловлена сознательной совокупной жизнью и... (наоборот).

Отдельный человек развивается только в обществе и через общество, в общество vice versa и т. д.

Общество—это единство, заключающее и собирающее в себе многообразие отдельных человеческих жизней.

обязанностями и требовали от людей исполнения их, то в обществе, основывающемся не на внешнем принуждении, а на сознании внутренней человеческой природы, т.е. на разуме, они становятся свободными, естественными проявлениями жизни. Поэтому в природе, т.е. в разумном обществе, условия жизни должны быть одинаковыми для всех членов, т.е. всеобщими» (стр. 161—162).

Автор обладает большим талантом выставить сперва какое-нибудь положение асерторически, а затем, путем словечек поэтому, все-таки и т. д., узаконить его как следствие из самого себя. Точно так же умеет он путем контрабанды провести в эту своеобразную дедукцию ставшие традиционными социалистические положения при помощи оборотов речи, в роде: «есть», «так должно быть», «так становится» и т. д.

В первом «камне» мы видели на одной стороне отдельного индивида, а на другой противостоящее ему всеобщее в качестве общества. Здесь эта противоположность выступает снова в таком виде, что отдельный индивид оказывается раздвоенным в самом себе, распавшимся на особенную и на всеобщую природу. Из всеобщей природы умо-заключается о «человеческом равенстве» и общности. Таким образом, общие для всех людей условия оказываются здесь продуктом «сущности человека», Природы, между тем как они, подобно сознанию равенства, являются историческими продуктами. Но, не довольствуясь этим, наш автор обосновывает равенство тем, что оно покоится «на общей первооснове бытия». В прологе мы узнали, на стр. 158, что Человек «составлен из тех же самых веществ и одарен теми же самыми всеобщими силами и свойствами, какие одухотворяют все вещи». В первом «камне» мы узнали, что природа есть «основа всякой жизни», следовательно, «общая первооснова бытия». Таким образом, наш автор далеко перецеголял французов, доказав «в качестве сознательного члена общества» не только равенство людей между собой, но и их равенство любой блохе, любому помелу, любому тряпью.

Мы охотно готовы поверить, что «все общественные добродетели» нашего истинного социалиста основываются «на чувстве естественной человеческой связи и единства», хотя на этой «естественной связи» основываются и феодализм с его крепостничеством, и рабство, и все общественные неравенства всех эпох. Заметим мимоходом, что эта «естественная человеческая связь» является ежедневно преобразовываемым людьми продуктом исторического развития; она была всегда вполне естественной, как ни казалась она бесчеловечной и противоестественной не только перед судом «Человека», но и перед судом позднейших революционных поколений.

Случайно мы узнаем также, что теперешнее общество опирается на «внешнее принуждение». Истинные социалисты понимают под «внешним принуждением» не ограничивающие материальные условия жизни данных индивидов, а только государственное принуждение,

штыки, полицию, пушки, которые не только, не являются основой общества, но представляют лишь следствие свойственного ему расчленения. Это было уже указано в «Святом семействе», а также и в первом томе настоящего сочинения.

В противовес теперешнему, «опирающемуся на внешнее принуждение», обществу истинный социалист противопоставляет идеал истинного общества, которое опирается на «сознание внутренней человеческой природы», т.-е. на разум, который, следовательно, опирается на сознание, на мышление мышления. Истинный социалист даже по способу выражения перестает отличаться от философов. Он забывает, что как «внутренняя природа» людей, так и их «сознание» этого, т.-е. их «разум», были всегда историческим продуктом, и что даже если, как он думает, их общество опиралось на «внешнее принуждение», то их «внутренняя природа» соответствовала этому «внешнему принуждению».

На стр. 163 появляются отдельное и всеобщее со своей обычной свитой в виде отдельного блага и общего блага. Аналогичные рассуждения об отношении их друг к другу можно найти в любом учебнике политической экономии при рассмотрении вопроса о конкуренции, а, между прочим, также,—но только в лучшей форме,—у Гегеля.

«Рейнские Летописи», стр. 163:

«Содействуя общему благу, я содействую своему собственному благу, я содействую общему благу».

Философия права Гегеля, стр. 248 (1833):

«Содействуя своей цели, я содействую всеобщему, а последнее, в свою очередь, содействует моей цели».

Ср. также «Философию права», стр. 323 и след., об отношении гражданина государства к государству.

«Поэтому в качестве конечного результата получается сознательное единство отдельной жизни с совокупной жизнью, гармония» («Рейнские Летописи», стр. 163).

Получается это «в качестве конечного результата» именно потому, что «это полярное отношение между отдельной и всеобщей жизнью заключается в том, что иногда они борются друг с другом и враждебно противостоят друг другу, иногда же оба они взаимно обуславливают и обосновывают друг друга».

«В качестве конечного результата» следует отсюда, в лучшем случае, гармония между дисгармонией и гармонией, а из постоянного повторения всем известных фраз следует только вера автора, будто его бесполезная возня с категориями отдельного и всеобщего является истинной формой для разрешения общественных вопросов.

Автор заканчивает следующим торжественным аккордом: «Органическое общество имеет своей основой всеобщее равенство и развивается путем противоречий между отдельными индивидами и всеоб-

чим, в свободное созвучие, в единство отдельного счастья с всеобщим счастьем, в социальную (I) общественную (II) гармонию, отраженную всеобщей гармонией» (стр. 164).

Только скромность заставляет назвать это положение «камнем». В действительности же это настоящая глыба, скала истинного социализма.

Мы обратим только внимание на следующее блестящее умозаключение: «Если эта борьба является в качестве сознательной деятельности, то она называется трудом—труд соответственно с этим, каждая сознательная деятельность человека» и т. д. Этим глубоким единством мы обязаны «полярной противоположности».

Вспомним приведенный выше сен-симонистский тезис о *libre développement de toutes les facultés*. Вспомним также, что Фурье желал оставить на место теперешнего *travail repugnant—travail attrayant*. «Полярной противоположности» мы обязаны следующим философам обоснованием и разъяснением этих тезисов.

«Но» (это «но» должно обозначать, что здесь не имеется никакой связи), так как жизнь при всяком раскрытии, упражнении и проявлении своих сил и деятельности должна добиться своего наслаждения, своего удовлетворения, то отсюда следует, что сам труд должен быть развитием и раскрытием человеческих способностей и должен доставлять наслаждение, удовлетворение и счастье. Сам труд вынужден поэтому стать свободным проявлением жизни, а значит и наслаждением».

Здесь показано то, что было обещано в предисловии «Рейнских Летописей», а именно «насколько отличается немецкая наука об обществе в своем теперешнем виде от французской и английской науки» и что значит «научно представить учение коммунизма».

Трудно, не утомляя читателя, вскрыть все логические промахи, заключающиеся в этих немногих строках. Отметим сперва нарушение требований формальной логики.

Чтобы доказать, что труд, это проявление жизни, должен доставить наслаждение, утверждается, что жизнь в каждом своем проявлении должна доставлять наслаждение, а отсюда умозаключается, что жизнь должна доставить это и в своем проявлении в качестве труда. Наш автор, не довольствуясь этим перефразированием и преобразованием постулата в заключение, еще и заключение это выводит неверно: Из того, что «жизнь при всяком раскрытии должна достигнуть наслаждения», для него следует, будто труд, являющийся одним из этих раскрытий жизни, «должен быть» «сам развитием и раскрытием человеческих способностей», т. е. опять-таки жизни. Следовательно, труд должен быть тем, что он есть. Как вообще смог бы труд не быть когда-нибудь «раскрытием человеческих способностей»? Но это не все. Так как труд должен быть этим, то он поэтому и «вынуж-

ден» быть этим, или еще лучше: так как труд «должен быть раскрытием и развитием человеческих способностей», то он вынужден поэтому стать чем-то совершенно иным, а именно «свободным проявлением жизни», о чем до сих пор вовсе и не говорилось. И в то время, как выше наш автор из постулата наслаждения жизни прямо заключал к постулату труда, как наслаждения, здесь этот последний постулат изображается в качестве следствия из нового постулата «свободного проявления жизни в труде».

Что касается содержания этого тезиса, то неясно, почему труд не всегда был тем, чем он должен быть, почему он вынужден стать этим теперь или же почему он должен стать чем-то, чем он не вынужден был стать до сих пор. Но очевидно, что до сих пор не развивалась сущность человека и поляриная противоположность между человеком и природой.

За ним следует «научное обоснование» коммунистического тезиса об общности собственности на продукты труда.

«Но» (это новое «но» имеет такой же смысл, как и приведенное выше) «продукт труда должен в одно и то же время способствовать счастью отдельных трудящихся индивидов и всеобщему счастью. Это происходит путем взаимности, путем взаимного дополнения всех общественных деятельностей».

Положение это, попросту ставшее расплывчатым, благодаря словечку «счастье» — копия того, что говорится в любой книжке по политической экономии о конкуренции и разделении труда.

Наконец, мы имеем философское обоснование французской организации труда: «Труд, как несущая наслаждения и удовлетворение и в то же время способствующая всеобщему благу свободная деятельность, является основой организации труда» (стр. 165).

Так как труд лишь должен и вынужден стать «несущей наслаждение и т. д., и т. д., свободной деятельностью» и, следовательно, еще не является ею, то естественно было бы ожидать, что, наоборот, организация труда является основой «труда», как несущей наслаждение деятельности». Но для нашего автора вполне достаточно понятия труда, как такой деятельности.

Автор в заключение своей статьи убежден, что он пришел к известным «результатам».

Третий камень.

«Борьба человека с природой основывается на поляриной противоположности, на взаимодействии моей особенной жизни со всеобщей жизнью природы. Когда борьба эта проявляется в качестве сознательной деятельности, она называется трудом» (стр. 164).

Но разве дело не обстоит наоборот и разве представление о «поляриной противоположности» не должно основываться на наблюдении борьбы людей с природой? Сперва наш автор извлекает из какого-

обудь факта некую абстракцию, а затем заявляет, что этот факт основывается на этой абстракции. Весьма дешевый способ казаться немецки, глубокомысленным и спекулятивным.

Так, например, факт: кошка пожирает мышь.

Рефлексия: кошка—природа, мышь—природа, пожирание мыши мышью—пожирание природы природой—самопожирание природы.

Философское изложение факта:

На самопожирании природы основывается то, что мышь пожрана мышью.

После того, как таким образом мистифицирована борьба человека с природой, мистифицируется и сознательная деятельность человека по отношению к природе, становящаяся проявлением этой простой абстракции действительной борьбы. В заключение контрабандой протаскивается обыденное слово труд в качестве результата этой мистификации. Это слово вертелось у нашего истинного социалиста на языке с самого начала, но он осмелился произнести его лишь после надлежащего указания. Труд конструируется из голого абстрактного представления Человека и Природы и определяется, благодаря этому, таким образом, что его можно с одинаковым успехом применять и не применять ко всем ступеням развития труда.

Соответственно с этим, труд—это всякая сознательная деятельность человека, путем которой он стремится подчинить себе в духовном и материальном отношении природу, чтобы при помощи ее добиться сознательного наслаждения жизнью и употребить ее для своего духовного и телесного удовлетворения» (ibid.).

Эти «камин» и «результаты», вместе с прочими гранитными глыбами, встречающимися в 21-м листе, в «Гражданской книге» и в «Номе анекдотах», образуют ту скаду, на которой истинный социализм—он же немецкая социальная философия—собирается воздвигнуть свою церковь.

При случае нам придется еще выслушать некоторые гимны, некоторые отрывки из *cantique allégorique hebraïque et mystique*, которые поются в этой церкви.

Гегель и современные нео-гегельянцы.

Н. Звенигородцев.

Nec sine te nec tecum vivere possum.

I.

В настоящее время можно констатировать возрождение в разных странах интереса к философии Гегеля. Мы можем говорить ныне с достаточной определенностью о целой школе, нео-гегельянстве, которая, слагаясь, правда, из весьма разнородной по ценности философской литературы, все же являет несомненные признаки специфического единства.

Крайне любопытно проследить, что привело к возрождению этого интереса к системе, столь, казалось бы, основательно забытой, к мыслителю, которого привыкли третировать, как мертвую собаку, само имя которого произносилось не без некоторой иронии. Рассмотрение нео-гегельянства приводит к крайне любопытным заключениям относительно общего состояния современной философии, любопытно узнать, — как теперь перетолковывают Гегеля, или, вернее, что в него вставляют, какие элементы от него заимствуют, как читают Гегеля, оковы призыва каких очков и в каких целях.

Всего рельефнее нео-гегельянство представлено в Англии и отчасти в Америке. Здесь нео-гегельянство имеет свою традицию, свою историю, правда, довольно несложную, даже своих корнифов¹⁾. На примере английского гегельянства нам всего легче изучить специфические черты этой школы. В других странах нео-гегельянство, хотя и представлено довольно крупными силами, отнюдь не представляет такого сплоченного движения, как именно в Англии.

В Англии нельзя резко отмежевать старую гегельянскую школу от новой, как это можно делать по отношению к гегельянству немецкому, русскому и, отчасти, итальянскому. Английское гегельянство отличается непрерывностью, последовательностью и преемственностью. И теперь гегельянцы ставят свои проблемы приблизительно так же, как и в начале 60-х годов, они борются почти против одних и тех же противников, вокруг одного и того же знамени. Вся разница лишь в том, что движение неожиданно развилось, преуспело. Вначале Гегелем интересовался очень ограниченный круг лиц, их влияние было очень незначительно, теперь нео-гегельянцы захватывают одну философскую кафедру за другой, обсуждение философских проблем в пределах школы вызывает большой интерес у читающей публики, молодежь учится философии у гегельянцев, так что в прессе раздаются даже предупреждающие голоса, как бы все растущая волна идеализма

¹⁾ S. H. Stirling, *The secret of Hegel*, 1865 и 1898 гг.

не отвлекла молодые силы от трезвой практической деятельной жизни, не привила им мечтательности и сентиментализма.

В Англии также ныне выходят самые лучшие комментарии к Гегелю, мысль которого лорой весьма трудно уяснить. Англичане производят этот анализ с большой старательностью и большим талантом; главный недостаток этих комментариев обусловлен общей установкой нео-гегельянства, общим неправильным подходом к Гегелю. Достаточно здесь упомянуть о таких именах, как Кэрд, Гаррис, Бозанкет, Уоллес, Таггарт и другие.

Говоря об английском гегельянстве, прежде всего нужно отметить, что оно возникло, как реакция против классической английской философии, которая имела своим родоначальником Локка и главою в XIX веке Джона Стюарта Милля, следовательно, как реакция против сенсуализма, позитивизма, против аналитических методов так называемых «наук о духе».

В особенности трактовка психологической проблемы в английской философии не удовлетворяла ¹⁾. Теория ассоциаций, которая лежит в ее основе, представлялась явно недостаточной; ее упрекали в том, что она переносит механические схемы на явления сознания, которое она старается представить в виде связки ощущений, всячески его анатомизируя и бесконечно раздробляя.

Этот путь аналитический тем более казался неудовлетворительным, что уже в XIX веке теория развития, теория эволюции создала метод генетический; показала, что одно отвлеченное аналитическое рассмотрение явлений не может дать зачастую правильного решения вопроса. Генетический метод давал возможность новых обобщений. Герберт Спенсер, в общем, весьма типический для английской философии, создал этим путем свою «синтетическую философию», которая и послужила, отчасти, поводом к кризису.

Ведь Спенсер явно находится под влиянием, пусть бессознательным, немецкой романтической философии, он дает в своем роде перевод натурфилософии Шеллинга на язык позитивизма ²⁾.

Идеи Спенсера справедливо могут не удовлетворять ни поклонника Юма, ни романтика. Его «синтез» представляется при ближайшем рассмотрении весьма поверхностным и эклектичным.

Немудрено поэтому, что, на ряду с критикой ассоциативной психологии, стали намечаться новые пути в исцании утраченного через изоляцию сознания единства. Это единство теперь все более и более стало представляться, как проблема всеединства, проблема целостности, но именно этот последний вопрос и был логически обработан в наиболее совершенной форме немецкой идеалистической философией, которую также можно рассматривать, как реакцию против механического мирозерцания XVIII века.

Но если немецкие идеалисты могут быть понимаемы не только, как реакция, но и как прогресс сравнительно с материализмом французским, то современное нео-гегельянство не имеет в себе никаких положительных задач, перед нами типический пример ученой реставрации, все более и более сходствующей с схоластикой. Это—философия последней, декадентная, пережившая самое себя философия, распадающаяся от внутреннего бессилия утвердить себя в чем-либо. Она

¹⁾ См. работу Грина, Introduction to Hume, 1874, и Брэдли, Ethical Studies, 1876.

²⁾ Dr. Lasar Roth, Schelling und Spenser, in «Berner Studien zur Philosophie», herausgegeben von L. Stein.

перебрасывается от Гегеля к Канту, от скептицизма к мистике, от мистики к метафизике.

В этом смысле типическим представителем английского неогегелианства является Брэдли,—мыслитель энергичный в области чистой отвлеченности, но зачастую беспомощный, в виду недостатка эмпирического материала. Брэдли весь сосредоточен на так называемых «предельных проблемах», вращается, главным образом, в сфере вопроса, где смешиваются всякие границы мысли метафизической по преимуществу¹⁾.

Его внимание направлено на абсолютный безусловный критерий всякой достоверности, к этому предельному понятию Брэдли постоянно приближается, но в той же мере от него и отталкивается. Поэтому менее всего у Брэдли мы находим законченную систему. Его мышление представляет странную смесь мистицизма, скептицизма и рационализма. Вернее всего и точнее всего, Брэдли можно охарактеризовать, как гностика в век пара и электричества, в век широкого развития естествознания и точных наук.

Несомненны религиозные основы его философствования. Об этом с полной откровенностью говорит сам Брэдли: «стремление к постижению бытия является важнейшим путем познания божества». «Я был вынужден говорить о философии, как об удовлетворении того, что можно назвать мистической стороной нашей природы».

У Гегеля Брэдли заимствует идею абсолютной полноты и завершенности, как последнего критерия, но своим иррационализмом он глубоко отличается от него. Брэдли (как сказал бы Гегель) представитель «несчастливого сознания», для которого истинная реальность лежит вне сферы разума и познания.

Брэдли очень легко быть «гегельянцем» в критических частях своего труда, там, где он говорит о материи, пространстве, времени, энергии; абсолютная полнота и абсолютная гармония и согласованность, выставленные как критерий подлинной и единственной реальности, заставляют обратиться в «явления» все научные конечные определения. В основе этой критики лежит довольно тривиальная мысль: бесконечное противоположено конечному; мастерство, и при том диалектическое, обнаруживает Брэдли в анализе отдельных частных проблем, там, где он располагает в ряд различные отношения, где он указывает различные связи и «опосредствования». Нигде нам не даны последние элементы, наш анализ всегда может быть продолжен и углублен. Брэдли в этом смысле очень многому научился у Гегеля, противоречие у него осознано, как ведущее вперед, оно не позволяет удовлетвориться данным опытом, данной мыслью, оно размыкает замкнутые круги, ведет нас дальше и заставляет глубже проникнуть в предмет.

Критическая часть работы Брэдли во многом весьма поучительна, она свидетельствует о большой интеллектуальной работе, но положительные выводы Брэдли вызывают крайнее недоумение.

Из рассуждений Брэдли можно, казалось бы, сделать тот вывод, что путем односторонних и условных определений мы приближаемся все ближе и ближе к реальности, как к подлинному предмету. Непрерывное развитие науки должно иметь своим предметом реальность. Но у Брэдли выходит как раз наоборот: чем глубже Брэдли простирает свой интеллектуальный анализ, тем яснее становится для него, что все

¹⁾ Главный свой труд «Явления и реальность» Брэдли так и назвал метафизическим трактатом.

путы мысли вообще ложны, рационалист превращается в скептика. Познать действительность—невозможно, невозможно к ней приблизиться, всякий опыт будет ограниченным, всегда в нем будет наличествовать противоречие, никогда не прекратится тревога искания. «Действительность» Брэдли не выразима ни в каких «явлениях». Вообще мы ничего не знаем. Почему вообще что-либо является, почему существует нечто конечное, временное, а не одна тождественная себе, сполна гармоническая реальность, не имеющая ни возникновения, ни истории? Здесь пропасть разверзается перед Брэдли, все его философствование оказывается сразу аннулированным, но на самом деле тут опять следует крутой поворот—скептик превращается в мистика: то, что отделяет от нас разум, то открыто нам непосредственно в каждый момент и в каждом месте: абсолютное можно встретить на всех стадиях развития. Этот мистичизм выражен у Брэдли в романтическом чувстве томления. Брэдли ближе всего тогда чувствует себя к гармоническому опыту, когда он сам всего более дисгармоничен. «Я полагаю,—пишет Брэдли,—все мы в большей или меньшей степени чувствуем, как нас что-то влечет за пределы обычных фактов. Всякий по-своему думает, что мы стоим в соотношении с чем-то или в обществе чего-то, выходящего за пределы чувственного мира. Различными путями и различным образом каждый из нас находит это нечто высшее, которое нас и возвышает и заставляет падать духом, и наказывает, и воодушевляет» (курсив мой).

Таков основной пафос системы Брэдли; едва ли нужно указывать, что он по существу не совместим с духом системы Гегеля, энергичная мысль которого была чужда какому-либо томлению по потустороннему миру.

Это относится далеко не к одному Брэдли.

При чтении нео-гегельнянской английской литературы поражает прежде всего большая чуждость философских настроений и построений нео-гегельянцев с подлинными теизмизмами самого Гегеля. — Частые приемы мысли, многие выводы нео-гегельянцев напоминают те или иные тезисы гегельнянской философии, но это сходство при ближайшем рассмотрении оказывается весьма общим и приблизительным: если взять мысль Гегеля во всей ее конкретности, в особенности — в решительных ее поворотах и выводах, то она оказывается по большей части непримлемой для нео-гегельянцев, они ее стремятся заменить или подменить чем-то другим — по существу диаметрально противоположным.

Английские гегелианцы не могут сполна остаться верными своему учителю. На Гегеля они смотрят большей частью, как на обильный арсенал всевозможных философских аргументов, они используют Гегеля лишь практически для преодоления своих противников, но по существу они остаются чуждыми Гегелю; гораздо ближе их положение занимает кантовский идеализм в том его виде, какой пытались ему видеть немецкие романтики¹⁾.

¹⁾ Cp. S. H. Stirling, *The secret of Hegel* (London 1865): «That secret may be indicated at shortest thus: as Aristotle—with considerable assistance from Plato made explicit the abstract universal, that was implicit in Socrates, so Hegel, with less considerable assistance from Fichte and Schelling made explicit the concrete universal, that was implicit in Kant» (I, стр. 11), т. е. говоря кратко: тайна Гегеля есть тайна Канта: универсально-конкретное, конкретное всеединство, словом Кант это онтологическое истолковании.

II.

Если нео-гегелианство в Англии представляет из себя сложившееся течение, то в Германии возрождение гегелевской философии не получило еще вполне законченных форм выражения.

Гегель пользовался некогда в Прусском государстве почти неограниченным влиянием, гегелизм был официально рекомендован как государственная система. Не мудрено, что реакция против Гегеля, в его родной стране, была наиболее резко выражена, от Гегеля всячески открещивались, Гегель был основательно и надолго дискредитирован.

Ныне времена переменялись. Гегельянце имеют свой журнал, редактируемый Лассоном, писания Гегеля используются в качестве политических агиток, перепечатаывают, например, его знаменитое учение о государстве явно против германской революции, нанесшей удар той форме государственности, которую представляла Пруссия Гогенцоллернов. Переиздано также предисловие к философии истории Гегеля в тех же целях, под названием «О разуме в истории».

Можно было предвидеть, что гегелизм рано или поздно должен был возродиться в Германии. Немецкая философия последнего полувека только и делала, что реставрировала старые системы. Сначала она выкинула лозунг «Назад к Канту». Появились многочисленные нео-кантианцы со своим трансцендентальным методом обоснования культуры, за ними, спустя немого времени, возникли нео-фихтеанцы, проповедовавшие «примат практического разума». Шеллингианство в замаскированном виде уже было представлено в системе Эдуарда Гартмана. Шеллинг вызывал особый специфический интерес в кругах нео-романтиков, которые стали особенно влиятельными перед началом мировой войны ¹⁾.

Это чередование реставраций философов естественно должно было завершиться реставрацией Гегеля.

Корни и характер немецкого гегелианства могут быть всего лучше очерчены в речи, произнесенной Виндельбандом в Гейдельбергской Академии наук на тему «Возрождение гегелианства» ²⁾.

Виндельбанд—старый и испытанный кантианец, глава школы. Можно сказать, что Риккерт, которым так много занимаются у нас, лишь развивал в объемистых томах темы, которые Виндельбанд излагал в небольших статьях, очерчивая их с достаточной остротой и яркостью.

В своей речи Виндельбанд прежде всего констатирует всеобщее возрастание интереса к философии Гегеля: «с каждым днем растет число литературных работ, посвященных философии Гегеля, изучают его развитие на основании бумаг и документов, находящихся в Берлинской библиотеке, снова издаются его труды; собрание его сочинений, которые столь недавно можно было купить за бесценок, теперь дорого ценятся на антикварном рынке».

И в писаниях современных философов отражается это возрастающее влияние мыслителя, казалось бы, давно забытого; в особенности молодежь прилежно трудится над усвоением и осознанием трудно и путано изложенных мыслей Гегеля.

Этот интерес обусловлен, по мнению Виндельбанда, многими причинами; равным образом, влияние Гегеля в наши дни может быть и бла-

¹⁾ Значительно возросла к этому времени литература, посвященная романтизму. Любопытно, что особенно талантливо написанные книги принадлежат писателям-Рикарда Гук, Мария Иоахим.

²⁾ Wilhelm Windelband, Die Erneuerung des Hegelianismus, Heidelberg 1910.

готовным и вредным. Тут нужно отметить прежде всего «жажду целостного мирозерцания» (*Hunger nach Weltanschauung*), охватившую молодые поколения. К Гегелю прибегают, чтобы спастись от «позитивистской скудости и материалистической пустыни». Ведь гегелевская философия изображает универс, как единое развитие духа. В нео-гегелианстве несомненно звучит религиозный мотив. В то же время прельщает в гегелианстве эстетическая сторона построения, «законченность систематической композиции».

Всеми этими чертами, действительно присутствующими в нео-гегелианстве, Виндельбанд очень доволен. В этом он видит своеобразное оздоровление философии (*eine Art Gesundung*).

Но гегелианство может получить и вредный уклон, если гегелианцы подменяют критику познания Канта метафизикой познания Гегеля. В ошибку впасть здесь тем легче, что уже у Канта можно найти зародыши подобного уклона, уже у Канта фигурируют в критике способности суждения, «сверхчувственный субстрат человечества», «идея творческого разума», *Intellectus architypus* и проч. Только узкая межа отделяет критику Канта от метафизики Гегеля, но важно эту узкую черту не переступить.

В особенности Виндельбанд предупреждает против увлечений диалектикой. Единая система знания является постулатом, требованием разума, эта задача заданная, но никогда не нечто данное, осуществленное; «движение истины в себе самой», выражаясь в терминах Гегеля, по существу не разрешимая задача.

В связи с этим Виндельбанд всячески предупреждает против увлечения диалектикой. Диалектический метод, по его мнению, тесно связан с метафизическим гипостазированием идей, которые обращаются из орудия и средств познания в самостоятельные сущности.

Частные случаи применения диалектического метода у Гегеля бываю весьма удачными, но, в общем и целом, диалектика никоим образом не может стать снова методом философии.

Основные тезисы Виндельбанда весьма характерны и показательны. Возобновленный Гегель повлняет положительно на образование единого стройного мирозерцания, базирующегося на основах научной критики. Кантианство и гегелианство могут легко ужиться друг с другом, если разумно восполнять Канта Гегелем, потребностям века может сослужить большую службу Гегель, как систематик, но методология Гегеля, в особенности его диалектика, могут лишь привести к большой путанице и придать философской работе нежелательный уклон.

Виндельбанд совершенно правильно охарактеризовал современное нео-гегелианство, но он обошел некоторые существенные причины возобновления интереса к Гегелю.

Нео-кантианцы, к которым принадлежит сам Виндельбанд, должны были притти рано или поздно к нео-гегельянам. Подобную реставрацию Гегеля в пределах кантианства представляет из себя так называемая марбургская философия, в особенности философия Когена. Яковенко (Логос, кн. I, 1919 г.) очень удачно назвал Гегеля тайным руководителем Когена. Совершенно правильно обоснование этой мысли у Яковенко. Коген направляет Канта именно в том направлении, в котором этого требует гегелевская философия, «саморазвитие трансцендентальных познаний, связанный трансцендентальный процесс выведения категорий, круговая идеальная замкнутость познания, отождествление формы и содержания в их взаимных отношениях, воссое-

динение универсальности и конкретности, чистого мышления и чистого бытия в едином акте трансцендентальной научности,—все это мысли, взятые у Гегеля».

В особенности напоминает Гегеля начало и метод логики Когена. Понятие возникновения, рождения чего-то в неопределенном ничто суть лишь перифразы, переложения на современный язык совершенно аналогичных учений Гегеля. Равным образом, и непрерывное развитие категорий является у Когена повторением в смягченном виде диаметральных переходов гегелевской логики.

Непрерывность Когена очень близка к диалектике Гегеля, однако здесь и начинается главное расхождение обеих систем. Вполне закономерно немецкое кантианство в лице Когена пришло к возобновленному гегелианству. Гегель всячески обогатил его своим учением, но тут начинается самое любопытное: немецкое кантианство столь же вычезает к гегелианству, как и отталкивается от него. Мы это видели уже в речи Вильденбанда. Примеры Когена еще более характерны. Коген лично всегда отрекался от Гегеля, его отзывы о нем были резки и несправедливы.

Коген всегда готов был восстать против своего «тайного руководителя». Случайно ли это? Скорее в этом можно видеть судьбу неогегелианства.

Яковенко в своей статье подчеркивает ряд методологических различий между Когеном и Гегелем. Коген отказывается от учения о противоположностях, «ибо в чистой логике не может быть речи об игре противоположностей и о диалектическом развитии, от противоположных недостаточностей к совершенному их синтезу». Коген отрешился также от «формализма» гегелевского метода, Коген отказывается от «диалектической стороны диалектического метода»; в связи с этим отпадает и панлогизм Гегеля, этика вновь начинает существовать, как самостоятельная наука.

Можно было бы насчитать и больше фундаментальных различий между Когеном и Гегелем. Характерно здесь притяжение и отталкивание в их взаимной обусловленности. Мы никогда не должны забывать, что в лице Когена мы имеем возобновленное гегелианство на почве и в пределах кантианства. Пределы кантианства здесь максимально расширены, в него введено новое содержание, и оно готово разорвать форму, пытающуюся его охватить. Гегелем нельзя просто восполнить Канта. Подобное восполнение грозит стать катастрофическим.

Нельзя просто отказаться от «диалектической стороны диалектического метода». Кант и Гегель просто-напросто восполняют друг друга, Кант и Гегель и исторически и систематически ополчаются друг против друга, противоречие обнаруживается, несмотря на все попытки притупить его жало.

Когена и его учеников (Наторпа, Кассирера, Сеземана, Н. Гартмана) можно назвать скрытыми гегелианцами, сами они наиболее подчеркивают свою зависимость от Канта; подлинным главой гегелианской школы в Германии является пастор Г. Лассон, который очень хорошо издал «Энциклопедию» и «Феноменологию духа». Эти издания снабжены обширными сведениями, в которых очень ясно изложены основные тезисы немецкого гегелианства. Эти тезисы построены так, что они становятся весьма приемлемыми для немецкого идеализма, ориентированного на Канта. Гегелианство представлено, как необходимое завершающее звено идеализма, правду которого оно еще раз и при том окончательно подтверждает; на ряду с этим, Лассон отклоняет па-

падки, которые делались на философию Гегеля, которые свидетельствуют лишь о малой осведомленности критиков. Дать популярное и связное изложение гегелевской философии в форме освобожденной от специфических гегелевских приемов выражения мысли—дело не слишком трудное, и Лассон справляется с ним очень легко, гораздо труднее ему помириться с самой философией Гегеля, независимо от способов ее изложения. Всего интереснее та глава, в которой Лассон трактует об отношении абсолютного знания к религии.¹ Получается очень пикантная ситуация: пастор Лассон пытается сделать для себя приемлемым Гегеля, который является одним из самых иррелигиозных мыслителей из идеалистического лагеря.

Для Гегеля религия есть преодоленная точка зрения, философия в смысле разумного познания призвана заменить религию. Мир не имеет никакой тайны (а следовательно, и откровения), все может стать явным для пытливого ума. О религии, в особенности христианской, Гегель отзывался местами очень отрицательно. В «Феноменологии» он говорит о средневековом католичестве, как грубом поклонении праху и мертвым костям (реликвиям); романтическую религиозность Шлегеля Гегель обозвал «обезьяньей религией». При таком положении дела пастор Лассон все же хочет спасти положение дел. Он всячески подчеркивает тенетические и трансцендентные мотивы в системе Гегеля, указывает, что Гегеля не всегда нужно понимать буквально, но все же он видит, что этим мало помогает делу. Он вынужден критиковать своего учителя, он не может с ним вполне согласиться. Гегеля нужно исправить, Гегель слишком отождествил «субъективную мысль с объективной логикой». Гегель недостаточно подчеркнул различие между знанием конечным и знанием абсолютного духа. «Метафизике Гегеля не достает монадологии».

Таковы существенные разногласия. Достаточно вдуматься в эти краткие тезисы, чтобы видеть, что, выдвигая их, Лассон радикально порывает с гегельянством. Если субъективная мысль «теоретико-познавательная» должна быть различаема от абсолютного знания, то в системе Гегеля, в пределах кантовства, мы отброшены еще дальше к лейбницизму, если действительно стоим на почве монадологии, несовместимой с гегелевским монизмом.

В решительный момент в решительном пункте пастор Лассон отказывается следовать за Гегелем; он хочет Гегеля исправить, но вносит им поправки таковы, что влекут за собой отказ от Гегеля, ибо касаются самых основных принципов гегелевской философии. Нео-гегельянство Лассона оказывается несовместимым с самой гегелевской философией.

С Лассоном повторилось то же самое, что и с английским нео-гегельянцем Брэдли.

III.

С типичными чертами нео-гегельянства можно познакомиться и по русским образцам, правда, русское нео-гегельянство с точки зрения философской не представляет какого-либо существенного интереса, оно является столь раболопным подражанием западно-европейскому нео-гегельянству, что отражает все специфические черты последнего. Нужно отметить, что по своим философским корням оно стоит ближе всего к немецкой мысли, пытается результатом ее работы и по-своему повторять то, что она подсказывает.

Для русского нео-гегелианства характерна прежде всего философская деятельность проф. П. Новгородцева, основоположника всего этого направления. В своей работе «О Канте и Гегеле» проф. Новгородцев в основном стоит на почве кантовского идеализма. Добрая половина его книги посвящена анализу учения Канта. Этот анализ ничего нового в кантовскую литературу не вносит. Проф. Новгородцев в весьма скромной форме, по возможности ничего не обостряя и не углубляя, излагает кантовское учение. В этом изложении он бесконечно ниже немецких кантовцев, которые порой отличаются большой энергией мысли, блестящей эрудицией и мастерскими приемами анализа. Кант проф. Новгородцева—очень бледный Кант, по сравнению с Кантом Когена или Кантом Виндельбанда.

В этом отношении крайне любопытен окончательный вывод проф. Новгородцева—главная заслуга Канта в том, что он дал философское обоснование идее естественного права. «Кант вскрыл сущность естественного права и представил ее в самом ясном свете, указав ее основу в самозаконном нравственном сознании» («Учение о праве и государстве», стр. 158). Главный недостаток кантовства в том, что формализм Канта закрывал для него мир действительных отношений и удерживал его мысль в пределах абстрактных определений. Нормативное рассмотрение не может быть смешиваемо с социально-философским, «но оно не может и исключать этого последнего». «Одно должно восполнять другое». Здесь-то и можно привлечь Гегеля, который стоял на объективно-философской точке зрения в учении о праве и государстве. Повторю правильное отношение Канта и Гегеля должно представляться «отношением восполнения» и отнюдь не отрицания или исключения.

Эта теория «восполнения» Канта Гегелем как раз является очень характерной для немецкого и английского нео-гегелианства. Оригинальным мог быть самый способ проведения этой теории; нужно было показать, каким путем сочетается «субъективное направление» Канта и «объективное воззрение» Гегеля. В своей книге о Канте и Гегеле проф. Новгородцев этого не делает, он поступает очень осторожно, он говорит лишь, что подобное восполнение вообще возможно. Эту тему он, однако, не оставил; более заостренно этот же вопрос поставлен в «Кризисе правосознания». В этой книге субъективизм и объективизм уже не просто восполняют друг друга, но и ополчаются друг против друга, эта книга самое лучшее, что написал проф. Новгородцев, в ней есть действительно углубляющий анализ и очень хорошее расположение исторического материала, но и в этой работе нет определенного решения. Наконец, в последней из мне известных работ проф. Новгородцева, в «Социальном идеале», вышедшей в 1918 году, мы имеем положительное решение или, вернее, попытку его дать. К удивлению своему читатель видит, что тут не Гегель восполняет Канта, а скорее, наоборот, Кант—Гегеля; социальный вопрос теоретически может быть решен лишь в свете кантовского идеализма. Социальный идеал есть регулятивная идея, которая никоим образом не должна быть обращена в идею конститутивную. Кантовский идеализм служит естественной базой для всякого социально-политического реформизма. Таков вывод Гегелианство проф. Новгородцева по существу не выдерживает критики, он сам его покидает при более отчетливом углублении в предмет. И здесь, таким образом, мы видим то же притяжение и отталкивание от Гегеля, которое характерно вообще для нео-гегелианской школы.

IV.

Все эти виды неогегельянства и его наиболее крупные представители, как бы они ни отличались по философской одаренности и влиянию, все же имеют, несомненно, нечто общее, некоторые характерные черты, которые их объединяют.

Джеймс метко охарактеризовал английский неогегелизм, как «монизм набожного типа». Страннее всего, что подобный монизм хочет опереться в своих методах и в своих выводах на Гегеля, который говорил вполне ясно и откровенно, что философия не должна быть душевспасительной.

Безусловно нужно сделать большое усилие, чтобы понять, как возможно такое истолкование Гегеля, который по своим тенденциям диаметрально противоположен всей неогегельянской школе. Единственное объяснение, которое можно дать этому странному извращению, состоит в том, что неогегельянцы повернули Гегеля в обратную сторону, вся система Гегеля располагается для них в обратной перспективе. Благодаря этому, они имеют в Гегеле не только сторонника, но и врага.

На разборе основных положений неогегельянства можно уяснить себе, что именно в этом внутренняя противоречивость всего этого философского течения.

Мы видели, неогегельянство является своеобразной попыткой романтической реставрации, оно направлено против философского реализма, позитивизма и материализма. Этот философский романтизм, конечно, приходится ставить в теснейшую связь с возрождением романтики в искусстве и даже политике, которое разнообразно проявило себя в годы, непосредственно предшествовавшие мировой войне, и в годы самой войны.

Можно спрашивать, почему нео-романтики скорее всего шли в школу именно Гегеля, дабы обосновать свои романтические тезисы? Ведь, казалось бы, можно было прибегнуть к какому-нибудь другому учителю из идеалистов, например, к Платону или Канту.

Однако легко показать, что особенности гегелевской системы таковы, что нео-романтики, желающие найти философскую опору против реализма, могут воспользоваться с большим успехом именно Гегелем в этих целях.

В самом деле, философская проблема, стоявшая перед реставраторами романтизма, заключалась в том, чтобы найти пути от реального научного познания мира к идеалистическому и мистическому его перетолкованию. Нео-романтики не имели философского мужества объявить просто «банкротство науки», радикально указать на ее заблуждения, подобие отрицание и подобный порыв чужды этим мягкотелым и эклектическим философам, гораздо более устраивало признание науки и научного реализма, как известной ступени познания, как низшей истины по сравнению с истинной высшей, умозрительной. Им нужен был философ, который, не порывая связь с действительностью и ее требованиями, в одно и то же время был бы «романтиком».

Нечто подобное можно найти только у Гегеля.

Гегель в значительной мере является философом действительности. Уже Лассаль в «Системе приобретенных прав» говорит, что Гегель многократно повторяет на всех страницах своих сочинений, что философия идентична с совокупностью опытного мира, что философия требует больше всего углубления в эмпирические науки. Действитель-

но, в гегелевской системе весьма значительно подчеркнут реалистический момент: «Философия,—пишет Гегель,—будучи обоснованием разумного, именно потому есть познание существующего или действительного, а не построение потустороннего, которое существует бог знает где или, вернее, о котором отлично известно, что оно существует в заблуждении одностороннего пустого рассуждения» («Философия права», предисловие).

Но на ряду с реализмом несомненно наличие романтизма у Гегеля, об этом свидетельствует его натурфилософия. Натурфилософия, по мысли Гегеля, должна поставить на место «категорий интеллекта отношения спекулятивного понятия». Это именно то, что нужно было нео-романтикам. Научные истины стали для них полунистинами, можно их было бесконечно углублять философской спекуляцией, что действительно и делают нео-гегелланцы. В Гегеле они ценят возможность теоретического примирения науки и спекуляции.

Нужно сказать, что у Гегеля, действительно, есть то и другое, в его системе ярко выражен и реалистический момент и момент романтический, в ней есть и самое это «примирение» и, тем не менее, конечно, легко видеть, что все отношения гегелевской системы радикально извращены нео-гегелланцами. Романтика у Гегеля является крайним полюсом его развития, он начал свою философскую карьеру, как друг и сподвижник Шеллинга, от этой романтики никогда до конца не избавился, и, тем не менее, всем должно быть ясно, что историческая роль Гегеля состоит в том, что он был решительным критиком и разрушителем всевозможного романтизма, что путь его развития ведет к реализму. Романтизм и реализм являются полярностями его системы, его мысль идет от романтизма к реализму. Нео-гегелланцы берут статистически и эклектически систему Гегеля, они игнорируют ее динамику, поэтому всегда эти ученики Гегеля имеют против себя своего учителя в самых решительных моментах, поэтому они принуждены считаться с ним не только как с другом, но и как с врагом.

Подобное же отношение мы находим и в вопросе об эстетизме Гегеля. Несомненно, этот эстетизм присущ ей. Идеалистическая диалектика Гегеля действительно эстетична, ибо на место резкого или—или она ставит и—и. Понятие Гегеля, как «свободная мощь и полнота», поднимается над противоположностями, однаково признает их, он не делает выбора. На этом построил свою критику Гегеля проницательный Киркегор, который не мог примириться именно с эстетизмом системы Гегеля.

Нео-романтики поэтому в праве ценить эту сторону учения Гегеля, но и здесь приходится сказать то же самое, что и при разборе проблемы романтизма у Гегеля.

Достаточно ознакомиться хотя бы бегло с эстетикой Гегеля, чтобы убедиться, что Гегель был по существу разрушителем эстетики. По мнению Гегеля, искусство пережило три большие эпохи, оно было символическим на востоке, классическим в античном мире, романтическим при христианской культуре. Ныне предмет искусства перестает пленять сам по себе. «Мировой дух нашел новую сферу своего проявления». В наши дни искусство, по существу, изжито. Искусство относится к прошлому, к истории младенческого человечества. В настоящем роль искусства сыграна.

Эстетствующие романтики поэтому должны неизбежно войти в противоречие с Гегелем, утверждая свой эстетизм, встретиться с радикальным его отрицанием. У самого Гегеля эстетизм и его отрицание

живалось точно так же, как романтизм и реализм, его философия в путях своих отправлялась от романтического эстетизма, она стремилась к «реальной действительности практической объективности». И здесь нео-гегельянцы опускают внутреннюю диалектику, присущую системе Гегеля, и рассматривают ее остывшие мертвые формы.

V.

Против этих попыток извращения смысла Гегеля необходимо подчеркнуть действительный смысл и тенденцию его философии. Историческое и диалектическое изучение Гегеля лучше всего может содействовать устранению всевозможных заблуждений в этой области. Ибо, в самом деле, философия Гегеля является путем, ведущим от идеализма к материализму. Материализм не только исторически возник из Гегеля, но это возникновение имеет логические корни в самой гегелевской мистике. Гегель является великим противником романтики в новейшей философии; несмотря на весь идеализм системы, по тенденции его мысль антиидеалистична. Историческое изучение Гегеля не может дать иного вывода.

Во всяком случае, идеалистическим истолкователям Гегеля очень трудно избежать исторической инстанции, явно говорящей против них. Гегельянство потерпело естественный, необходимый и неизбежный процесс разложения. Из гегельянства возник современный материализм. Эта эволюция была произвольна, она основывалась на проблемах, которые были поставлены самой гегелевской философией. Нельзя было просто отделиться молчанием, никак не решать эти вопросы, они были весьма существенны, это были поистине проклятые вопросы того времени.

И вот всевозможные попытки осветить их с точки зрения так называемого правого гегельянства, пытавшегося истолковать в духе религиозном и идеалистическом, терпели полный крах, ибо философия Гегеля антирелигиозна по существу, враждебна самому религиозному сознанию, она враждебна и идеализму, если понимать его не эклектически путано и смутно, а точно и строго.

Бессмертна ли душа человека, или нет, должно ли мыслить бога, как личность, церковь или государство является идеальной формой организации человечества,—вот простые вопросы, на которые с точки зрения последовательного гегельянства можно ответить, только поддерживая отрицательный тезис: нет личного бессмертия, нет бога, как самосознающей себя личности. Гегельянство заставило порвать с основными спиритуализма, со всякого рода дуализмом, порвать с мифологическими представлениями о человечестве и мире.

Поэтому в высшей степени странно изображать переход от Гегеля к материализму, как своего рода философское грехопадение; нельзя думать, что радикальные младо-гегельянцы и материалисты худо поняли Гегеля, они поняли его слишком хорошо, они были последовательными и решительными его учениками. Правые гегельянцы, желая сохранить свои позиции, напротив, должны были порвать с Гегелем, и они, действительно, превратились в спиритуалистов, дуалистов, отказались от принципа Гегеля, перешли в лагерь его противников.

Во всяком случае, совершенно неправильно изображать дело так, будто крушение гегельянства произошло из его чрезмерного идеализма и рационализма. Правда, Гегель был абсолютным рационалистом,

он порой очень произвольно обращался с фактами, в особенности с историческими, тем не менее, нельзя понимать материализм только как антитезис к гегелевской философии, как естественную реакцию против крайности гегелизма. Материалисты были не только противниками, но и учениками Гегеля. Они хотели развить мысль своего учителя, а не только ее опровергнуть.

Современные гегелианцы думают совершенно иначе, им кажется, что стоит только избежать крайности гегелианства, и можно сохранить, утвердить и упрочить истину гегелевской философии. Они, конечно, не хотят игнорировать опытного исследования и его результатов, но они требуют восполнения опыта умозрением, против всякого относительного и условного знания они выдвигают критерий «абсолютной полноты», они пользуются диалектикой Гегеля, как своеобразным средством для головокружения, филигранно отточенные понятия гегелевской логики они сыкают в некоем интеллектуальном наслаждении. Это—дряблый и вялый гегелизм, никак не совпадающий с гегелизмом действительным, это—эклектический гегелизм, проникнутый внутренним противоречием и бессилием.

В этом, несомненно, нео-гегелианская школа резко расходится в понимании Гегеля со старой гегелианской школой, которая ныне мало привлекает внимание исследователей. В то же время можно показать, что ближайшие непосредственные ученики Гегеля не только весьма прилежно штудировали доктрины учителя, но, главное, сумели вскрыть действительные ее тенденции. Они брали гегелизм очень серьезно. Нео-гегелианцы всевозможных оттенков по сравнению с ними представляются чистыми дилетантами.

Они плохо знают Гегеля, они втолковывают в него те мысли, которые по существу ему чужды, они не поднимаются над поверхностью системы, не следят за внушаемым ею смыслом. Они сближают его с Кантом в критике способности суждения, с Шеллингом второго периода, с Платоном и Платином. Перед нами чистейший синкретизм, составленный из весьма разнородных элементов, в то время как исторический Гегель был прежде всего врагом всякой эклектики. Современные нео-гегелианцы чрезмерно увлечены философской игрой, сочетанием и разложением понятий, их прельщает Гегель потому, что у него действительно находится диалектическая обработка понятий и принципов, но эта диалектика берется ими, не как серьезный научный метод, а совершенно в другом значении, как метод взвешивания всевозможных за и против, как метод медитации. Современные нео-гегелианцы выдвигают эстетический созерцательный момент в гегелевском идеализме, который на самом деле был максимально действенен как по своей природе, так и по влиянию на умы современников.

VI.

Может казаться, что в одном нео-гегелианцы призваны сыграть положительную роль. Писания философов этого направления являются во многом комментариями и истолкованиями Гегеля. Тем самым они могут привлечь внимание на сочинения самого философа, изучение которого, конечно, радикально отвергнет представления о нем нео-гегелианцев и на его место поставит исторического Гегеля, Гегеля действительного, а не мнимого. Однако и здесь возникает существенное затруднение.

Прежде всего было бы совершенно неправильно сказать, что мало изучали и изучают исторического Гегеля. Напротив, можно привести ряд очень обстоятельно написанных и трудолюбивых книг на эту тему, начиная с жизнеописания Гегеля, составленного Розенкранцем. Но все дело в том, что метод историзма, принятый в этих работах, далеко не удовлетворителен.

Чисто историческое изложение зачастую противопоставляется и выставляется, как независимое от изучения философского; философское, с своей стороны, отрывается от исторического. На примере гегелевской системы мы видели это с особой ясностью. Гегелевская система, когда она освещается философски в трудах современных неогегельянцев, становится мало похожей на систему Гегеля, как мы ее знаем из истории. Все отношения здесь существенно изменены; неогегельянцы читают Гегеля, как я уже сказал, наоборот, с конца к началу; для них философия Гегеля представляется, как образ законченной универсальной системы, раз-навсегда готовой, они не видят динамики гегелевской мысли, ее путей и ее тенденций.

Противопоставать подобному философскому рассмотрению рассмотрение историческое, однако, относить нельзя, если под этим последним подразумевать вульгарный историзм, столь недавно торжествовавший по всей линии. Вульгарный историзм чуждался всех систематических выводов и возвышался лишь до весьма неопределенных аналогий. Этот историзм пытался лишь описывать внешность явлений, не стремился понять и установить закона этих явлений. Подобный историзм достаточно хорошо знаком и по истории права, и по истории политической экономии; переносить его в область философии ни в коей мере не целесообразно.

Противопоставая Гегеля воображаемого Гегеля историческому, я имел в виду нечто совершенно иное. Гегелевская философия, действительно, может быть изучена только на реальной почве истории, но этот историзм должен быть в той же мере и философским. Говоря иначе, историческое изучение Гегеля необходимо должно быть в то же время и диалектическим. Только диалектическое изучение Гегеля может дать ключ к его пониманию.

Во всяком случае, исследуя не только определенное содержание мысли, как оно выразилось в виде готовой данной системы, но стараясь определить также тенденцию мысли, направленность ее, стремясь установить силы, определяющие движение, то, откуда Гегель исходил и куда он шел, мы в состоянии будем избежать весьма многих существенных затруднений, почти непреодолимых при всяком ином способе изучения.

VII.

Но не в этом главное затруднение. Обычно в настоящее время, при изучении философского писателя, пользуются методом, по преимуществу, аналитическим. Расчленяют сложное целое его мысли на основные элементы, стараются фиксировать их, определить значение и объем частных понятий, следят за различием и употреблением терминов. При этом почти всегда получается один вывод: философская система до ее изучения, в живом непосредственном знакомстве с ней, представляется чем-то единым, во всяком случае связанным, органическим целым, если употреблять это избитое выражение. Напротив,

после подобного изучения система представляется чем-то противоречивым, она как бы шита из лоскутов. Можно сказать, что мы менее понимаем в конце изучения, благодаря современным комментаторам, чем при начале, до того раздвигают они живую ткань мысли на части своим анализом, который решительно неспособен притти к какому-нибудь, даже самому маленькому, «синтезу». Противоречия, все более и более дробящиеся, множатся. Мы приведены в тупик, из которого нет выхода. Отрезана сама возможность понять смысл системы, ее основной замысел.

Примерами подобного аналитического рассмотрения философских систем являются наиболее прославленные комментаторы новейшей философии. Так, одним из лучших комментаторов Аристотеля считается Боник. Ему принадлежит знаменитый указатель сочинений Аристотеля, где все термины, употребленные Аристотелем в его многочисленных сочинениях, расклассифицированы по их различному значению вплоть до мельчайших оттенков. Однако нужно признать, что этот указатель оставляет обращающегося к нему совершенно в беспомощном положении как раз при разборе наиболее трудных вопросов. Вместо какого-либо разъяснения множатся значения и оттенки слов.

То же самое впечатление мы получаем, если обратимся к комментарию Боника к метафизике Аристотеля. В нем отдельные мысли Аристотеля очень хорошо разграничены, но подлинная связь между ними ускользает. В особенности здесь характерно одно сравнение. Боник в общем близок к античному комментатору Аристотеля, Александру Афродизийскому, — насколько последний синтетичен, настолько Боник аналитичен. Александр рассуждает всегда из системы, взятой в целом, Боник эту систему раздвигает на отдельные паутинки; у Александра трудно проследить детали, у Боника еще труднее видеть целое.

То же самое приходится сказать и об обширной кантовской литературе. Особенно характерным примером является известный комментарий к «Критике чистого разума» Файнгерера. С внешней стороны — это триумф канто-филологии, по существу же — ее несомненный крах и банкротство. Мысль Канта скорее затемнена, чем разъяснена, трудолюбивым комментатором, — во всяком случае, она лишена всякой определенности.

Точно так же и современные гегельянцы пользуются, главным образом, аналитическим методом в своих комментариях Гегеля. Этот анализ приводит у них к характерному эклектизму.

Наиболее яркий пример подобного эклектизма, вполне открытого и ничем не прикрытого, являет собою нашумевшая книга Бенедетто Кроче — «Живое и мертвое в системе Гегеля», которая вышла одновременно с изданием итальянского перевода Энциклопедии.

Кроче в своей книге дает, так сказать, «инвентарную опись» философии Гегеля; он устанавливает ее основные элементы и тут же указывает, что они весьма трудно согласуемы друг с другом. По мнению Кроче, Гегель один из самых иррелигиозных мыслителей, которых знает история, и в то же время у него высшая религиозность. Гегель дает метафизическое обоснование эстетике, и в то же время он является ее разрушителем, Гегель романтический философ, а с другой стороны, он противник всякого романтизма.

Все это показано Кроче весьма наглядно. Его книга подобна творению Абеляра — «Да и Нет». Указав все противоречия, Кроче очень живо изображает ту квадратуру круга, которой подобна гегелевская система при аналитическом ее рассмотрении. Но это как раз и нужно

Кроме. Он решительно разрубает узел: определенные тезисы гегелевской философии он объявляет живыми частями системы, а соответствующие антитезисы—мертвыми частями системы. Кроме делает *шумбор*¹⁾, диктуемый ему его собственными вкусами и никак не обоснованный в самом разбираемом предмете.

Против этого аналитического метода нужно сказать, что всякая большая система философии, и гегелевская в частности, может быть понята лишь как движение мысли, как переход и становление. Статистическое ее представление лишает ее всякой живости и конкретности, превращает ее в застывшую схему, в которую все равно она никак уложиться не может. Эти схемы могут быть очень остроумны и хитроумны, но они не приближают к цели, скорей запутывают и затемняют, чем разъясняют.

Гегелевская система более, чем другая, может быть изучена только исторически и диалектически. Ибо при этом способе ее изучения противоречия, которые могут быть констатированы в ней, не являются чем-то абсолютно нелепым и иррациональным, а вскрываются, как необходимые звенья, как переходы, как моменты процесса мысли, противоречия из фактора иррационального превращаются в начало, вносящее ясность и определенность; вскрывая противоречия, мы обнаруживаем динамику движения системы, без чего немислимо понять самую систему в ее определенности и своеобразии.

Для недialeктика гегелевская система всегда останется книгой за семью печатями, он рискует ее совершенно не понять. За подобными примерами далеко ходить не приходится. Тределенбург, конечно, нельзя отказывать в философском таланте, его заслуги по изучению Аристотеля весьма значительны, но его критика Гегеля сбивается во многом на философский анекдот. Тределенбург совершенно не может понять, что способ дедукции Гегеля не совпадает с силлогизмом, не уместается в его формы. Критика Тределенбурга оставляет читателя разочарованным; истинная критика Гегеля, являясь в то же время выяснением смысла его философии, должна вскрыть истину, отбросив ложь. Эту истину она может извлечь, до конца продумывая выводы, доделывая до конца дело Гегеля, преодолевая его односторонность, узость и половинчатость.

В особенности для школы диалектического материализма борьба и вокруг Гегеля в настоящее время становится в порядок дня. Философское изучение Гегеля необходимо поставить на совершенно новые рельсы: той путанице и шумбуру, которые нео-гегельянцы поднимают вокруг Гегеля, должна быть противопоставлена критическая ясность научной мысли. Для сторонников исторического материализма это тем более необходимо сделать, что самый материализм здесь не может быть осознан как следует, без изучения тех исторических корней, из которых он развился.

Конечно, правильная постановка изучения Гегеля—очень большой и сложный вопрос, на который я могу лишь здесь указать, отнюдь не претендуя его разрешать²⁾. Одно должно быть ясно: не только изложения нео-гегельянцев не могут быть признаны удовлетворительными, но в корне ложен самый подход их к Гегелю и методы его толкования и комментирования.

¹⁾ Эплектика происходит от латинского *eslego*—выбирать.

²⁾ См. статью Ленина в журнале «Под Знаменем Марксизма», № 3 за 1922 г.

Учение В. М. Бехтерева и марксизм.

Ю. Франкфурт.

Наука в СССР понесла тяжелую утрату в лице В. М. Бехтерева. Лучшим памятником на его могиле будет оценка того сдвига к марксизму, который Бехтерев проделал за последние 2 года своей жизни. Поэтому мы посвятим свою статью выяснению и оценке этого сдвига, используя для этого три последние его работы: 1) «Объективное изучение личности», вып. 1, изд. 1923 г.; 2) «Психология, рефлексология и марксизм», 1925 г., и 3) статья «Диалектический материализм и рефлексология» в «Под Знаменем Марксизма» 1926 г., № 7—8¹⁾.

За последние годы, по мере укрепления советской власти, роста экономической ее базы — восстановление хозяйства, крепнет союз труда и науки, передовой, лучшей части интеллигенции и рабоче-крестьянских масс.

На этом фоне марксистская идеология, революционный марксизм и ленинизм, диалектический материализм все более и более проникают в науку, овладевают головами ученых, делаются исходной точкой их изысканий.

Этот процесс захватил также область психологии. Глазами образом, по мере укрепления, на фоне поднятия хозяйства СССР, третьего идеологического фронта, по мере роста смычки трудовой интеллигенции с рабоче-крестьянскими массами, по мере проникновения идеологии рабочего класса в среду ученых нашего союза, а частично вследствие борьбы за марксистский взгляд на психику со стороны марксистов-психологов, — по о марксизме в психологии заговорили все новые и новые группы психологов. Сознательно или бессознательно, искренно или неискренно, но и психологи почувствовали необходимость пересмотреть свою принципиальную и практическую установку в духе диалектического материализма.

Этот процесс, эта идеологическая ломка в области психологии имеют бесспорно большое положительное значение. Его нужно приветствовать и всячески поддерживать. Но, подходи диалектически, нельзя, однако, забывать и отрицательной его стороны, а именно, возможности вольного или невольного извращения отношения марксизма к психологии, и не только возможности, но и реально фактически уже выявившихся попыток извращения взглядов марксизма на психологию.

И, действительно, всех новообращенных в марксизм психологов можно разбить в общем и целом на две группы, а именно: на тех, которые обращаются к марксизму в целях найти в нем опору для своих точек зрения и в силу этого извращают марксизм, и на тех, которые

¹⁾ В дальнейшем мы будем цитировать эти работы: I, II, III.

хотят действительно стать на марксистскую точку зрения, пусть это им не всегда удастся в силу тяготеющей над ними идеологии прошлого.

* Наиболее ярким представителем первой категории является Челпанов, глава эмпирической психологии, выпустивший в 1924 г. брошюру «Психология и марксизм».

Вместо того, чтобы переоценить с точки зрения марксизма принципы эмпирической психологии и преодолеть ее недостатки, Челпанов «переоценил» марксизм, превратив основоположников его в идеалистов, психофизических параллелистов, эмпириков, сторонников субъективной эмпирической психологии.

Понятно, что такое крайне вредное и антинаучное «обращение» к марксизму, точнее извращение его во имя эмпирической субъективной психологии, было подвергнуто марксистами — психологами резкой, вполне заслуженной критике¹⁾.

Полную противоположность Челпанову представляет собой В. М. Бехтерев, представитель другого, противоположного субъективистам — эмпирикам, объективистического лагеря.

Поскольку объективное направление в психологии научнее, ценнее, «материалистичнее», поскольку Бехтерев обнаруживает стремление стать действительно на марксистскую точку зрения, постольку это обращение к марксизму бесспорно заслуживает большого общественного внимания.

1. Единство мира и всемирные законы.

В своей работе «Рефлексология и марксизм», посвященной анализу учения Бехтерева в его домарксистский период, мы указали, что бехтеревская формула о единстве мира, говорящая только о том, что неорганический, органический и социальные миры подчиняются одним и тем же законам, неверна с диалектической точки зрения, поскольку для марксизма единство не означает тождество, поскольку неорганический, органический и социальные миры, связанные между собой в единое целое, представляют собой качественно-различные миры, подчиняющиеся различным по форме законам.

В своих последних работах Бехтерев заявляет:

«Что миры не тождественны между собою, об этом можно осведомлять, быть может, начинающих обучаться детей».

«Что же касается устанавливаемой мною одной общей закономерности во всех трех мирах, то она ни в какой мере не исключает качественного различия миров, проявляющегося в частных закономерностях присущих им явлений»²⁾, приведя для доказательства пример с твердым, жидким и газообразным состоянием тел.

С этой мыслью о том, что нетождественность миров, — это азбучная истина, о которой не стоит говорить и писать, которую не надо подчеркивать, нельзя согласиться.

Ведь одним из спорных моментов в острой, принципиальной борьбе, которая происходит у нас между диалектиками и механистами, является вопрос о качестве, о том, что более сложные миры обладают новыми качествами и подчиняются новым законам.

¹⁾ См. ст. К. Н. Корнилова в сборнике Гос. Инстит. Эксп. Псих. и ст. Ю. Франкфурта там же и в «Красной Новиз», май 1925 г.

²⁾ II, стр. 33—34.

Поэтому мало знать самому о нетождественности миров, а надо эту нетождественность подчеркивать, из ряда общности, в своих общих формулах о принципах и законах. Это в-первых.

Во-вторых, дело не в том, что общность законов не исключает качественных различий миров, дело не в нейтральной возможности признания последних, а в положительной формулировке качественного различия, во включении этого момента в общую формулу, как ее основную часть, ибо общность мира для диалектических материалистов означает только 1) генетическую связь и зависимость более высокоорганизованного мира от генетически предшествующего, как от предпосылки, и 2) общность только некоторых действительно общих, а не всех тех законов, на которые указывал Бехтерев в своих прежних работах. За пределами этого неорганического, органического и социального миры существуют как особые миры лишь в силу своих качественных различий, различиясь различным по форме законам.

Ленинская формула, что «истина конкретна», которую Бехтерев принимает в своих последних работах, требует, при познании каждого из миров в его реальной конкретности, подчеркивания не только общности, но и качественных различий, включения в единства и качественных различий как двух важных, увязанных, но принципиально различных моментов, признания единства во многообразии и многообразия в единстве.

В-третьих, нельзя частные закономерности, разделяющие твердые, жидкие и газообразные тела, т.е. качественные различия в пределах одного и того же мира, даже более—в пределах части одного и того же мира, а именно физики, нельзя их ставить на одну доску с «частными» закономерностями целых миров—неорганического, органического и социального.

Если первые не могут и не должны быть включены в общие формулы, то вторые должны быть включены. И, действительно, Бехтерев в своей последней работе делает еще шаг вперед к марксизму в вопросе об единстве мира.

В статье «Диалект. мат. и рефлекс.», повторяя свою старую формулу, он добавляет уже, однако, что усложнение самого процесса приводит «к качественной разнице в явлениях одного, другого и третьего миров» ¹⁾, а в «Псих., рефлекс. и маркс.» он заявляет, что, обобщая чисто-механическое тяготение физических тел, биологическое тяготение (явление таксиса и др.) и социально-экономическое тяготение масс к центрам «в один принцип или закон тяготения», он «не подводит вторую и третью формулу под ньютоновский закон притяжения небесных сил» ²⁾.

Но если не подводит, то что остается от общего закона тяготения?

Напрасно только Бехтерев затушевывает свой сдвиг, пытаясь доказать ссылкой на «Колл. рефлекс.», что эта мысль не новая у него.

Приводимая им в доказательство цитата о том, что «биологическое тяготение таксиса «шире» ³⁾ притяжения физических тел» ничего не доказывает. Любое понятие может быть «шире» или «уже» и в пределах принципиально, качественно однородных. Широта или узость понятий не означает еще признания качественных

¹⁾ Диалект. матер. и рефлекс., стр. 90.

²⁾ Психолог., рефлекс. и маркс., стр. 11.

различий этого тяготения, и, следовательно, положение, что один и тот же принцип тяготения принимает три не подводимые одна под другую формы, представляет собой сдвиг к диалектико-материалистической формуле.

Приходится приветствовать этот сдвиг у Бехтерева в сторону признания единства мира с учетом качественных различий, признания единства многообразия.

II. Закон причинности или закон зависимых отношений.

В своей работе «Психол., рефлекс. и марк.» Бехтерев защищает, как и в предыдущих своих работах, закон или принцип зависимых отношений, противопоставляя его закону причинности ¹⁾.

«Я считаю правильным говорить не о «законе причинности», а о законе зависимых отношений» ²⁾, — формулирует он свою мысль.

«Понятие причинности в существе дела неаучно» ³⁾.

Понятия причина и следствие являются для Бехтерева такими же общежитейскими, общими, образными, как и понятия восхождение и захождение солнца.

В доказательство он приводит цитату из одного английского физика о том, «что закон причинности как будто налагает на наши собственные ограничения на зависимости между сущностями внешнего мира» ⁴⁾.

Ясно, что это мотив идеалистический и агностический.

Другой его мотив состоит в том, что если «всякое действие будет исходить из какой-либо причины, а это из другой причины», то мы «так дойдем, в конце концов, до причины всех причин, до абсолюта или бога, как это и допускалось философами разных направлений и всех времен» ⁵⁾.

Почему причинный ряд должен доходить до причин всех причин, а ряд зависимых отношений нет? Если последнее возможно при установлении зависимых отношений статически, в данный момент, когда можно удовлетвориться установленным кругового ряда зависимых отношений, при котором нет вопроса о причине причин, то при рассмотрении историческом, когда мы имеем дело со следующими и друг за другом, — во времени зависимыми отношениями, без нее обойтись нельзя, поэтому мотив Бехтерева против причинности можно обратить также и против зависимых отношений. Это во-первых.

Во-вторых, не все философы доходили в поисках причины всех причин до абсолюта или бога. До этого доходили только философы-идеалисты, деисты и фидеисты, как их называет Ленин.

В-третьих, ошибка этих философов состояла не в том, что они искали причину причин, а в том, где они ее искали, в том, что для них первопричиной были идея, дух, бог, абсолют.

В-четвертых, диалектический материализм не боится поисков причины причин, ибо при переходе от одной причины к другой, мы будем иметь дело только с более первичной формой материи. Диалектический материализм видит первопричину всего сущего, всего многообразия мира как в его статике, так и в динамике, в самой природе.

¹⁾ II, 35.

²⁾ II, 34.

³⁾ II, 35.

Поэтому и этот второй мотив, противоположный первому (первый мотив был идеалистический, а второй вытекает из боязни идеализма), также не приемлем.

Так обстояло дело со взглядами Бехтерева на закон причинности в 1925 г.

Совершенно другую картину мы видим в 1926 г.

«В общих основах рефлексологии человека» устанавливается принцип зависимых отношений (т.е. отношений причины к следствию и обратно)»¹⁾,—утверждает Бехтерев.

Бехтерев здесь допускает одну «историческую» ошибку. Он утверждает, что отождествление закона причинности и закона зависимости отношений он проводил уже и в «Общ. осн. рефл. чел.», но, как мы видели, он не только в «Общ. осн. рефл. чел.», но даже в «Псих., рефл. и маркс.» не отождествлял эти два закона, а противопоставлял их один другому. Как бы то ни было, пусть Бехтерев страдает исторической aberrацией, но перед нами бесспорно сдвиг в форме отождествления закона причинности и закона зависимых отношений. Однако это сдвиг не полный, половинчатый.

И, действительно, если Бехтерев не отказывался от существа своих мотивов против закона причинности, то его сдвиг чисто формальный, словесный, изменение только названия.

Если же Бехтерев изменил свои взгляды по существу, то зачем сохранять старое название, за которым кроется старое содержание.

Ясно, что здесь нужен еще один шаг, переход от отождествления закона причинности и закона зависимых отношений к полному безоговорочному признанию закона причинности, ибо за словечками всегда скрывается опасность извращений, что неоднократно и выявлялось в истории марксизма, диалектического материализма.

И Бехтерев такой шаг делает, заявляя:

«С точки зрения диалектического материализма нет ни обусловленных, ни изолированных явлений, все находится в непрерывной цепи, являясь и причиной и следствием»²⁾.

III. Материализм или энергетизм.

Если в прежних своих работах Бехтерев противопоставлял свой энергетизм не только идеализму и дуализму, но и материализму без учета различий между разными видами материализма, то в последних работах намечается очень интересный сдвиг.

Бехтерев заявляет, что он примет понятие «материи в философском смысле слова»³⁾.

И выдвигает новую формулу «материализм без материи»⁴⁾, заимствованную им у проф. А. Генкеля и представляющую собой сочетание старого физического учения об энергии—«без материи»—с новым—философским материализмом.

Для наилучшего выяснения этого вопроса мы остановимся сначала на физическом, а затем на философском учении Бехтерева.

¹⁾ III, 80—81.

²⁾ II, стр. 46.

³⁾ II, стр. 43.

А. Физическое учение.

«До сих пор,—пишет он,—в физике энергии назывались, как истинно, физическими, а не материальными».

«Понятие материи в действительности поглощается понятием энергии, и сама материя понимается, как связанная энергия»,—пишет Бехтерев.

И далее: «Материя утрачивает свои основные свойства, превращаясь в физическую энергию. Так материя ради, распадаясь, превращается в физическую энергию, т.е. в лучи того или другого наименования и вместе с тем перестает быть материей»¹).

Если соединить оба положения, то мы получим цельное монистическое физическое учение Бехтерева о материи, укладывающееся в следующий трехчленный ряд:

1) Первооснова всего мира—это не материальная физическая энергия.

2) Из скопления, связи этой нематериальной, физической энергии образуется материя, как производное.

3) Эта производная материя, дематериализуясь, снова обращается в нематериальную, физическую энергию.

Эта схема признает материю, но не как новообразование «материальное» из нематериальной физической энергии, не как переход нематериальной энергии в материю, а только как скопление нематериальной энергии.

Следовательно, по Бехтереву нет материи, а есть только нематериальная энергия. Материя по Бехтереву—фикция.

Из всех тех лиц, на которых ссылался Бехтерев, мы позволим себе выделить А. К. Тимирязева, поскольку он физик и, в отличие от многих других физиков, материалист, хотя и механистического толка.

Об электро-магнитной массе, являющейся по мнению Бехтерева опровержением материи, А. К. Тимирязев говорит, что это понятие было установлено впервые Томсоном, «самым выдающимся из живущих теперь физиков на всем земном шаре», согласно коему строение электрона приближается к «полому шару с очень легкими, но вместе с тем прочными стенками, из полости которого выкачан воздух самым совершенным из существующих насосов».

Но «в примере движущегося шара, из которого выкачан воздух, само собой разумеется, нет никакого опровержения материализма: движется материя, а расположена ли она внутри шара или снаружи—это, конечно, дела не меняет»²).

Базируясь на работах выдающегося физика Томсона, Тимирязев доказывает реальность материи.

Далее, мы позволим себе сослаться на ученого академика Иоффе, который заявляет:

«Если из свойства материи хотят вывести ее отсутствие, то нужно бороться с таким искажением здравого смысла, а не с теориями, описывающими материю».

Мы считаем себя в праве заявить, что, выставив свою формулу о нематериальной физической энергии, о материализме без материи,

¹) II, стр. 42—43. Здесь на лицо обычная игра с подменой философского понятия материи физическим. Заменяя понятие массы понятием материи, легко можно скатиться к идеалистическому толкованию новейших успехов физики, как это и происходит у Бехтерева.

²) А. К. Тимирязев, «Под Зна. Маркс» 1922 г., № 4.

Бехтерев базировался не на выводах физики, а на «тех заключительных фразах», которыми, по словам Тимирязева, «представители науки, авторы новейших исследований,—хотя они в своей работе и остаются почти без исключения последовательными материалистами», «присоединяются к хору философов буржуазного мира, сплошь и рядом поддаваясь общему настроению».

По существу ошибка Бехтерева, как и тех физиков, на которых он ссылается, состоит, как мы уже указали это, критикуя Бехтерева в своей «Рефлекс. и маркс», в том, что он смешал вопрос о том или другом строении материи и атома с существованием и признанием материи вообще, материи как таковой.

Да, атомы распадаются, но не на «таинственные энергетические центры», а на другие, пока нам мало известные виды материальных частиц с другими свойствами, а когда и электроны будут разложены на более простые тела, то это опять-таки окажутся материальные частицы.

По мере проникновения нашего в природу, по мере ее изучения, мы получаем более точное представление о природе, открываем ее все более тонкое строение, но строение материи. При этом материя не лишается полностью своих свойств, а меняет их, теряя одни свойства и приобретая другие.

Исторически меняется наше знание о строении материи и ее свойствах, исторически в процессе развития меняется само строение материи и ее свойства, но всегда мы имеем материю с определенными свойствами, ибо материя вообще, материя, как таковая, вечна.

Остается пожалеть, что смерть помешала Бехтереву сделать вытекающий из марксизма вывод о реальности материи.

Б. Является ли энергетизм философским материализмом.

В доказательство того, что его теория об энергии без материи есть философский материализм, Бехтерев приводит два мотива, в которых мы постараемся разобраться.

Мотив первый: энергетизм признает объективное бытие.

Приведем цитату из Ленина о том, что «материя есть философская категория для обозначения объективно вне нас существующего мира, соответственно отображаемого нашими ощущениями, сознанием» (В. Ленин, «Материализм и эмпириокритицизм»), Бехтерев заявляет: «ясно таким образом, что философы в противоположность идеализму могут называть воззрение о физическом вообще и в частности физико-энергетическом бытии, находящемся вне нас и служащем источником воздействия на наши воспринимающие органы, материализмом»¹⁾.

По Ленину надо различать между субъективным идеализмом, не признающим объективного бытия, и абсолютным или объективным идеализмом, признающим его.

А если есть такие идеалистические системы, которые признают объективное вне человека лежащее бытие, как источник наших ощущений, то ясно, что не всякое такое признание есть материализм, как

¹⁾ II, стр. 45.

это думал Бехтерев, что это признание есть только одна из основ, но не единственная основа материализма.

Критикуя «систему» Богданова, Ленин пишет: «Это прямо ко-мизм, если подобную «систему» Богданов подводит тоже под материализм: и у меня-де природа первичное, дух вторичное. Если так применять определение Энгельса, то и Гегель материалист, ибо у него тоже психический опыт (под названием абсолютной идеи) стоит раньше, затем следует «выше» физический мир, природа и, наконец, познание человека, который через природу познает абсолютную идею. Ни один идеалист не будет отрицать в таком смысле первичности природы, ибо на деле это не первичность, на деле природа не берется за непосредственно данное, за исходный пункт гносеологии»¹⁾.

«Философия, которая учит, что сама физическая природа есть производное,—есть чистейшая философия поповщины»²⁾.

Материализм, следовательно, не сводится только к признанию объективного бытия, как источника восприятий. Материализм требует признания того, что это объективное вне человека существующее бытие есть первооснова, перводанное, никем и ничем не созданное, ни из чего другого не вытекающее, не производное бытие.

«В полном соответствии с материалистической философией Маркса и излагая ее, Фр. Энгельс писал в «Антин-Дюринге»: «Единство мира состоит не в его бытии, а в его материальности, которое доказывается... долгим и трудным развитием философии и естествознания...»³⁾.

Итак, Бехтерев неверно определил, сузил понятие материализма по Ленину.

Материализм признает, что источником нашего мышления, психики является объективное, вне человека лежащее бытие, как перводанное материальное бытие.

С этой точки зрения сравним трехчленный ряд Бехтерева: 1) нематериальная энергия, 2) фиктивная материя—скопление нематериальной энергии и 3) человеческая психика с трехчленным рядом Гегеля: 1) абсолютный дух, абсолютная идея, 2) фактическая материя как инобытие его и 3) человеческий дух, идея.

Бехтерев, как и Гегель, признает объективное вне человека лежащее бытие, как источник нашего познания и сознания.

Как и Гегель, Бехтерев видит в этом объективном бытии нечто вторичное.

Правда, Бехтерев пытался опровергнуть наше обвинение в первичности энергии. Он пишет, «что нервная энергия не может быть независимой, первичной и пр., являясь результатом превращения других физических энергий»⁴⁾.

Но мы говорим о первичности не производной нервной-психической энергии, а об энергии, как таковой, в отношении материи. Поскольку Бехтерев заявляет, что материя представляет собой скопление нематериальной энергии, то, следовательно, основой мира и является последняя, как первичная изначальная сущность, материя же есть производное, вторичное.

¹⁾ Ленин, т. X, ч. 2, стр. 188.

²⁾ Ленин, т. X, ч. 2, стр. 190.

³⁾ Ленин, т. XII, ч. 2, стр. 321.

⁴⁾ И, стр. 36.

Гегель признавал первичность идеи, т. е. духовного, идеального начала, меж тем как Бехтерев видел первичное в нематериальной, но зато физической энергии.

Здесь разница бесспорна и составляет «преимущество» системы Бехтерева.

О характере и ценности этого «преимущества» мы скажем ниже, а пока надо указать, что на ряду с различием первичного у Гегеля и Бехтерева есть и общность.

Гегель противопоставляет свою первичную абсолютную идею ее инобытию, реальной материи.

Бехтерев противопоставляет свою первичную физическую энергию фиктивной материи, как бы связанной форме. Но, независимо от того, признают ли они или отрицают фактическую материальность вторичного, оба в своем первичном видят нечто нематериальное, принципиально-отличное от фактически признаваемой или отрицаемой материи. Их первичное—нематериально.

Первичная идея Гегеля представляет собой абстрагированные человеческие идеи, мысли, ощущения.

А что такое бехтеревская физическая энергия?

По Ленину, Энгельсу, Плеханову объективный мир—это материальное бытие, материя, единственной формой существования коей является движение, т. е. движущаяся материя.

Следовательно, нематериальная физическая энергия Бехтерева, под которой он сам понимает только движение,—есть с точки зрения Ленина, как и основоположников марксизма, абстракция движения и вещества от самого вещества.

Таким образом первичное Гегеля и Бехтерева обладает еще одной общей чертой—абстрактностью.

Для Гегеля первичное—абстрактный дух и вторичное—материальный мир представляют собой две последовательные ступени, две следующие друг за другом формы бытия. Это-то обстоятельство и дало возможность Марксу поставить диалектическое учение Гегеля с головы на ноги, т. е. отсечь первичную стадию существования в развитии абстрактного духа и остаться при единой и единственной ступени и стадии—существовании и развитии одного только объективного материального мира.

А что мы имеем в системе Бехтерева? Для него нет двух ступеней, двух стадий, двух принципиально-различных форм бытия. Для Бехтерева первичная нематериальная энергия и фиктивная материя—скопление энергии «существуют одновременно»¹⁾.

Но поскольку для Бехтерева материя не есть, как у Гегеля, принципиально-новая сущность, а только форма связи, а именно скопление нематериальной энергии, то весь мир состоит из первичной не материальной энергии, то весь мир—не материален, отсюда, ведь, его формула «материализм без материи».

Ясно, что эта разница говорит в пользу Гегеля, а не Бехтерева²⁾. Нет, однако, материализма без материи, как первичной основы бытия.

Теперь перейдем ко второму мотиву Бехтерева: физико-энергетическая теория является не только материализмом, но даже сверхматериализмом, ибо она мистична.

¹⁾ III, стр. 90.

²⁾ И, следовательно, вышеуказанное преимущество Бехтерева превращается в свою противоположность.

«Для убедительности» Бехтерев приводит следующее место из статьи Геккеля:

«Остальд, отняв у нас, материалистов, материну, сама нас еще большими материалистами—он дал нам, монизма¹⁾»).

Воодушевленный этим монизмом Бехтерев называет ненаучной и дуалистической мыслью «о «материни» и о «силе», хотя бы в форме свойства материни»²⁾.

Во-первых, сам Бехтерев под энергией понимает движение «разные проявления движения»³⁾, а энергия—движение и есть фактически то активное начало, сила, о которой идет речь.

Можно спорить о словах, можно принять новую терминологию, но суть-то дела одна: понятие «сила» и понятие «энергия» означают во существе одно и то же, а именно активное начало, движение.

Спрашивается, почему энергия научна, а сила—ненаучна. Единственный мотив Бехтерева, что энергия есть единственно-реальная, самостоятельная сущность, а сила есть только свойство материни,—это мотив не от науки, а от философского идеализма.

Во-вторых, сам Бехтерев еще не был свободен от дуалистического представления о материни, соглашаясь «отождествлять понятие силы с инерцией»⁴⁾.

Ясно, что по Бехтереву активность присуща особому нематериальному началу и что сама материя свойством активности не обладает, что она, как таковая, обладает только косностью, что она только пассивна.

В-третьих, все выдержанные материалисты и самые последовательные материалисты—диалектические материалисты были против дуалистического учения о материни и силе, за монистическое.

Но в каком смысле? Как они понимают монизм в интересующем нас теперь отношении?

Из приводимых самим Бехтеревым, но неправильно трактуемых им цитат из основоположников марксизма видно, что «движение есть форма бытия материни, что нигде и никогда не бывало и не может быть материни без движения, движения без материни»⁵⁾.

Для марксизма, с одной стороны, нет отдельной пассивной материни и отдельной активной силы, энергии, движения, но, с другой стороны, марксизм не отрицает ни материни, ни силы, энергии, движения.

Марксизм объединяет материну и силу-энергию, движение в единое целое, в материальное бытие.

Марксизм признает монизм в смысле единства многообразия, единой материни со многими свойствами, среди которых энергия, движение, является одним из основных, изначальных.

Вот этого-то единства многообразия нет в монизме Бехтерева, потому он квалифицировал приведенное нами марксистское положение, что сила, энергия, движение есть свойство материни, как дуализм, не понимая, что этим самым он обвинял марксизм в дуализме.

¹⁾ II, стр. 44.

²⁾ II, стр. 39.

³⁾ II, стр. 37.

⁴⁾ III, стр. 70.

Насколько Бехтерев не в состоянии был понять мысль о том, что энергия есть только одно из свойств материи, этого единства многообразия, особенно ярко бросается в глаза в его статье «Диалект. матер. и рефлекс.», представляющей самый большой сдвиг его к марксизму.

В этой статье мы читаем:

«Марксизм в основу всех процессов, совершающихся в мировой обстановке, ставит материю, но он не считает эту материю за абсолютно неизменную субстанцию, наоборот, учение Маркса-Энгельса признает, что материя находится в непрерывном развитии, непрерывном изменении. Суть диалектического материализма заключается в том, что нет предметов, а есть процессы, подчиняющиеся определенной закономерности в своем развитии».

Начав с утверждения и вполне правильного, что с точки зрения марксизма в основе мира лежит изменяющаяся материя, он кончил неверным выводом, что есть только процессы, а тел нет.

Да, нет неизменной материи, материя постоянно меняется, она изменчива. Но изменчива и меняется материя.

Материя постоянно находится в состоянии процесса, изменения, но, ведь, этот процесс, эти изменения происходят в материи, а не вне и без материи.

Ошибка Бехтерева состояла в том, что он изменчивость материи заменил, вернее подменил, отрицанием материи, что он за процессом, за изменчивостью, за движением, за активностью не видел того субстрата, в котором протекает процесс, который изменяется, движется, проявляет активность.

Таким образом, монизм Бехтерева сводится к отрицанию материи, к идеалистическому превращению ее в нематериальный процесс, изменчивость, движение, энергию, к идеалистическому отождествлению материи с нематериальной энергией, к превращению материи в нематериальную, следовательно, принципиально идеалистическую спиритуалистическую сущность, и слово «физическое» дела спасти не может, поскольку физическое принципиально противостоит Бехтереву материи.

Бехтерев критикует дуализм, становясь на монистическую, однако, на идеалистически-монистическую точку зрения.

Следовательно, утверждение Бехтерева, что его монистическая физико-энергетическая теория не только материализм, но и сверхматериализм (еще больший материализм), есть выражение непонимания разницы между материалистическим монизмом и идеалистическим, энергетическим и всяким другим не материалистическим монизмом.

Итак, в формуле Бехтерева «материализм без материи» первая половина не вяжется принципиально со второй, к тому же научно недоказанной.

Но, если Ленин характеризовал энергетiku Оствальда как «путаный агностицизм, спотыкающийся кое-где в идеализм», каковая характеристика вполне приложима к Бехтереву в его домарксистский период, когда он противопоставлял свою энергетiku всем видам материализма, то последняя его формула «материализм без материи», представляющая собой попытку соединить путаный агностицистский, спотыкающийся кое-где в идеализм энергетизм с марксизмом, как философским материализмом, означает бесспорно сдвиг в сторону последнего, хотя сдвиг и половинчатый.

В. Дальнейший сдвиг к материализму.

Надо, однако, отдать Бехтереву справедливость в том отношении, что он чувствует несовместимость с марксизмом своей формулы «материализм без материи», «нематериальная физическая энергия».

Так, он оправдывается от упрека со стороны К. Н. Коринилова в том, что его учение о материи, как производном от энергии, есть отщепенство от материализма, утверждая, что, «к сожалению, по недосмотру в одном месте» в «Общие основы рефлексологии» вкралась досадная опска, а именно, набрано «материальной или физической» вместо «материальной или механической»¹⁾.

Тем не менее после сказанного ясно, что здесь не просто опска, а определенная мысль, но своим указанием на «досадную опску» Бехтерев делает шаг к марксистскому пониманию материи и «силы-энергии».

Этот сдвиг к марксизму конкретно выражен в той же работе «Псих., рефлекс. и маркс.», тем, что Бехтерев пытается различить два вида энергии: 1) физическую энергию, которая, не переставая быть физической, является «нематериальной», и 2) отличный от нее вид энергии, «где дело идет о движении самой материи»²⁾.

Из этого деления ясно видно, что Бехтерев делает действительно сдвиг к материализму, к признанию материи, хотя и половинчатый. Эта половинчатость особенно ярко бросается в глаза в том месте, где, сославшись на Энгельса, что «формы превращения одних энергий в другие сводятся к утрате определенного качества движения одним телом и приобретению соответственного качества движения другим телом», Бехтерев добавляет: «все материальные тела суть только местные скопления энергии, и ничего более»³⁾.

Остается пожалеть, что Бехтерев не довел до конца свою эволюцию, не признав в энергии-движении только свойство перводанной материи, не приняв материализм вместе с материей.

Однако, несмотря на всю эту половинчатость, сдвиг к марксизму несомненен.

IV. Психофизическая проблема.

Когда мы в «Рефлексологии и марксизме» указывали, что Бехтерев эклектически путает в психофизической проблеме, что на ряду с правильными и приемлемыми формулировками он дает и неверные, неопределенные, неприемлемые, дуалистические и идеалистические формулировки, Бехтерев переживал еще свой домарксистский период. Как обстоит дело с его взглядами в его марксистский период.

А. Реальна ли психика, субъективное?

Приведем цитату из Деборина о том, что «всякое познание возникает из опыта, т.е. из восприятий, получаемых субъектом от внешнего мира», что «внешним миром, бытием определяется наше сознание», Бехтерев заявляет:

«Здесь пока что фигурирует еще «субъект» и «сознание», но это есть лишь непревзойденная дань неизжитому еще субъективизму в изучении человеческой личности»⁴⁾.

¹⁾ II, стр. 51.

²⁾ II, стр. 43.

³⁾ III, стр. 74—75.

⁴⁾ III, стр. 71.

Что отсюда следует?

Во-первых, эта непреодолимая дань неизбежному субъективизму присуща не только А. М. Деборину, но и всем основоположникам марксизма, поскольку, как это видно из приведенных самим Бехтеревым в том же месте цитат, Энгельс, как и Деборин, признает сознание, мышление, идеи, как отражение бытия.

Во-вторых, Бехтерев сам отказывается от признания реальности субъективного, поскольку признание субъекта и его сознания есть непреодолимая дань неизбежному субъективизму, т.-е. донаучно, с точки зрения Бехтерева.

В-третьих, этот отказ может означать только одно из двух, а именно, или отрицание субъективного, или его отождествление с объективным.

В-четвертых, с точки зрения диалектического материализма, признающего реальность материи, отрицание субъективного означает призыв назад к действительно-преодоленной уже материализмом и марксизмом стадии, а в нашей советской действительности призыв назад к реакционному инчиенизму, бросившему марксизму упрек в том, что основоположники его, поскольку они еще говорят о сознании, о психике, о субъективности, не освободились еще от идеологических пут буржуазного обмана.

В-пятых, с точки зрения диалектического материализма отождествление сознания, психики с объективным физиологическим процессом есть призыв к механическому материализму.

В-шестых, с энергетической точки зрения, отказ от субъективного или его отождествление с объективным означает только одно—сведение всех качеств к одной только нематериальной физической энергии, к идеалистической абстракции, т.-е. призыв к идеалистическому тождеству, к идеалистическому монизму, призыв от материализма назад к идеализму.

В-седьмых, до сих пор, говоря об отрицании Бехтеревым субъективного как особого качества, мы имели в виду отождествление им субъективного с объективными процессами в мозгу человека. Но у Бехтерева проскальзывает и другой вид отождествления, а именно отождествление субъективного, внутренних переживаний с внешними проявлениями, действиями человека.

«В полном соответствии с материалистическим учением, по которому «бытие определяет сознание», а следовательно, и его проявления в форме действий и поступков», следовало бы с рефлексологической точки зрения сказать «проше»: «бытие определяет действия и поступки человека»¹⁾.

С одной стороны, бытие определяет сознание (т.-е. внутренние переживания) и проявления в форме действий и поступков, а с другой стороны, в окончательном выводе бытие определяет только действия и поступки, без упоминания о субъективном, о сознании.

Ничего другого, кроме отождествления сознания, в смысле внутреннего переживания, с внешними проявлениями, поступками и действиями, это означать не может.

Но на ряду с отрицанием субъективного Бехтерев в своей последней статье приводит целый ряд цитат из сочинений Маркса, Энгельса и Плеханова о реальности психики. Таким образом, в вопросе о реальности психики в нем борется старая боязнь субъективного в ис-

¹⁾ III, 72.

дние стать на точку зрения диалектического материализма. Сдвиг, хотя и половинчатый, несомненен.

Б. Роль и значение суб'ективного.

«Суб'ективный мир не есть только ненужная величина, эпифеномен, а является таким же выражением нервно-психической энергии, что и нервный ток».

«Внешние количественные различия в раздражениях как бы перелагаются на определенные суб'ективные символы подобно тому, как определенные количественные изменения вещества перелагаются нами в определенные арифметические знаки. Так как при этом эффекты качественного различия в наших ощущениях представляются необычайно резкими, то ими сравнительно легко, во внутреннем мире определяются количественные различия во влияниях на организм внешних раздражений».

Если ощущения являются арифметическими знаками, то «словесные символы, имея суб'ективную и об'ективную сторону, являются своего рода алгебраическим знаком»¹⁾.

Взгляд Бехтерева на роль и значение психики, как мы видим, сводится к двум положениям: 1) психика, суб'ективное—это арифметические и алгебраические знаки, символы, 2) суб'ективное облегчает нам наши действия.

Разберемся в первой мысли Бехтерева.

Для марксизма психика, суб'ективное является отражением, копией, а не знаком и символом.

Отражение, копия указывает на внутреннюю, органическую связь и взаимоотношение с отражаемым, вследствие чего мы и познаем отражаемое через его отражение, знак же или символ на эту внутреннюю, органическую связь не указывает и является чем-то случайным, лишним для отражаемого, не дающим нам возможность фактически познать последнее.

Другими словами определение суб'ективного, как знак, символ, вытекает из агностического представления о непознаваемости мира.

Вот почему все марксисты боролись с таким представлением, с такой характеристикой психики, как знака символа. Достаточно вспомнить уничтожающую критику Лениным эмпирио-символизма.

Правда, Бехтерев мог бы сослаться на Плеханова, который назвал психику, суб'ективное иероглифами, условными знаками. Но он не мог не знать, во-первых, что Ленин подверг Плеханова за это выражение резкой критике, во-вторых, что Плеханов сознал свою ошибку и отказался от этого не точного агностического термина.

Поэтому мысль о психике, как о знаке и символе, есть мысль нежная и, с точки зрения марксизма и истории его борьбы с различными извращениями, мысль, уже давно превзойденная и отвергнутая.

Совсем иначе обстоит дело со второй мыслью Бехтерева.

Ленин говорит: «Что это за фальшь, будто воздействие разума и чувства тогдашних «живых личностей» на «ход вещей» было «ничтожно». Совсем напротив»²⁾.

¹⁾ I, стр. 23.

²⁾ Ленин, т. II, стр. 63.

Ответ на вопрос, в чем же состоит это действие, мы находим у Энгельса и Плеханова.

Энгельс заявляет: «Все, что побуждает человека к деятельности, неизбежно должно проходить через голову: даже за еду и питье человек принимается под влиянием образовавшихся в его голове ощущений голода и жажды, а перестает есть и пить потому, что в его голове отражается ощущение сытости»¹⁾.

А Плеханов считает, что «субъективное является непосредственной пружиной наших действий»²⁾.

Таким образом, действенная роль и значение психики состоит, с точки зрения марксизма, в том, что, как отражение, она является непосредственной причиной наших действий.

Поскольку Бехтерев признает роль и значение субъективного, постольку он примыкает к марксистскому взгляду на этот вопрос, высказанному задолго до него основоположниками марксизма и материализма.

Второе его положение верно и приемлемо.

В. Какова связь субъективного с физиологическим.

Поскольку Бехтерев признает психику, сознание, как явление, имеющее огромную роль и значение, то встает вопрос о том, как он представляет себе связь субъективного с физиологическим.

«Сказать, что психика есть свойство материи, равносильно признать для человека, что его психика есть свойство мозга. Это значит поддерживать тот уже давно отвергнутый наукой, грубый и бюхиеровского типа материализм, который утверждал, что как печень выделяет желчь, так мозг производит мысль.

И тут же дальше: «Бюхнер, как ученый и как физиолог, конечно, никогда бы не решился признать возможным понимание психики, как свойства мозга»³⁾.

Что психика есть особое свойство материи—это формула основоположников марксизма, и, следовательно, Бехтерев, в данном случае, выступает против основоположников марксизма.

Это во-первых.

Во-вторых, мы можем вполне согласиться с Бехтеревым, что Бюхнер, как вульгарный материалист, не мог принять марксистской, т. е. выдержанной материалистической, формулы о психике, как особом свойстве материи, так как для него психика была не свойством материи мозга, а таким же выделением, как желчь из печени.

В-третьих, Бехтерев сам смешал формулу «психика—свойство материи» с фогт-бюхиеровской формулой «психика—выделение материи, подобно желчи», меж тем, как по первой формуле психика есть неотделимое и нераздельное свойство мозга, несуществующее вне последнего, а по второй формуле психика выделяется, как нечто отдельное и раздельное от мозга.

В-четвертых, считая, что бюхиеровское «производство», выделение мозгом мыслей выше марксистского «мысль—свойство мозга», Бехте-

¹⁾ Энгельс, Фейербах, изд. «Кр. Новь», 1923 г., стр. 49.

²⁾ Плеханов, т. XVI, стр. 36—37.

³⁾ И. стр. 50.

ка ставил вульгарный материализм Бюхнера выше того марксизма, к которому он хотел сочетать свою рефлексологию.

Однако послушаем, как Бехтерев мотивировал свое отрицание формулы: «психика—свойство материи».

«Чего казалось бы проще говорить—энергия есть свойство материи, жизнь есть свойство организованной материи, психика есть свойство мозговой материи. Мысль была бы доведена до предела, упираясь в свойство, и казалось, все тут было бы просто, только не было бы науки»¹⁾.

Мотив этот удивительнейшим образом сходен с мотивировкой тех противников материализма, которые говорили:

«Что такое электричество?—Особый род движения. Что такое теплота?—Особый род движения. Что такое свет?—Особый род движения. А, так вот как. Вы, стало быть, не придаете значения ни свету, ни теплоте, ни электричеству. У вас все одно движение; какая односторонность, какая узость понятий!»; именно их Плеханов так зло осмеивал своим замечанием: «Именно так, именно узость, господи. Вы прецедентно поняли смысл учения о превращении энергии»²⁾.

Как мысль о том, что электричество, теплота и свет представляют собой различные виды, материального движения, не только не мешает, но, наоборот, толкает и облегчает их изучение как различных видов движения, так и мысль о том, что психика есть свойство материи, а, следовательно, различные психические явления являются свойствами различных физических процессов и состояний материи, не только заставляет искать основу различных психических процессов и явлений в различных состояниях материи, но и создает почву для этих поисков.

Эту мысль понимал и сам Бехтерев.

Так, в первой из рассматриваемых нами теперь его работ он пишет, что «характер или качество субъективных состояний находится в прямой связи с частотой колебаний и с родом влияния раздражающего агента»³⁾.

Почему он от нее отказался, не понятно.

Таким образом, утверждение, что мысль о «психике как свойстве материи» мешает изучению, ни на чем не основано.

Но послушаем дальше.

«Не уподобилось ли бы это наделение свойствами материи той метафизической философии Вольфа, который некогда наделил душу способностями (или, что то же, свойствами), т.е. своего рода метафизическими сущностями, и не пришлось бы нам вернуться к учению о специфических свойствах проводников, от чего наука, к счастью, уже давно освободилась».

Во-первых, нельзя смешивать метафизическое понятие Вольфа о неизменных предшествующих опыту способностях души, как ум, память и т.д., с понятием свойства, как определенные внутренние состояния определенных физических тел и процессов.

Во-вторых, специфичность различных нервных процессов признавал сам Бехтерев.

Так, в «Объект. изуч. личи.», ссылаясь на свою работу «Основы учения о функциях мозга», он пишет, что «нет никакого основания признавать тождество возбуждаемых с разных областей пери-

¹⁾ II, стр. 50—51.

²⁾ Плеханов, т. VII, стр. 296.

³⁾ I, стр. 22.

ферии объективных нервных процессов, как в самих периферических приводах разных воспринимающих органов, так и в соответствующих нервных центрах»¹⁾. Почему он и от этой мысли отрекся, также неизвестно.

Наконец, последний мотив Бехтерева, а именно, что «психическое, понимаемое как свойство материн, приводит и к психизму»²⁾.

Это верно в отношении формулы: «психика—свойство всякой материн», но неверно в отношении формулы Энгельса, что психика, как и жизнь, появляется на определенной ступени развития материн, и формулы Ленина, что психика есть свойство только определенным образом организованной материн.

Упрек Бехтерева в психизме в отношении этих формул означает только одно, а именно непонимание, что в процессе развития появляются новые виды материн с новыми свойствами, ибо упрек этот сводится к той мысли, что раз психика присуща высокоорганизованной материн, она должна быть, пусть и в потенциальном состоянии, свойственна всякой материн.

Очевидно, что в вопросе о психике в смысле «субъективное» Бехтерев не понимает появления нового качества при количественном нарастании усложнений материн.

Указание Бехтерева, что он в «Общ. осн. рефлекс. чело.» признает, «что в сложных сочетательных рефлексах имеется не количественная только сторона, но и качественная»³⁾, бьет мимо цели потому, что речь идет не о физической стороне рефлекторных механизмов, а об их субъективной стороне, об их качестве «субъективность», «психичность».

Таким образом мы считаем критику Бехтеревым положения о субъективном, как свойстве, т.е. внутреннем состоянии материн, несостоятельной и недиалектической.

Но если Бехтерев отвергал связь субъективного и объективного в форме «психика—свойство материн», то, спрашивается, какую другую форму связи он предлагал?

«Нет ни одного психического процесса, который не сопутствовался бы определенными материальными процессами»⁴⁾,—говорит он.

Перед нами, следовательно, два сопутствующих ряда процессов, как это формулируют параллелисты.

Поскольку Бехтерев отвергает связь в форме «психика—свойство материальных процессов», то эти два сопутствующих друг друга процесса являются раздельными друг от друга, т.е. параллельными.

Такова логика вещей, фактов: или свойство, или раздельный процесс.

Напрасно также Бехтерев пытался опровергнуть обвинение его в дуализме, психофизическом параллелизме, утверждением о том, что его упрекали в непоследовательности и дуализме за предположение о различии физического и психического»⁵⁾.

Утверждение Бехтерева бьет мимо цели, ибо и тогда и теперь речь идет не о признании различия и несоизмеримости психического и физического, а о том, как себе представлять взаимоотношение ме-

¹⁾ I, стр. 48.

²⁾ II, стр. 52.

³⁾ II, стр. 48.

⁴⁾ I, стр. 15.

⁵⁾ II, стр. 42.

жду этими различными, несоизмеримыми «явлениями». Если признать в них два различных несоизмеримых свойства единой и единственной материи, то это и будет материалистический монизм, единство в диалектико-материалистическом понимании. Если же отрицать связь в форме «свойство», то перед нами два раздельных процесса, т.-е. параллелизм, дуализм, сколько бы словечек о единстве при этом ни повторять.

Дуализм и параллелизм отвергались и отвергаются нами не за признание различия и несоизмеримости психического и физического, так как и для нас субъективное есть особое, отличное, неотождествленное с физическим свойство, а за признание параллельности, раздельности субъективного и физического.

Точно также и Бехтерева мы упрекали в дуализме, психофизическом параллелизме не за его монизм, не за попытку связать субъективное с физическим, а за раздельность психического и физического, за их неувязку, за их дуалистическую «увязку».

Чувствуя этот параллелизм, Бехтерев тут же замечает: «вместе с тем мы признаем неточным выражение, когда говорят о параллельном течении субъективного и объективного процессов во время умственной работы» ¹⁾.

«Мы должны твердо держаться той точки зрения, что дело идет в этом случае об одном и том же процессе, который выражается одновременно материальными или объективными изменениями мозга и субъективными проявлениями» ²⁾.

Таким образом мы подходим к психофизическому монизму Бехтерева. Но этот монизм расшифровывался Бехтеревым двояко.

Первая расшифровка.

«Несоизмеримость (между субъективными и объективным.— Ю. Ф.),—говорит Бехтерев,—я устраняю в энергетическом монизме, понимая энергию, так, как понимают ее все физики, т.-е. в смысле физической энергии, точнее—в смысле движения» ³⁾.

Об этой расшифровке мы в праве заявлять следующее: устранение Бехтеревым несоизмеримости психического и физического сведением их к единой энергии неприемлемо, а, следовательно, психофизический монизм Бехтерева есть монизм не диалектико-материалистический, а метафизически-идеалистический.

Но рядом с этой неприемлемой расшифровкой у Бехтерева есть и верная расшифровка.

Так, в первом выпуске «Об'ект. изуч. личи.», изд. 1923 г., Бехтерев заявляет, что под психическим он понимает «невро-психику» ⁴⁾. «так как субъективное в нас совершенно неотделимо от физическо-химических процессов в мозгу, а представляет вместе с ними как бы две стороны одного и того же процесса» ⁵⁾.

В «Психол., рефлекс. и маркс.» он утверждает, что «для рефлексологии нет ни объекта, ни субъекта в человеке, а имеется нечто единое, и объект и субъект вместе взятые в форме деятельности» ⁶⁾, а в статье «Диалект. матер. и рефлекс.» он признает «физиче-

¹⁾ I, стр. 15.

²⁾ II, стр. 42.

³⁾ I, стр. 16.

⁴⁾ I, стр. 23.

⁵⁾ II, стр. 23.

ское и психическое, как целостное явление в одном процессе нервного тока» ¹⁾).

Эта формула о единстве субъективного и объективного безусловно верна. Таким образом, резюмируя все сказанное о взгляде Бехтерева на психофизическую проблему, мы можем сказать, что, на ряду с неверными мыслями, мы находим здесь и верные мысли, при чем последние четче, точнее формулированы в его последних работах и безусловно сблизили его с марксизмом.

IV. Психология или рефлексология.

Вопрос о том, какая нам нужна наука—психология или рефлексология, сводится Бехтеревым по существу к вопросу о том, включать или нет субъективное в объект исследования, пользоваться ли или нет субъективным методом» ²⁾).

Какой же, точнее: какие же ответы дает Бехтерев.

Ответ первый.

«На место психологии, ограничивающейся только изучением явлений сознания, должно быть поставлено объективное изучение личности, ее внешних проявлений, ее деятельности» ³⁾), при чем «не должно быть места вопросам о субъективных процессах или процессах сознания самих по себе» ⁴⁾),—так говорит Бехтерев в выпуске I «Объект. изучен. личн.

Тут же мысль Бехтерев повторяет и в работе «Псих., рефлекс. и марк.». Он пишет: «Пока человек рассматривается, как субъект, пока центром внимания в человеческой личности является сознание, а не внешние реакции, мы не избежим субъективных толкований с метафизическим налетом». «Рассматривая же человека, как действующего объект или как живую машину», и «выявляя биофизико-социальную основу развития личности» ⁵⁾), рефлексология «отметает полностью прежнюю субъективную психологию» ⁶⁾).

Точно также он заявляет и в статье «Диалект. матер. и рефлекс.:

«До сих пор учение о человеческой личности главным предметом своего внимания считало психические явления, т.-е. так называемый субъективный мир человека, а не внешние его проявления, а между тем «только они одни, в сущности говоря, и составляют ту или другую ценность для общества и человеческого мира вообще» ⁷⁾).

Во всех этих цитатах проглядывает следующая нелогичность: если ошибка старой субъективной психологии состояла в том, что она изучала только сознание, что она считала изучение сознания главным, центральным предметом своего изучения, то казалось бы, что отсюда вытекает вывод, что надо изучать не только сознание, что сознание должно быть только второстепенным нецентральным предметом, между тем как Бехтерев заявляет, что интерес для науки составляют одни только внешние проявления.

¹⁾ III, стр. 75.

²⁾ II, стр. 3—4.

³⁾ I, стр. 13.

⁴⁾ I, стр. 9.

⁵⁾ II, стр. 16.

⁶⁾ II, стр. 17.

⁷⁾ III, стр. 70.

Но, как бы то ни было, через все работы проводится мысль: надо полностью, целиком отвергнуть субъективную психологию, не надо изучать субъективное, не надо пользоваться субъективным методом.

Взамен субъективной психологии нужна и исключительно объективная рефлексология, изучающая человека только как объект, как живую машину, в ее внешних проявлениях, строго, исключительно объективным методом.

Каковы же мотивы Бехтерева?

Первой основой такого ответа является то отрицание или отождествление субъективного, о котором мы уже говорили выше.

Если нет субъективного, то и изучать нечего.

Ясно, что это мотив неверный, неприемлемый, немарксистский.

Но как связать отказ от изучения субъективного с его признанием, поскольку и таковое присуще Бехтереву.

Тут мы подходим ко второму мотиву, который исходит, как это и странно, от единства.

«Так как мы должны признать, что субъективное в нас совершенно неотделимо от физическо-химических процессов, а представляет вместе с ними как бы две стороны одного и того же процесса, то очевидно, что соотношения, устанавливаемые между субъективными символами, адекватны соотношениям между соответствующими им физико-химическими процессами в мозгу, а потому в деле изучения внешних проявлений сторонней личности на место вышеуказанных субъективных знаков мы можем изучать соответствующие им рефлексы, как прямое следствие объективных изменений нервной ткани», при чем «мы не утрачиваем ничего из схемы самого процесса»¹⁾.

Как так?! Субъективное—это особое качество, имеющее большое действительное значение, облегчающее нам наши действия,—заявляет, как мы это видели выше, Бехтерев в полном согласии с марксизмом, и вдруг заявление, что от отказа его изучить мы ничего не теряем?!

Ведь, сущность борьбы за субъективное как особое не тождественное с физическим качество состоит в том, что, как особое качество, оно, по словам Плеханова, не описывается и не объясняется другими качествами. И если мы, по предложению Бехтерева, будем изучать только объективные свойства, то мы будем знать только их, а не субъективные свойства, то мы и не будем знать, какие субъективные переживания соответствуют констатируемым нами объективным явлениям. Другими словами, нам будет недоставать знания, ближайшей причины наших действий. А ведь Бехтерев в своей статье «Диалект. матер. и рефлекс.» соглашается с Лениным в том, что основное требование диалектического материализма состоит в том, чтобы изучать явления во всей их конкретности. Как же связать это требование с отказом от изучения ближайшей причины наших действий? Единство субъективного и объективного и должно быть изучено как единство во всей его реальной конкретности, т.-е. и в его субъективном и в его объективном свойстве, ибо оба свойства реальные—раз, представляют собой особые качества нетождественные, по-разному описывающиеся, выявляющиеся разными признаками—два и имеют каждое свое особое значение—три.

Ясно, что и этот второй мотив, мотив уже не от тождества, а от единства, неприемлем, не марксистский, не соответствует реальной действительности.

Наконец, третий мотив, мотив от метода познания.

¹⁾ 1, стр. 23—25.

«Для сознательности процессов нет никаких об'ективных признаков»¹⁾.

При этом Бехтерев идет так далеко, что утверждает: «Нельзя даже и говорить о мыслящей живой материи, если руководиться исключительно об'ективными данными»²⁾. Доходя таким образом до агностического неверия в возможность познания мыслящей материи вообще. Этот агностический налет естественно вытекает из желания познать суб'ективное по исключительно об'ективным признакам, что неверно, ибо каждое качество имеет, как особое качество, свои признаки, свои свойства, которые могут быть познаны только соответствующими методами.

Об'ективные явления могут и должны быть познаны и изучены помощью об'ективных методов, а внутренние суб'ективные переживания—суб'ективным методом.

Характерная особенность суб'ективного, как особого качества, состоит в том, что оно суб'ективно, что оно переживается только внутренне, следовательно, и познать его можно не об'ективным, а суб'ективным методом.

Суб'ективное, там, где оно есть, можно и нужно изучать суб'ективным методом.

Но здесь необходимо ограничение. Мы говорим суб'ективное, как будто оно однородно. На самом же деле оно делится на сознательное и бессознательное. Поэтому надо формулировать точнее: сознательное у человека там, где оно есть, надо изучать суб'ективными методами.

«В этом случае,—замечает Бехтерев,—дело идет, очевидно, об аналогичном, как о методе научного исследования. Но непригодность этого метода для психологии более чем очевидна», так как «аналогия здесь касается явлений двух различных сознаний, которые во многих отношениях несравнимы и познаются лишь путем внутреннего самонаблюдения, лишеного точных мер»³⁾.

Спрашивается только, на основе чего Бехтерев признавал выше реальность суб'ективного у людей вообще, ибо, стоя на его точке зрения в оценке метода, можно было заявлять только солипстически, а именно, сознание присуще только мне, моей личности, а не всякой личности, можно признать единство суб'ективного и об'ективного только в себе, в своей личности, а не вообще.

Таково противоречие у Бехтерева в связи с оценкой им методов самонаблюдения. Это во-первых.

Во-вторых, верно ли, что мы не можем аналогизировать от своих суб'ективных переживаний к суб'ективным переживаниям другого, что такое посредственное самонаблюдение представляет собой только предположение и ни на чем не основанную аналогию.

Верно ли, что при аналогизировании от себя к другому мы имеем дело с двумя не только различными, но и несоизмеримыми сознаниями, как это заявляет Бехтерев.

Мы считаем этот мотив индивидуалистическим, непримемлемым с социально-классовой точки зрения.

Конечно, каждый из нас есть особая личность, обладающая многими характерными, ей одной присущими чертами. Но составляют

¹⁾ I, стр. 19.

²⁾ I, стр. 12.

³⁾ I, стр. 10—12.

дети личные, присущие только данной особи, черты всю психику или по крайней мере ее основную, главную часть? Нет и нет.

Сознание каждого человека определяется его бытием, в котором Пехинов различает общие, особенные (конкретно-исторические) и личные условия.

Психика каждого человека в основном, в главном отражает социально-классовые моменты и лишь частично случайные условия жизни данного индивида.

Поэтому-то у людей одного и того же социально-классового положения имеется в общем и целом, в основном и главном одинаковая психика—классовое сознание.

А если так, то можно говорить, имея в виду людей одного и того же социального положения, о психике, различающейся в деталях, а не о нераспримой, как это утверждал Бехтерев, и, следовательно, аналогия вполне обоснована.

А что касается двух людей с разным социально-классовым бытием, то надо принять во внимание, что мы можем воспринимать не только по сходству, но и по закону противоречия, антитезы, противоположности, поэтому мы можем вполне обоснованно, учитывая разницу социально-классового бытия, аналогизировать и в этом случае.

Только используя аналогию и сопоставляя ее данные с объективными данными, мы сумеем субъективное познать и им овладеть, как это признает сам Бехтерев в другом месте ¹⁾.

Аналогия при изучении субъективного, следовательно, не только возможна и обоснована, но и крайне важна.

Далее, разве биологические науки не пользуются аналогией?

Разве, установив какое-либо явление на определенной группе индивидов одного вида, мы не переносим их на всех индивидов данного вида на основе того, что они именно индивиды одного и того же вида.

Да и этого мало. Бехтерев заявляет: «Там, где мы имеем нервную систему, мы имеем все основания заключать, что влияние внешних воздействий, на основании прошлого опыта, происходит при посредстве нервной системы, но там, где не существует нервной системы, мы не имеем, конечно, оснований обособлять явления, подходящие под вышеуказанный принцип, от таких же явлений, наблюдаемых нами у животных, обладающих нервной системой и называемых нами соотносительными» ²⁾.

Рефлексы совершаются, по Бехтереву, у некоторых видов животных и без нервной системы. Почему же он не предположил, что у тех видов животных, у которых есть нервная система, сочетательные рефлексы совершаются без нее? Почему он считал все же обоснованным утверждение (предположение?), что они совершаются с помощью нервной системы, хотя они возможны и без нее.

Да потому, что мы установили на некоторых бесспорных фактах, что они совершаются с помощью нервной системы, потому что эта посредница является облегчающим по терминологии Бехтерева аппаратом, потому что этот облегчающий аппарат играет большую биологическую роль именно своей облегчающей функцией. Следовательно, там, где мы имеем этот высший, облегчающий аппарат, рефлексы естественным образом совершаются с его помощью, а не без него, хотя они и возможны вообще и без него.

¹⁾ III, стр. 86.

²⁾ I, стр. 27.

А если так, то почему не применить тот же принцип и к человеческому сознанию?

Ведь у себя каждый из нас замечает целый ряд высших сочетательных рефлексов, облегчающих наши действия своим особым качеством—сознательностью, играющей для каждого из нас большую роль, а именно, по Бехтереву облегчая действия, по Энгельсу побуждая нас к действиям, а по Плеханову являясь ближайшей причиной наших действий.

Почему же является только пустым предположением, а не законным, обоснованным допущением, мысль о том, что таковая облегчающая, побуждающая сознательность присуща не только мне, но и всем индивидам биологического, точнее социального вида—«человек».

Остается последний мотив—неточность самонаблюдения на себе самом, а тем более посредственного самонаблюдения помощью аналогий на других.

Эта неточность бесспорна. Но если субъективное реально, если оно играет такую большую роль, если единственный метод познать особенность этого качества—это самонаблюдение непосредственное на себе и посредственное помощью аналогий на других, то почему отказаться от этого неточного метода? Ведь неточное знание все же лучше совершенного незнания.

Неточность определяет только одно, а именно, что этот метод не может быть единственным и главным, каковым он является в эмпирической субъективной психологии, а должен быть признан только второстепенным, подсобным, но очень важным, коим пренебрегать нельзя.

На основании всего сказанного мы считаем первый ответ Бехтерева: «не субъективная психология, а исключительно объективная рефлексология» неверным, неприемлемым потому, что Бехтерев вместе с грязной водой вылил и ребенка. Отвергая вполне правильно субъективную психологию, он допускает ту ошибку, что отказывается полностью от изучения имеющих такое большое значение внутренних субъективных переживаний помощью субъективного метода.

Чувствуя, очевидно, шаткость своего утверждения, Бехтерев дает еще ряд других ответов на вопрос: «психология или рефлексология?»

Ответ второй.

«Мы ничуть не возражаем против тенденции (авторов, имеющих в виду задачи субъективной психологии.—Ю. Ф.) осветить путем эксперимента факты сознания», но таковой «субъективный анализ сторонней личности не входит в задачи рефлексологии и представляется для нее излишним»¹⁾.

Другими словами Бехтерев приемлет уже субъективное и как объект и как метод изучения, но как объект и метод самостоятельной науки—субъективной психологии.

Перед нами полная противоположность первому ответу.

Первый ответ отвергает полностью субъективную психологию, а второй ответ допускает ее сосуществование рядом с рефлексологией.

Ответ третий.

«Наука о личности имеет своей основной задачей исследование объективной стороны личности. Лишь прилагая объективный метод исследования к самому себе, мы можем сопоставлять с

¹⁾ I, стр. 17—18.

объективными данными наши собственные переживания, которые в таком случае, пополняя объективные данные, могут послужить основой того знания, которое должно заменить современную нам субъективную психологию»¹⁾.

Здесь, в отличие от первого ответа, отвергание субъективной психологии, как науки, не связано с отверганием ее объекта и метода. С грязной водой ребенок уже не выбрасывается.

Субъективное, хотя только в себе самом, включается в рефлексологию, как дополнительный материал, пополняющий основной объективный материал, как дополнительный метод.

Ответ четвертый.

«Рефлексология не может вовсе мириться со старой субъективной психологией, а если и уделяет субъективным процессам, неотделимым от процессов мозга, место, то не в смысле старой психологии, пользующейся интроспекцией, а только как восполнение объективных данных в поведении словесными реакциями»²⁾, «словесным отчетом» об испытываемых человеком переживаниях»³⁾.

«Охотникам же до субъективизма будет предоставлено самонаблюдение осуществлять на себе само»⁴⁾.

Этот четвертый ответ отличается от второго ответа тем, что субъективное не является уже исключительным объектом субъективной психологии, а распределяется в различных частях между субъективной психологией, допускаемой для изучения обманчивого самонаблюдения над самим собой, и рефлексологией, включающей изучение субъективных процессов в других, в форме словесных реакций, словесных отчетов, а от третьего ответа он отличается тем, что включает в рефлексологию не субъективное в себе самом, а в других.

Ответ пятый.

Третий и четвертый ответы представляют собой частные, подготовительные ступени к последнему, пятому, ответу, гласящему:

«Рефлексология утверждает, что переживания или субъективные процессы могут быть изучаемы не иначе, как на себе самом путем самонаблюдения и при том под непосредственным контролем объективных данных поведения. Стороннее лицо может быть, конечно, самонаблюдающим лицом и может дать отчет о своих субъективных переживаниях словами, жестами, мимикой и действиями, давая тем возможность иметь об этих переживаниях наше суждение»⁵⁾.

Таким образом рефлексология включает в себя и «суждение» о переживаниях других помощью словесного отчета, как в четвертом ответе, и самонаблюдение над самим собою, под контролем объективных данных, как в третьем. Следовательно, субъективная психология становится совершенно излишней, но не потому, что отвергается ее объект и метод, как это было в первом ответе, а потому, что они (объект и метод) полностью включаются, как дополнительные и второстепенные, в рефлексологию, при чем это полное включение отличает пятый ответ от третьего и четвертого, из коих каждый включает только часть субъективного объекта и метода.

¹⁾ I, стр. 34.

²⁾ II, стр. 69—70.

³⁾ III, стр. 86.

⁴⁾ II, стр. 70.

⁵⁾ II, стр. 22.

Итак, по вопросу о включении в науку субъективного, как объект и метод, о взаимоотношении «психологии и рефлексологии» мы находим у Бехтерева целую гамму ответов, начиная с неверных и кончая верными. Ясно, что последние ответы фактически сближают Бехтерева с марксизмом.

VII. Биология и социология ¹⁾.

В «Рефлекс и маркс.», критикуя определение Бехтеревым человеческого личности как биосоциального существа и рефлексологии как науки биологической, мы подчеркнули, что нервная система—это только механизм, технический аппарат нашего поведения, что человеческий организм, как источник раздражений, есть результат исторически, под влиянием среды, накопленных изменений, что географическая среда влияет на человека не непосредственно, а преломившись через социальную среду, что био-физическое изучение человеческого поведения—это только азбука рефлексологии, что значение социальной стороны поведения превосходит значение био-физической стороны и что, следовательно, рефлексология есть наука социальная.

Каковы теперь, в марксистский период, взгляды Бехтерева на 1) соотношение между биологическим и социальным фактором поведения, 2) соотношение между географической и социальной средой и 3) место рефлексологии в системе наук?

Начнем с первого вопроса.

И в «Психол., рефлекс. и маркс.» и в «Диалект. матер. и рефлекс.» Бехтерев проводит мысль о том, что «личность, как таковая, имеет, несомненно, на ряду с социальными приобретениями и биологический стержень, определяющий в значительной мере и направление ее общественных отношений, вырабатываемых в результате воздействий на нее социально-экономических условий». «А потому,—заявляет Бехтерев,—я и признаю правильным даваемое мною определение личности, как био-социальной особи» ²⁾.

Попрежнему человек является био-социальным существом, в котором биологическая сторона не только стоит рядом, как одна из, с социальной, но и определяет направление последней.

Однако, на ряду с этой старой формулой, мы находим у Бехтерева и новую, верную формулу.

Так в «Псих., рефлекс. и маркс.» он говорит о раздражителях «физико-биологического и в особенности социального характера, о «наследственно органических факторах биологического или, вернее, социологического порядка» ³⁾.

Еще ярче выражается Бехтерев в ст. «Диалект. матер. и рефлекс.»

«Человеческая личность по преимуществу есть результат общности (ибо без общества человек не был бы человеком)» ⁴⁾.

«Под влиянием социальной среды и ее воздействий с течением времени в значительной мере умеряются, затормаживаются и даже видоизменяются и биологические потребности организма» ⁵⁾.

¹⁾ Проводимый т. Франкфуртом в данной главе взгляд о принадлежности рефлексологии к чисто-социальным наукам редакция считает дискуссионным. *Ред.*

²⁾ II, стр. 54 и III, стр. 89.

³⁾ II, стр. 18.

⁴⁾ III, стр. 92—93.

⁵⁾ III, стр. 85, см. также стр. 86, 93.

Тут же, во-первых, подчеркивается особая роль социального в сравнении с биологическими и, во-вторых, биологическая наследственность берется уже социально окрашенной.

При этом Бехтерев вполне правильно учитывает исторический момент при установлении соотносительной роли биологического и социального фактора.

«С развитием человеческой культуры социальный фактор приобретает все большее и большее значение и в окончательном итоге личность является более социальным, чем биологическим существом».

«В своем онтогенетическом развитии человек повторяет этот принцип».

«Постепенно факторы окружающей социальной среды превращают ребенка из биологического в био-социальное существо и, наконец, в социальное существо по преимуществу»¹⁾.

Перед нами бесспорный сдвиг в сторону признания приоритета социального над биологическим, сдвиг половинчатый, поскольку он не сопровождается отказом от старого, но сдвиг несомненный.

Перейдем ко второму вопросу.

«Так как,—пишет он в своей последней статье «Диалект. матер. и рефлекс»,—люди живут в обществе или в созданной ими искусственной среде, вследствие чего и естественная среда воздействует на человека, преломившись так или иначе через призму социальности, то очевидно, что чем общественная среда богаче средствами подчинения она природы человеку, и чем развитее ее материальные производительные силы, тем слабее влияние естественной среды на человека»²⁾.

Тут Бехтерев принимает уже установленную марксизмом истинность в вопросе о соотношении среды географической и социальной, а также влияние среды географической через среду социальную, что означает колоссальный сдвиг к марксистской точке зрения.

Наконец, третий вопрос—место психологии в системе наук.

«Я не уверен, что вопрос о том, является ли рефлексология биологической или социальной наукой имеет существенную важность, как вопрос чисто теоретический»³⁾,—пишет Бехтерев.

Но, ведь, теоретический вопрос имеет значение для научной теории. Это раз.

Во-вторых. Может быть под «теоретический» надо понимать «формальный». В классификации наук имеется подчас и чисто формальные моменты, но за ними нельзя проглядеть и содержания, особенно когда речь идет о таких науках, как биологические, с одной стороны, и социальные, с другой, имеющих дело с двумя качественно-различными объектами и двумя качественно-различными закономерностями.

Поэтому пренебрежение к вопросу о том, к каким наукам относится наука о поведении человека, может привести к сглаживанию качественных различий между биологией и социологией в отношении человека, между биологическим и социальным подходом к поведению.

Далее Бехтерев соглашается с нами, «что рефлексология, изучающая законы социально-классовой сочетательно-рефлекторной деятельности и социально-классовых установок, представляет собою науку

¹⁾ III, стр. 92—93.

²⁾ III, стр. 91—92, см. стр. 86.

³⁾ II, стр. 53.

социальную и только использует данные биологических и технических наук, но не сливается с ними», но он находит, что «это относится больше к «Коллективной рефлексологии», личность же, как таковая, имеет, наряду с социальными приобретениями, и биологический стержень», а потому правильное даваемое им, Бехтеревым, «определение личности как био-социальной особи»¹⁾.

И это положение Бехтерева не верно.

Во-первых, коллективная рефлексология при изучении поведения коллективов (классов, профессий) сталкивается, и должна их учесть, также и с моментами биологическими, например, с влиянием вырождения на двух крайних полюсах социальной лестницы империалистического капиталистического общества (у обнищавших масс в силу тяжелых условий бытия, чрезмерной эксплуатации, а у буржуазии в силу непроизводительного образа жизни), а также с влиянием физкультуры и вопросами физического оздоровления в нашей стране строящегося социализма.

Следовательно, разница между коллективной и общей рефлексологией сводится не к отсутствию (в первой) и наличию (во второй) биологического элемента, а к наличию его в меньшей или большей степени.

Во-вторых, если Бехтерев соглашается, что мысль о рефлексологии, как социальной науке, верна больше в отношении коллективной рефлексологии, то она верна, пусть в меньшей степени, и в отношении к рефлексологии общей. Поэтому относить последнюю к биологическим наукам без натяжки невозможно.

И мы находим у Бехтерева новое положение.

«Рефлексология одной ногой уходит в биологию, а другой в социологию, а потому должна в сущности быть самостоятельной научной дисциплиной, устанавливающей изучение личности на основе биологических и социальных знаний и не сливающейся полностью ни с биологией, ни с социологией»²⁾.

Во-первых, самостоятельной в смысле отдельной, особой науки рефлексология может быть не только в качестве биологической, но и в качестве социальной науки.

Во-вторых, как понять промежуточность рефлексологии? Ведь особой рефлексологической закономерности, промежуточной между закономерностью биологической и социальной, нет и быть не может, как это, впрочем, понимает и сам Бехтерев, утверждая, что часть объекта рефлексологии подлежит биологической закономерности и изучается биологическими методами, а другая часть подлежит социальной закономерности и относится к области наук социальных.

В-третьих, поскольку речь идет о наличии в объекте рефлексологии двух качественно-различных элементов, биологических и социальных, то нужно поставить вопрос об их удельном весе, соотносительной роли и значимости.

Поскольку биология является только предпосылкой, доставляющей нам аппарат для поведения, поскольку биологическое является социально-изменчивым, поскольку социальное является преобладающим, господствующим в поведении, поскольку ребенок биологический только вначале, а затем превращается в существо социальное, постольку ясно, что рефлексология в основной своей части является наукой социальной, для которой изучение биологической стороны на-

¹⁾ II, стр. 53—54.

²⁾ II, стр. 54.

шего поведения является только вводной главой, азбукой, т.е. начальной примитивной частью.

Ведь, сам Бехтерев проводит грань между его био-социальным направлением и физиологическим направлением И. П. Павлова, когда он заявляет, что «не следует смешивать рефлексологию с физиологией»¹⁾, что «рефлексолог мог бы изучать хотя бы и не в достаточной полноте соотношения между внешними и внутренними раздражителями прошлыми и настоящими, с одной стороны, и внешними проявлениями личности, с другой, даже в том случае, когда оставалась бы неизвестной та область мозга, которая заведует этими внешними проявлениями»²⁾.

Конечно, изучение поведения без изучения механизма, аппарата, т.е. мозга, будет неполное, недостаточное, но важно для нас сейчас то подчеркиваемое самим Бехтеревым обстоятельство, что можно изучать поведение без физиологии мозга, что между объектом физиологического и био-социального направления в рефлексологии есть качественная разница, что основным, характерным, важнейшим, центральным является самое социальное поведение, что аппарат есть второстепенная вещь.

А если так, то очевидно, что основное русло исследования, основной объект и основной подход к нему идут по линии социальной, и что общая рефлексология также является наукой социальной.

И, действительно, Бехтерев идет еще дальше, делает последний шаг.

В связи с дискуссией, ведшейся на страницах журнала «Обзор психиатрии, неврологии и рефлексологии» между д-ром Розенблюмом и проф. Осиповым, по поводу «контрреволюционного комплекса у душевно-больных», Бехтерев в своей статье «Об отношении рефлексологии к социологии» заявляет:

«Рефлексологический метод неправильно обозначается некоторыми биологическим, как неправильно рефлексологию обвиняли в извращенном биологизме вообще. Если понятие рефлекса и yine рефлексологией распространяется на все высшие отправления центральной нервной системы под названием высших или сочетательных рефлексов, и если под понятие раздражителей могут и должны быть подведены вообще воздействия окружающего мира, в том числе и воздействия социальной среды, то при чем тут, спрашивается, биологизм»³⁾.

В другом месте Бехтерев заявляет: «Если я сближал рефлексологию с биологией, то именно потому, чтобы оттенить объективность или «биологичность» ее методов»⁴⁾.

Но, ведь, он сам заявлял: «научно-материалистическое понимание соотносительной деятельности человека ставит науку о человеческой личности—рефлексологию—в ряды естественно-научных дисциплин»⁵⁾.

Ясно, что в этом утверждении речь идет не о биологичности рефлексологии в силу объективности ее методов, а о принадлежности к определенной системе наук.

¹⁾ II стр. 5.

²⁾ II, стр. 10.

³⁾ «Обзор. псих., нерв. и рефл.», № 3, стр. 214.

⁴⁾ II, стр. 53.

⁵⁾ III, стр. 86.

А если так, то, следовательно, и ее объект, и его закономерность, и методы его изучения являются биологическими. Когда Бехтерев впоследствии заявил, что под биологичностью рефлексологии он понимал объективность ее методов, то это есть только расшифровка—раз; расшифровка, данная впоследствии—два, и расшифровка, не соответствующая существу некоторых его взглядов—три.

Поэтому обвинение в биологичности, направленное против Бехтерева на основе определенных его взглядов, сформулированных им в прошлом, было вполне обосновано. Попытка же со стороны Бехтерева опровергнуть своих оппонентов необудительна, поскольку критика последних относилась к прошлому Бехтерева.

Но несомненно одно, что статья Бехтерева в «Обозр. псих., невр. и рефлекс.» означает фактическое признание, что рефлексология в целом, в ее основных частях есть наука социальная, т.е. переход на правильную точку зрения.

Но тут-то становится интересным вопрос о соотношении между рефлексологией, как одной из социальных наук, и другими социальными науками.

В статье «Диалект. мат. и рефлекс.» он определяет границы в сей рефлексологии, как коллективной, так и индивидуальной, следующим образом:

«Рефлексология изучает способы, которыми отдельная человеческая личность, группа, класс, общество, как наследие своего прошлого, реагирует на окружающую среду, т.е. изучает реактивную деятельность человеческой личности и тех или других социальных групп, осуществляющуюся посредством определенного механизма»¹⁾.

Задача рефлексологии—изучение способа реагирования и его механизма, мы бы сказали—механики реакции, как совершаются, как протекают реакции.

Таким образом, место рефлексологии в системе наук определяется Бехтеревым вполне правильно, как изучение психической надстройки.

Но, к сожалению, рядом с этой верной формулой мы находим у Бехтерева и неверную, преувеличивающую роль и значение рефлексологии.

«Рефлексология, будучи объективной наукой о личности, как био-социальной особи, претендует на то, чтобы выработанный ею строго объективный рефлексологический метод был распространен на все вообще гуманитарные науки, как науки, трактующие о человеке и о проявлениях его деятельности и творчества»²⁾.

Область применения метода, соответствующего только психической надстройке, расширяется на всю социальную область, а все социальные науки превращаются в частные рефлексологические науки.

А что это так, видно из примера, приведенного самим Бехтеревым, об английской забастовке: «разве объявление забастовки не коллективный оборонительный рефлекс со стороны английских углекопов на ультиматум правительства от 30 апреля, явившийся раздражителем для рабочих со стороны правящего класса, ставшего на сторону капиталистов-шахтовладельцев?»—пишет он.

¹⁾ III, стр. 87.

²⁾ «Обозр. псих., невр. и рефл.» № 3, стр. 214.

И далее: «Когда таким образом закипела борьба между двух враждебных лагерей, то происходит тотчас же генерализация или иррадиация забастовки, сделавшейся всеобщей, после чего последовало немедленно же распространение возбуждения и в другом лагере, в силу этого на стороне шахтовладельцев объединились силы правительства, правые вожди Ген. Совета и вся правая пресса, тогда как на стороне углекопов становятся все левые вожди Генерального Совета, левая пресса, и к ним же примыкает весь рабочий класс».

«При этом самый рефлекс—забастовка вместе с количественным усилением борющихся сил, путем скачка (согласно учению диалектического материализма), приобретает новое качество, превратившись из экономической забастовки в политическую».

«С этих пор происходит дифференцировка разлитого возбуждения той и другой из борющихся сторон. Так, со стороны правящих сфер вырабатываются меры воздействия в форме особого наступательного рефлекса, способного затормозить рабочее движение, с другой стороны дифференцируются и средства отпора или противодействия в качестве оборонительных и наступательных рефлексов, проявляемых рабочим классом»¹⁾.

Не ясно ли, что, по мнению Бехтерева, рефлексология изучает все, касающееся английской забастовки,—спрашивается только, что остается для других социальных наук?

Конечно, наука о поведении человека, в частности, и в особенности о поведении коллектива должна и может изучать поведение, действия затронутых и охваченных английской забастовкой групп.

Но как? Предоставив другим социальным наукам установление причин забастовки, обстоятельств ее протекания, всех перипетий борьбы, всех мер и действий, проведенных борющимися сторонами, и, уже исходя из этих фактов, рефлексология должна изучить внутреннюю (внутри людей) механику действия, поступков и переживаний.

В этом смысле она охватывает всю забастовку, но поскольку Бехтерев, подробно описывая этот случай, нигде не заикнулся об этой грани между рефлексологией и другими социальными науками, не указал на то, что последние изучают, что и почему совершалось в забастовке, меж тем как первая изучает только как они преломляются в переживаниях и реакциях людей, постольку он вполне заслужил упрек в расширительном толковании рефлексологии, стремлении заменить рефлексологией социологию.

И действительно, разве можно по существу говорить об одних и тех же процессах генерализации, дифференцировки и т. д. в отношении рефлекторно-физиологического механизма и общественных явлений?

Итак, по вопросу о месте рефлексологии в системе наук, о ее отношении к биологии, с одной стороны, и социологии, с другой, мы находим у Бехтерева, на ряду со старыми неверными положениями, новые верные положения, при чем последние характеризуют положительно его сдвиг к марксизму.

VII. Рефлексология и диалектический материализм.

Прежде всего несколько слов о понимании Бехтеревым диалектического метода в рефлексологии.

¹⁾ «Обозр. псих., нерв. и рефл. № 3, стр. 215.

Перечисляя в статье «Диалект. матер. и рефлекс.» указанным им ранее в «Общ. основ. рефлекс. челов.» те пять путей, помощью которых рефлексология достигает своих целей, он добавляет, что на ряду с приведенными методами, рефлексология включает и метод диалектического материализма¹⁾.

Тут Бехтерев допускает ту же ошибку, которую, как это указал т. Луппол, допустил и К. Н. Корнилов.

Применить диалектический материализм как метод в рефлексологии не значит ввести его как особый отдельный метод, на ряду с указанными методами, а пронизать последние диалектикой, сделать их диалектически-материалистическими.

Теперь займемся вопросом о взаимоотношении между рефлексологией и диалектическим материализмом. Должна ли первая оплодотворять второй или наоборот.

С одной стороны, Бехтерев пытается доказать ссылками на «Общ. основ. рефлекс. челов.», «Коллект. рефлекс.» и другие работы его домарксистского периода, что «возникшая у нас независимо от марксизма рефлексология»²⁾ «рассматривает самое возникновение жизни, как и внешние проявления животных, и в том числе человека в частности, под углом зрения диалектического материализма»³⁾, т.-е. что рефлексология всегда была материалистической и диалектической.

С другой же стороны, мы читаем в той же ст. «Диалект. матер. и рефлекс.», что в настоящее время идет процесс увязки рефлексологии с философией марксизма, диалектического материализма и что, таким образом, «рефлексология в свете диалектического материализма является диалектическим синтезом исторического развития науки о человеческой личности, тезисом которого была метафизическая и ее наследница эмпирическая психология, а антитезисом—рефлексология в первоначальном ее развитии»⁴⁾.

С одной стороны, рефлексология всегда была диалектико-материалистической, а с другой, она стала таковой только в грядущем синтетическом фазисе развития науки, когда она соединилась с диалектическим материализмом.

Ясно, что первое утверждение не вяжется со вторым, что здесь утеряна объективная историческая перспектива. Это во-первых.

Во-вторых, независимая от марксизма рефлексология, как это следует из всего сказанного выше, имеет только отдельные, разрозненные элементы диалектики и материализма, подчас стихийного порядка, а нам нужна, во-первых, систематическая и, во-вторых, сознательная диалектика.

Таковой сознательной диалектико-материалистической теорией рефлексология, в «независимый», первый период своего развития, не была.

В-третьих, и в так называемый (Бехтеревым) зависимый, синтетический период, когда рефлексология уже «соединилась» с марксизмом, с сознательной и систематической диалектикой, материалистической точкой зрения—она, рефлексология, не изжила полностью все неверное и непринимлемое из первого периода.

¹⁾ III, стр. 86.

²⁾ III, стр. 70.

³⁾ III, стр. 76.

⁴⁾ III, стр. 85.

Следовательно, рефлексология в лице Бехтерева еще не дала выдержанно марксистской, диалектико-материалистической формулировки взглядов на поведение человека, отдельной личности и коллектива, она только стремилась к такой формуле, будучи тормозимой, остатками прошлого, этой непревзойденной данью неизжитого до-марксистского периода.

Если попытка субъективиста-эмпирика Челпанова соединить свою эмпирическую психологию с марксизмом представляет собой, как мы указали это в начале нашей статьи,—извращение марксизма, умерщвление его живого духа в мертвых объятиях идеализма, то попытка Бехтерева означала безусловно действительную попытку усвоить марксизм и, будем надеяться, даст ценные ростки.

Лучший памятник на могилу В. М. Бехтерева поставят его ученики и последователи, если они освободятся полностью от тяготевшего над Бехтеревым мертвого баласта, для того, чтобы, вооружившись выдержанно марксистским мирозерцанием, правильно понимаемым диалектико-материалистическим методом, вести плодотворную работу на одном из участков нашего третьего, идеологического фронта, и этим помочь нашему пролетарскому государству в строительстве социализма.





К вопросу о закономерности исторического развития капитализма¹⁾.

(Критика теории больших циклов проф. Кондратьева).

В. Богданов.

Проблема длительных колебаний капиталистического хозяйства становится в настоящее время одной из наиболее интересных проблем теоретической экономики. Как наша, так и иностранная экономическая литература все большее внимание уделяет изучению и анализу длительных динамических волн, продолжительностью в 20—30 лет, охватывающих несколько обычных «средних» циклов и характеризующихся более или менее согласованным движением всех основных хозяйственных показателей. В результате произведенных исследований теперь можно, пожалуй, уже считать эмпирически доказанным, что капитализм в различные периоды развивался различным темпом, и что его эволюция представляет собой чередование то более интенсивного, то резко замедленного роста. Особенно характерна в этом отношении история послевоенного капитализма. Лихорадочная смена периодов краткого подъема periodically длительной депрессии все более наглядно выявляет общую депрессивную тенденцию современного мирового хозяйства. За чисто конъюнктурными колебаниями все более отчетливо выступает общая угасающая кривая капиталистической динамики.

Вполне естественно, что в таких условиях с особой остротой встает вопрос о причинах и характере подобных длительных колебаний и, прежде всего, вопрос о том, является ли послевоенная депрессивная волна выражением общего загнивания капиталистической системы, как это формулировал III конгресс Коминтерна, или она лишь воспроизводит необходимый и вполне нормальный внутренний ритм капиталистического хозяйства. Трудно было бы предположить, что такая постановка вопроса, самым очевидным образом связанная с определенными классовыми интересами, не вызовет тотчас же возникновения теорий, объясняющих длительные волны динамики самой природой капитализма и элиминирующая из разбираемой проблемы все что-либо напоминающее об исторических пределах капиталистического способа производства. И, действительно, за какие-нибудь несколько последних лет, ряд буржуазных экономистов²⁾ почти одновременно в той или другой форме выдвинул теорию так называемых больших циклов конъюнктуры, согласно которой необходимая внутренне-

¹⁾ Печатается в качестве материала к проблеме «больших циклов». Ред.

²⁾ От них не остаются и социал-демократы. См. статью де-Вольфа в сборнике «Der lebendige Marxismus», посвященном семидесятилетию со дня рождения Каутского.

обусловленная смена фаз подъема и депрессии, т.е. циклический характер развития, оказывается одинаково приложимым и к средним циклам и к более длительным: 50—60-летним периодам. У нас в СССР представителем того же направления выступил проф. Кондратьев. Еще в своей книге о «Мировом хозяйстве и его конъюнктурах» он высказал ту мысль, что различие в темпах хозяйственного развития на протяжении нескольких десятков лет является чисто конъюнктурным и по своей природе вполне аналогично колебаниям в границах среднего цикла. Это же положение он весьма настойчиво и энергично защищал далее в своей статье о больших циклах «В вопросах конъюнктуры» и в развернувшейся затем полемике на страницах «Планового хозяйства». Наконец, совсем недавно вышел из печати специальный сборник, посвященный большим циклам, где помещен доклад проф. Кондратьева в РАНИОН'е вместе с имевшей место там дискуссией. Этот последний вариант построения проф. Кондратьева отличается тем, что в нем значительное место занимает теоретическое обоснование больших циклов, чего не было в его предыдущих работах.

Таким образом, заслуги проф. Кондратьева в разработке вопроса о природе длительных волн динамики капитализма совершенно несомненны. Однако мы должны здесь же отметить, что та плоскость, в которой ставится и решается Н. Д. Кондратьевым интересующая нас проблема, мало пригодна для действительно плодотворной работы. Прежде всего, в концепции проф. Кондратьева совершенно непропорциональное место уделено чисто статистическому доказательству выведенной им теории. Благодаря этому, крайне трудно за всевозможными подвижными средними, теоретическими кривыми и параболой разных порядков разглядеть весьма гиперболический характер некоторых больших циклов, вследствие чего, повидному, ряд марксистов в своей критике теории Кондратьева так и застрял, к сожалению, на этих самых параболах и не пошел дальше их. Вместе с тем действительно интересные и наиболее важные для изучения больших волн динамики вопросы остались совершенно вне поля зрения Н. Д. Кондратьева. Употребляя выражение Маркса, можно сказать, что у проф. Кондратьева за грандиозностью масштабов скрывается ничтожество мысли.

Прежде, чем перейти к критике теории больших циклов по существу, мы должны сделать, однако, еще два замечания. Мы не собираемся заниматься анализом конкретно-статистического материала, которым оперирует проф. Кондратьев. Основанием для этого служит тот факт, что данный материал вообще совершенно недостаточен для доказательства существования больших циклов. Действительно, у проф. Кондратьева мы находим цифровые данные, в лучшем случае, за 120—130 лет, т.е. за период 2—2½ больших циклов, по большинству же показателей эти данные охватывают всего лишь 1½—2 цикла.

Исходя из такого материала, невозможно эмпирически установить циклическость развития капиталистического хозяйства, ибо в указанных пределах решающее значение для изменения темпов динамики могут иметь место не конъюнктурные, а совершенно другие факторы. Правда, у проф. Кондратьева имеется оговорка, что более обширными статистическими сведениями он не располагает или что эти сведения выходят за пределы капитализма и поэтому методологически неправильно привлекать их к разработке. Все это, конечно, совершенно верно, но из нужды не следует делать добродетели и, основываясь на недостаточном материале, доказывать хотя бы то, что периодичность больших циклов, в смысле ее математической точности, не уступает

периодичности средних циклов. Мы, конечно, несколько не возражаем против применения в экономических исследованиях тех или иных методов математической статистики, они, несомненно, могут принести значительную пользу в области изучения хозяйственных явлений. Все дело, однако, в том, что эти методы нужно применять там, где следует, и не увлекаться во вред экономической теории их кажущейся убедительностью и точностью¹⁾.

Второе предварительное замечание заключается в следующем: объект изучения теории больших циклов и по самой своей природе обязывает нас вести полемику не только в академическом, но и в политическом разрезе. В виду особой щепетильности и обидчивости проф. Кондратьева на этот счет, мы считаем нужным заранее оговориться, что мы не имеем намерения доказывать, будто проф. Кондратьев сознательно руководствуется в своей работе стремлением теоретически обосновать классовые интересы и нужды буржуазии. Мы охотно допускаем, что в пределах своего кругозора проф. Кондратьев вполне объективен и беспристрастен. Но, что этот кругозор самым очевидным образом ограничен общей буржуазной идеологией,—это мы говорим со всей убежденностью и категоричностью.

* * *

Наиболее интересным для марксизма в теории больших циклов является вопрос о соотношении так называемого векового движения с конъюнктурными колебаниями. Точка зрения проф. Кондратьева на этот счет, как сказано, заключается в том, что, помимо средних циклов, именно к конъюнктуре должны быть отнесены и большие колебательные волны, эмпирически обнаруживающиеся в истории капитализма. Но вместе с тем проф. Кондратьев весьма настойчиво, по крайней мере на словах, утверждает, что этими большими циклами не исчерпывается проблема векового движения или, переводя данный статистический термин на экономический язык, проблема исторической закономерности капиталистического хозяйства. Так, в сборнике «Большие циклы конъюнктуры» он пишет:

«В условиях капиталистической системы хозяйства, динамика этого хозяйства вовсе не исчерпывается ни теми колебательными процессами, о которых я буду говорить, ни теми колебательными процессами, о которых существует уже обширная литература, т.е. торгово-промышленными циклами, сезонными колебаниями и т. д.»

И для того, чтобы отбить у кого-либо охоту сомневаться в правдивости проведенного разделения конъюнктурных и общеэволюционных закономерностей, он добавляет: «Я думаю, что эта оговорка в достаточной мере избавит меня от недоразумений в дальнейшем»²⁾.

¹⁾ Один из несомненных и бросающихся в глаза дефектов статистической части работы проф. Кондратьева мы считаем все же необходимым отметить. Мы имеем в виду ту легкость, с которой проф. Кондратьев, на основании сравнения хозяйственных показателей в одной стране, делает выводы о тенденциях развития всего мирового хозяйства. Он забывает, что ускорение или замедление темпа экономического развития одной страны может явиться результатом простого перемещения хозяйственных центров. Верно, что отдельные части мирового хозяйства находятся в теснейшей связи друг с другом. Однако эта связь, существующая, главным образом, в средних циклах, обуславливает только совпадение ритма конъюнктуры, но ни в коем случае не означает, что подъемы и депрессии в различных странах должны отличаться одинаковой интенсивностью. В противном случае мы приходим к очевидно-нелепому выводу, что мировое хозяйство во всех своих частях развивается абсолютно одинаковым темпом.

²⁾ Большие циклы конъюнктуры, стр 6—8.

Под подобными недоразумениями проф. Кондратьев подразумевает, очевидно, указания Н. Н. Суханова на смешение им, Кондратьевым, конъюнктурных и эволюционных процессов, на что Кондратьев уже раньше, на страницах «Планового хозяйства», сердито ответил, что изучение общей динамики капитализма вообще не входит в его задачу. Таким образом, на первый взгляд, может показаться, что в концепции больших циклов все обстоит благополучно и что теория проф. Кондратьева как будто нисколько не затрагивает остроумнободневного и политически актуального вопроса об исторической ограниченности капиталистического способа производства, не заключая в себе, следовательно, ни одного атома апологетики. Для еще большей убедительности Кондратьев делает следующее замечание:

«У нас нет данных утверждать, что циклические колебания того же характера свойственны некапиталистической системе хозяйства. Если последнее положение верно, то можно утверждать, что гибель капитализма повлечет за собой исчезновение и больших циклов»¹⁾, а в другом месте:

«Принимая большие циклы, разумеется, нельзя думать, что экономическая динамика представляет собой процесс простых колебаний около какого-то одного уровня. Она представляет собой, несомненно, процесс развития, но это развитие, очевидно, идет не только через средние циклы, а вместе с тем и через большие циклы. Проблема общего развития нами здесь не рассматривается»²⁾.

Итак, проф. Кондратьев не собирается вовсе доказывать вечность и неизбежность капитализма. Напротив, он предвещает ему гибель и ради его гибели готов пожертвовать даже большими циклами. Постараемся, однако, проверить, насколько согласуются подобные декларативные заявления с реальным содержанием теоретических построений проф. Кондратьева.

В первую очередь нас интересует вопрос о том, какими причинами могут быть объяснены сдвиги в общей динамике капитализма, изучать которые проф. Кондратьев не собирается, но которые он тем не менее констатирует, поскольку в качестве векового уровня для ряда показателей у него фигурирует парабола второго и третьего порядка, т.е. кривая, имеющая определенный изгиб. Предполагая даже, что колебания 20—30-летней продолжительности должны быть отнесены к большому циклам, остается непонятным, какие факторы вызывают указанные сдвиги кривой векового движения. И хотя проф. Кондратьев не хочет ими заниматься, мы должны констатировать, что он не сможет их объяснить даже при самом большом желании. Причиной этого является, по нашему мнению, то, что Н. Д. Кондратьев—и здесь мы формулируем основное принципиальное возражение против теории больших циклов—в качестве конъюнктурных моментов рассматривает как процессы внутренней трансформации самой капиталистической системы, так и отношения этого капитализма к внешней некапиталистической среде.

В самом деле, если все явления, имеющие место в области надстроек (войны и революции), не выражают собою, как утверждает Н. Д. Кондратьев, ничего кроме необходимых ритмов циклического движения, если тем же свойством отличаются также и все процессы вооруженного характера, т.е. протекающие в сфере отношений между капитализмом и иными хозяйственными укладами, то, совершенно

¹⁾ Вопросы конъюнктуры, т. I, вып. I, стр. 65.

²⁾ Там же.

очевидно, все историческое развитие капитализма целиком и полностью должно раствориться в динамике больших циклов. Для доказательства того, что проф. Кондратьев действительно загоняет в конъюнктуру все факторы, определяющие реальное развитие капиталистического хозяйства, обратимся непосредственно к его текстуальным утверждениям. В виду того, что у проф. Кондратьева отсутствует на этот счет обобщающая формулировка, мы вынуждены предлагать читателю вооружиться терпением и проследить за отдельными определениями, относящимися к отдельным фактам социального развития, которые Кондратьев последовательно один за другим сводит к закономерности больших циклов.

«Указывается,—пишет он,—что в то время, как средние циклы вызываются внутренними причинами динамики капиталистического хозяйства, большие волны динамики вызываются случайными привходящими условиями и событиями, например: 1) изменениями техники, 2) войнами и революциями, 3) вовлечением новых территорий в орбиту мирового хозяйства, 4) колебаниями в добыче золота.

Это соображение весьма существенно, но тем не менее и оно не состоятельно. Слабость его состоит в том, что оно или поворачивает причинную связь и принимает следствие за причину, или видит случайность там, где имеет место закономерность»¹⁾.

Дальше проф. Кондратьев разбирает по очереди все указанные моменты и опровергает их самостоятельное определяющее влияние на длительные колебания капиталистической динамики.

«Изменения в области техники бесспорно оказывают могущественное влияние на ход капиталистической динамики. Но никто не доказал, что эти изменения техники случайны и привходящи... С научной точки зрения было бы ошибкой думать, что направление, интенсивность этих открытий и изобретений совершенно случайны. Незаменимо вероятней предположить, что направление и интенсивность научно-технических открытий и изобретений являются функцией запросов практической действительности. Научно-технические изобретения могут быть, но могут остаться недействительными, пока не появятся необходимые экономические условия для их применения. Но если так, то... самое развитие техники включено в закономерный процесс экономической динамики»²⁾.

Относительно войны и революций мы читаем следующее:

«Войны и революции не падают с неба и не рождаются по произволу отдельных лиц. Они возникают на почве реальных и, прежде всего, экономических условий. Представляется более правдоподобным допустить, что социальные потрясения возникают легче всего, именно, в период бури и натиска новых капиталистических сил, приходящих в конфликт с отставшими экономическими отношениями и социально-правовым укладом общества (каков марксизм!—В. Б.). Таким образом и войны и революционные потрясения включены в процесс капиталистического развития и оказываются не исходными силами этого развития, а его функцией и формой»³⁾.

Та же самая аргументация развивается проф. Кондратьевым и по отношению к новым рынкам:

«Совершенно ясно, что при капитализме вовлечение в оборот новых территорий исторически происходит именно в периоды обостре-

¹⁾ Вопросы конъюнктуры, стр. 60.

²⁾ Вопросы конъюнктуры, стр. 60. Курсив Н. Д. Кондратьева.

³⁾ Там же, стр. 60—61. Курсив Н. Д. Кондратьева.

ной нужды стран старой капиталистической культуры в новых рынках сбыта и сырья. Совершенно ясно также, что пределы этого возлечения я (курсив наш.—В. Б.) определяются в меру указанной нужды. Но если так, то очевидно, что не приращение новых стран является толчком для повышения конъюнктуры и начала больших волн ее, а, наоборот, повышение конъюнктуры, усиливая тем хозяйственной динамики капиталистических стран, приводит к необходимости и возможности использования новых стран, новых рынков сбыта и сырья¹⁾.

Примерно, аналогичное же объяснение дается далее к переворотам в области добычи золота, которые также являются производными от движения больших циклов.

Если мы теперь попытаемся ссуммировать все сказанное, то в качестве конечного вывода придем к утверждению, что развитие капитализма определяется исключительно им самим, иначе говоря, что внешняя среда (в экономическом смысле) не оказывает никакого влияния на характер и темпы развертывания капиталистического способа производства. Вместе с тем и изменение самой внутренней структуры капиталистического хозяйства точно так же оказывается безразличным для колебаний больших циклов. Независимо от того, имеется ли в виду ранний капитализм или капитализм монополистический, понижающие и повышающие волны больших циклов с роковой неотвратимостью должны повторять свое движение.

С чисто логической точки зрения такое построение равносильно признанию того, что капитализм вообще существует, как единственная форма хозяйства, целиком и полностью господствующая во всех уголках нашей планеты и развивающаяся сама из себя. Но уже отсюда видна вся нелепость концепции проф. Кондратьева. Действительно, реальное развитие капитализма не может быть сведено исключительно к его внутреннему ритму. Поскольку чистого капитализма в природе пока что не существует, постольку динамика конкретного капитализма, по крайней мере, в ее количественном выражении не может быть объяснена полностью, исходя из теории циклов средних или больших—несущественно.

«Но позвольте,—негодующе заявит проф. Кондратьев,—ведь я именно и возражаю против сведения векового движения к циклическим колебаниям.»

Совершенно верно, но одновременно с этими возражениями вы делаете как раз то, против чего возражаете, поскольку вы превращаете все сопутствующие хозяйственному процессу явления в моменты конъюнктурно-обусловленные и конъюнктуре соразмерные. Логически продолжая свои рассуждения, проф. Кондратьев должен был бы заявить, что все развитие капитализма, если отвлечься от больших, средних, малых и всяких прочих циклов, представляет собой абсолютно прямую линию, поднимающуюся вверх под неизменным углом к исходному горизонтальному уровню, так как вполне самостоятельный, ни от чего не зависящий и качественно неизменный капитализм в своей динамике должен целиком определяться закономерностью некоего математического ряда.

В таких условиях формулированная проф. Кондратьевым задача, основываясь на теории больших циклов, притти «к пониманию ближайшего будущего», решила бы весьма просто,—нужно было бы только помножить числа исходного момента на определенный коэффи-

¹⁾ Вопросы конъюнктуры, стр. 61.

циент и учесть циклические колебания, чтобы получить все необходимые показатели для любого отрезка времени в будущем. Напрасно только Н. Д. Кондратьев скромно ограничивает себя ближайшим будущим, с его теорией можно смело определить, сколько будет получать английский с.-х. рабочий, примерно, в 2043 году, или как высоко будет стоять французская рента в 3000 году.

Как бы ни возмущался проф. Кондратьев чудовищностью выводов, сделанных из его концепции, они неизбежно вытекают из его основного тезиса, заключающегося в том, что внешняя среда и сфера социальных потрясений целиком воспроизводят ритм циклической воли. Напротив, мы должны изумляться тому факту, что проф. Кондратьев в своих схемах допускает изломы векового движения, ибо таковые в его системе абсолютно иррациональны и немислимы, поскольку вся совокупность факторов исторического развития уже выражена им в колебаниях больших циклов и точно математически распределена по соответствующим отрезкам повышательных и понижательных волн.

Из всего изложенного можно пока что сделать тот положительный вывод, что реальное сосуществование капитализма с некапиталистической средой и постоянная трансформация самого капитализма (концентрация производства, замена конкуренции монополиями, оттеснение промышленного капитала финансовым и т. д.) вместе с возрастающей напряженностью классовой борьбы и социальными потрясениями необходимо изменяют конкретную обстановку, в которой развивается капиталистическое хозяйство, изменяя тем самым и его темп. Вместе с тем, именно наличие таких постоянных изменений в реальных факторах развития не допускает отождествления этого развития с простым разворачиванием количественных показателей, подчиняющихся лишь их собственной закономерности. В самом деле, рассмотрим по порядку важнейшие из тех побочных факторов, которыми проф. Кондратьев отказывает в роли «исходных сил». Начнем с революции. Большинство революций, происходивших за изучаемый период, является революциями, направленными против остатков феодализма. К таковым относится Великая Французская революция, революции 1830 и 1848 годов, отчасти наши революции: 1905 года и февральская 1917 г. Можно ли, однако, рассматривать эти революционные перевороты исключительно как моменты конъюнктуры. Нам это представляется чистейшим вздором хотя бы потому, что, размах этих революций, их глубина, а вместе с тем и их влияние на последующее хозяйственное развитие зависело в значительнейшей мере от степени разложения феодально-крепостнического уклада, следовательно, являлось функцией двух сил. Далее, для нормального «воспроизводства» больших циклов, очевидно, совершенно необходимо, чтобы на соответствующие их моменты падало обязательно известное число революций, ибо, в противном случае, оди́н цикл без революции будет уже значительно отличаться от других циклов, на которые оказали влияние революционные потрясения. Поэтому буржуазные революции, которые не могут продолжаться бесконечно и в основном заканчиваются с ликвидацией остатков феодализма в важнейших странах, должны ийти себе заместителей. В качестве таковых выступают, повидимому, революции пролетарские. Но можно ли отождествить влияние тех и других? Для Н. Д. Кондратьева подобного вопроса не существует. С его точки зрения, повышательные волны большого цикла—есть периоды бури и натиска новых капиталистических сил, «приходящих в конфликт с отставшими экономическими отноше-

ними и социально-правовым укладом общества? Отсюда, очевидно, и пролетарские революции должны регулярно повторяться через известный промежуток времени, чтобы устранить отставшие экономические отношения, мешающие свободному росту капиталистических сил».

Мы отказываемся понимать иначе проф. Кондратьева, ибо, если пролетарские революции не очищают все-таки, по его мнению, дорогу капиталистическим силам, а выполняют другую роль, то их совершенно недопустимо смешивать с революционными переворотами другого классового содержания. Если же, наконец, проф. Кондратьев скажет, что пролетарские революции со стороны их влияния на динамику капитализма вообще не составляют объекта изучения теории больших циклов, поскольку они ведут к ликвидации капитализма и, следовательно, к уничтожению самих этих циклов, то остаются еще революционные восстания рабочего класса, которые кончились поражением, а таковых пока что большинство. Их влияние на динамику хозяйственного развития, несомненно. Сводится ли, однако, это влияние к осуществлению исключительно конъюнктурных закономерностей или нет? Если да, то пролетарские революции снова оказываются необходимым элементом капитализма, нормальным его атрибутом, следовательно, не выходят за его пределы. Если же нет, то совершенно незаконно включать вообще революционные перевороты в число нормальных конъюнктурных явлений. •

Примерно, так же обстоит дело и относительно войн. Войны самым тесным образом связаны со всем комплексом вопросов об отношении капитализма к другим общественным формациям, и в этом смысле обусловлены с двух сторон. Это в первую очередь относится к национальным войнам, представляющим собой вооруженное столкновение капитализма с феодализмом, как, например, наполеоновские войны, или колониальных народов с господством империализма. (Крайне интересно, как проф. Кондратьев, исходя из периодов бури и натиска, объяснит хотя бы восстание друзов или риффов.)

Второй тип войн—войны империалистические, так же, как и национальные, неотделимы от вопроса о соотношении капитализма с внешней средой, поскольку они происходят за пределами мира, т.е. за новое распределение объектов эксплуатации, в качестве которых выступают некапиталистические страны. В то же время остается принципиальное отличие тех и других, войны империалистических и войны национальных, которое также не позволяет ставить их на одну доску и отождествлять их влияние на хозяйственную конъюнктуру.

Не в меньшей степени бессодержательна точка зрения проф. Кондратьева и по поводу новых рынков. Он утверждает, что «при капитализме вовлечение в оборот новых территорий исторически происходит, именно, в периоды обостренной нужды стран старой капиталистической культуры, в новых рынках сбыта и сырья» и что «пределы этого вовлечения определяются в меру указанной нужды». Таким образом, открытие (в экономическом смысле) новых рынков, вовлечение их в орбиту капиталистического воздействия полностью подчиняется внутреннему ритму капиталистического развития, иначе говоря, внешние рынки в известном смысле должны быть перенесены во внутрь самого капитализма. Подобная постановка вопроса неверна, прежде всего, потому, что конъюнктурные закономерности капиталистической динамики, взятые сами по себе, могут осуществляться бесконечно. Циклические колебания, если рассматривать их под углом зрения внутренней обусловленности, имеют тенденцию воспроизво-

дятся вплоть до второго пришествия; внешние же рынки есть величина конечная. Открытие и вовлечение новых территорий предполагают в первую очередь их наличие. Отсюда совершенно очевидно, что по мере развития капитализма его резервы, т.-е. свободные территории, должны исчерпываться все в большей и большей степени, и в пределе мы имеем такое положение, когда данная внешняя среда вообще исчезнет. Сможет ли капитализм с такой же ритмичностью повторять и в последнем случае свои циклические колебания или нет? Исходя из того, что вовлечение в оборот новых рынков, по мнению проф. Кондратьева, «оказывает могущественное влияние» на темп капиталистической динамики, мы можем заключить, что исчезновение этих внешних рынков должно изменить характер больших циклов, поскольку выпадет один из моментов, органически присущих данным циклам. Но если так, то необходимо поставить вопрос и о том, не зависит ли динамика капитализма от размеров наличного внешнего рынка не только в конечном пункте, но и в каждом промежуточном моменте, поскольку капитализм все ближе и ближе подходит к этому конечному пункту? Ответ на данный вопрос может быть дан только утвердительный. Однако в таком случае мы должны признать, что вовлечение новых территорий хотя и обусловливается, несомненно, нуждой в рынках сбыта и сырья, но степень этого вовлечения зависит от двух факторов, а не определяется исключительно «мерой нужды» в них.

Общий итог, к которому мы приходим, может быть в данной стадии нашего изложения сформулирован следующим образом: влияние перечисленных проф. Кондратьевым явлений, сопутствующих большим циклам, не укладывается полностью в рамки циклических колебаний самого капитализма, а выходит за их пределы. Историческое развитие капитализма обусловлено, следовательно, определенными внешними факторами, которые должны рассматриваться, как, до известной степени, случайные и независимые от внутренней ритмичности капиталистического хозяйства.

«Но позвольте,—спешит прервать нас проф. Кондратьев,—как можете вы, марксисты, сторонники строгой детерминированности и обусловленности всех социальных явлений, апеллировать к случайности, к тому же в столь существенном вопросе, как закономерность развития капитализма!» В дискуссии о больших циклах в РАНИОНе он опровергал нашу ссылку на случайность социальных потрясений и открытия новых рынков ни больше, ни меньше, как обвинением даже в идеализме.

«Тов. Богданов,—говорил он,—незаметно для себя, сохраняя материалистическую терминологию, становится на идеалистическую точку зрения»¹⁾.

Спор с проф. Кондратьевым принимает в данном пункте несколько юмористический характер. В самом деле, достаточно замечателен уже сам по себе тот факт, что в лице Н. Д. Кондратьева мы находим, оказывается, верного стража марксистской ортодоксии, избоблачающего всех еретиков и отступников.

Как же действительно стоит вопрос о причинности в марксистской теории? Мы можем уверить проф. Кондратьева, что не только противники теории больших циклов, но и другие марксисты, не заинтересованные непосредственно в изничтожении этой теории, признают случайность, как вполне объективную категорию. С марксист-

¹⁾ Большие циклы, стр. 213.

ской точки зрения нет случайности, как продукта свободной воли индивида. Но, помимо такой случайности, существует случайность, являющаяся результатом пересечения двух причинных рядов. Для иллюстрации этого вида случайных явлений тов. Бухарин приводит в своем «Историческом материализме» следующий пример: Предположим, что человек идет по улице, и ему на голову падает кирпич со строящегося дома. В данном случае одинаково обусловлено как нахождение этого человека под постройкой, так и падение кирпича. Но отсюда еще не следует, что всякому гражданину, гуляющему по улице, необходимо должны сыпаться на голову кирпичи, нными словами, произошедшее явление имело место на пересечении двух причинных рядов, и ни из одного ряда, самого по себе, объяснено быть не может. Не останавливаясь далее на чисто философской... стороне вопроса о причинности и случайности, мы можем только от чистого сердца посоветовать проф. Кондратьеву, прежде, чем судить и ридить, почтитать элементарную марксистскую литературу, хотя бы ту же книгу Бухарина.

Какое же, однако, непосредственное значение имеет весь этот вопрос для теории больших циклов? Мы сейчас увидим, что самое существенное! Проф. Кондратьев утверждает, что выведение длительных волн капиталистической динамики из действия внешних факторов, а не из больших циклов, означает отрицание их обусловленности и закономерности. С марксистской точки зрения, наоборот, категория причинности остается здесь целиком в силе. Действительно, обусловлено ли хотя бы то же открытие новых рынков? Совершенно очевидно, что обусловлено. Проф. Кондратьев, несомненно, прав, когда он говорит, что новые территории вовлекаются в орбиту капиталистического хозяйства, главным образом, в периоды обостренной нужды, в новых рамках сбыта и сырья. Все дело, однако, в том, что такие периоды острой нужды, а следовательно, и усиленных поисков внешних рынков, имеются в каждом среднем цикле, и, значит, каждый средний цикл сопровождается в той или другой степени вовлечением в товарооборот некапиталистических стран, приобщением их к капитализму. Таким образом, для того, чтобы объяснить факторы капиталистической экспансии вовне, вполне достаточно исходить из средних циклов, и совсем необязательно прибегать к большим.

Вместе с тем, вовлечение новых территорий, также степень этого вовлечения и его влияния на динамику капитализма, необходимо обусловлено, с другой стороны, степенью экономического развития этих территорий, уровнем их производительных сил, чисто географическими условиями и т. д. Все эти, весьма существенные, моменты не могут быть выведены из внутренней закономерности конъюнктурного движения и по отношению к этому движению являются случайными. Отсюда следует, что поиски новых рынков в одном случае могут привести к «открытию» и вовлечению в мирохозяйственные связи больших материков с чрезвычайно благоприятными условиями для интенсивного экономического развития, и в другом случае—лишь незначительно расширить сферу капиталистической экспансии. Одновременно, в зависимости опять-таки от стадии развития, на которой находится данная страна, решается вопрос о том, произойдет ли ее приобщение к капитализму безболезненно или для того потребуются, может быть, военная интервенция. Одним словом, мы имеем в данном случае совершенно очевидно два ряда факторов, не сводимых и не выводимых друг из друга, т.е. мы имеем как раз тот вид случайности, о котором шла речь выше.

Примерно, так же обстоит дело и со всеми другими важными, по отношению к конъюнктуре, процессами: с войнами, революциями, техническими изобретениями и т. д. За недостатком места мы не можем остановиться на каждом из них в отдельности, но и без особого анализа ясно, что как развитие техники, так и потрясения социального порядка, хотя и обусловлены, без сомнения, общей динамикой капитализма, представляют собой тем не менее некоторые самостоятельные ряды, перекрещиваясь с которыми, кривая капитализма то дает резкий скачок вверх, то обнаруживает длительное замедление подъема.

Изложенные соображения вполне достаточны для того, чтобы объяснить причину длительных колебаний хозяйственного развития, не прибегая к теории больших циклов. Как вовлечение в сферу воздействия капитализма некапиталистических стран, так и войны и революции необходимо связаны с определенной фазой среднего цикла, но как те, так и другие, по своему обратному влиянию, по своим последствиям, могут отличаться совершенно различной интенсивностью, обуславливая в одном случае общее длительное повышение жизнедеятельности капиталистического организма, сокращая периоды депрессии и усиливая подъемы нескольких следующих друг за другом средних циклов, а в другом, вызывая, наоборот, усиление депрессии и снижение подъема, создавая тем самым видимость больших циклов.

Помимо всего сказанного, мы должны отметить далее, что разобранные нами «случайные» явления надстроеного и «пристроенного» порядка сами располагаются вокруг одного определенного стержня и представляют собой моменты осуществления внутренней закономерности развития капитализма, но уже не конъюнктурной, а совершенно иной. Мы имеем в виду общую историческую тенденцию капиталистической системы, выполнение ею определенной исторической роли, а именно, распространения крупного машинного производства в максимально широких размерах и подъема производительных сил внутри самого капиталистического сектора на наибольшую высоту.

Осуществлению как раз этой тенденции служит, с одной стороны, завоевание капитализмом все новых и новых стран, распространение капиталистических отношений на все большую часть нашей планеты, а с другой—изменение самой структуры капитализма, концентрация, централизация и обобществление производства. На определенной стадии этот двусторонний процесс, идущий вообще неравномерно, скачками, приводит к резкому замедлению векового движения, которое означает не простое проявление внутреннего ритма динамики капитализма, а факт его общего кризиса и агонии. В противоположность проф. Кондратьеву мы видим здесь не повторяющийся и нормально воспроизводимый конъюнктурной закономерностью случай, а, напротив, совершенно индивидуальное и неповторяемое явление приближения смерти капиталистической системы. Капитализм умирает не периодически, а один раз, и притом навсегда.

Теория больших циклов, сводящаяся к рассмотрению длительных колебаний капиталистического хозяйства вне этой его исторической ограниченности и требующая растворения структурных изменений в характере капитализма и в характере его отношений с внешней средой в конъюнктурных процессах, означает поэтому превращение капитализма в вечную и неизбежную систему, игнорирование его роли преходящей исторической формации. Вместе с тем, теория проф. Кондратьева,—и здесь мы вынуждены снова нарушить стиль важливой полемики,—пытающаяся подвести послевоенную депрессию капита-

дизма под нормальную периодичность больших циклов, оказывается совершенно определенной буржуазно-меньшевистской концепцией, самым решительным образом противоречащей революционному марксизму. В построениях проф. Кондратьева экономическая теория вымывает снова, хотя и во всеоружии самоовейших методов, свою старую и мало почетную функцию апологии капитализма. Этот характер теории больших циклов не может остаться скрытым, несмотря на весь ее сложный математический и статистический орнамент.

* * *

Для более полного рассмотрения теории больших циклов нам необходимо остановиться еще на одном возможном возражении против развитой выше аргументации. Проф. Кондратьев может нам сказать, что, принимая даже все наши утверждения, он, тем не менее, не считает свою теорию опровергнутой и, именно, по следующим соображениям: допустим, что войны, революции, технические перевороты и открытия новых рынков выходят из пределов больших циклов и оказываются определяющими факторами векового движения. Это еще не исключает само по себе возможности осуществления на общей кривой капиталистического развития особых колебательных движений, которые обусловлены хотя бы периодическим восстановлением длительно функционирующих элементов основного капитала и соотношением темпов накопления и расширения производства. Подобное возражение с формальной стороны имеет некоторую видимость действительной обоснованности, ибо у проф. Кондратьева перечисленные внешние факторы рассматриваются лишь как сопутствующие явления, внутренний же ритм конъюнктурных колебаний выводится из движения кривой капиталонакопления и срока службы известной части «основных капитальных благ» (ф.-з. зданий, железных дорог, морских каналов и т. д.).

Нам поэтому необходимо разобрать эти последние факторы, моментально определяющие по проф. Кондратьеву периодичность больших циклов и показать несостоятельность ссылки на них.

Но раньше всего следует указать на то, что, если даже в динамике капиталистического хозяйства существует некоторая закономерность чередования длительных повышательных и понижительных волн, то эмпирическое ее выявление чисто статистическим путем абсолютно невозможно. В самом деле, если социальные потрясения, волеизъявления новых территорий и т. д. не могут быть координированы, как мы показали, с большими циклами, то, совершенно очевидно, кривая векового движения¹⁾, по отношению к которой проф. Кондратьев выделяет свои циклы, должна быть взята не в виде планового уровня, а в форме кривой с резкими изломами. Но отсюда следует: во-первых, что вся статистическая работа, уже проделанная проф. Кондратьевым, не соответствует поставленной задаче и, во-вторых, что действительное эмпирическое обоснование теории больших циклов вообще невозможно, поскольку статистически нельзя найти критерий для отделения воли больших циклов от изгибов векового движения, вызванных действием внешних факторов (т.-е. тех же войн, революций и т. д.). И те, и другие будут переплетаться между собой самым трудным образом.

¹⁾ Как реальность, а не как статистическая фикция.

Однако, несмотря на то, что большие циклы при таких условиях оказываются какой-то мистической, непознаваемой вещью в себе, их существование не может быть опровергнуто ссылкой на их эмпирическую недоказуемость. На основании конкретного материала нельзя ни доказать, ни опровергнуть конъюнктурный характер известной части длительных колебаний капиталистической динамики. Иначе обстоит дело в теории. Здесь без большого труда можно показать, что то объяснение больших циклов, которое дает проф. Кондратьев, не выдерживает критики.

Какова же теория больших циклов Н. Д. Кондратьева?

Чтобы не брать на себя ответственности за передачу своими словами весьма схематичной и неразвитой концепции проф. Кондратьева, приведем следующую довольно простоянную выдержку из его тезисов, приложенных к докладу в РАНИОН¹:

«В качестве первой гипотезы для их (больших циклов.—В. Б.) объяснения может быть предложена следующая концепция.

Длительность функционирования различных созданных хозяйственных благ и производительных сил различна. Равным образом, для их создания требуется различное время и различные средства. Как правило, наиболее длительный период функционирования имеют основные виды производительных сил. Они же требуют и наибольшего времени и наибольших аккумулированных капиталов для их создания.

Отсюда необходимость для экономик понятия о различных видах равновесия применительно к различным периодам времени (ср. равновесие краткого и длительного периода у Маршалла).

Большие циклы можно рассматривать, как нарушение и восстановление экономического равновесия длительного периода. Основная причина их лежит в механизме накопления аккумуляции и рассеяния капитала, достаточного для создания новых основных производительных сил. Однако действие этой основной причины усиливается действием вторичных факторов.

В соответствии с изложенным, развитие большого цикла получает следующее освещение:

Начало под'ема совпадает с моментом, когда накопление и аккумуляция капитала достигает такого напряжения, при котором становится возможным рентабельное инвестирование капитала, в целях создания основных производительных сил и радикального переоборудования техники.

Начавшееся повышение темпа хозяйственной жизни, осложняющееся промышленно-капиталистическими циклами средней длительности, вызывает обострение социальной борьбы, борьбы за рынок и внешние конфликты.

В этом процессе темп накопления ослабевает, и усиливается процесс рассеяния свободного капитала. Усиление действия этих факторов вызывает перелом темпа экономического развития и его заедения...

Понижение темпа хозяйственной жизни обуславливает, с одной стороны, усиление поисков в области усовершенствования техники, с другой—восстановление процесса аккумуляции капитала в руках промышленно-финансовых и других групп...

Все это создает предпосылки для нового под'ема большого цикла, и он повторяется вновь, хотя и на новой ступени развития производительных сил¹).

¹) Большие циклы, стр. 71—72.

Таким образом, периодичность больших циклов обуславливается нарушением и восстановлением экономического равновесия длительно периода, которые в свою очередь предполагают специфический механизм накопления, аккумуляции и рассеяния капиталов, достаточных для создания новых основных производительных сил. Мы не собираемся сейчас заниматься критикой по существу предложенного, в качестве гипотезы, расширенного издания теории кризисов Туган-Барановского. Основные дефекты этой теории, давно известные, воспроизводятся здесь в еще более наглядном виде, поскольку речь идет о самостоятельности кривой капиталонакопления, но уже не на протяжении среднего цикла, а в течение нескольких десятков лет ¹⁾. Нас интересует другой вопрос, а именно: насколько вообще возможно существование одновременно двух циклических закономерностей в динамике капиталистического хозяйства? Предполагая даже, что теория проф. Кондратьева вполне правильная, остается в высшей степени проблематичным ее осуществление при наличии одновременно с большими циклами средних циклов конъюнктуры. С нашей точки зрения, которую мы постараемся ниже обосновать, концепция больших циклов могла бы только тогда иметь некоторый смысл, если бы не существовало средних циклов, и закономерность чередования длительных повышательных и понижательных волн являлась единственной конъюнктурной закономерностью. Однако, по мнению проф. Кондратьева, большие и средние циклы протекают одновременно, при чем и те, и другие по своей структуре вполне однородны. Последнее утверждение обижает, однако, автора теории больших циклов к очень многому.

Прежде всего, что наиболее характерно для средних циклов?

Конечно, не точная математическая повторяемость через определенный неизменный промежуток времени, которой вообще не существует, ибо средние циклы колеблются по своей продолжительности от 7 до 11 лет. Наиболее существенным их признаком является определенное чередование экономических процессов, которые могут или сокращаться или удлиняться по своей продолжительности вследствие каких-либо внешних воздействий, но всегда располагаются в строгой последовательности: депрессия, подъем, кризис, снова депрессия и т. д. Строго закономерный характер средних циклов обуславливается тем, что каждая из их фаз является совершенно своеобразной по своей экономической сущности, так подъем выражается в росте цен и расширении производства, кризис—в резком падении цен и сокращении размеров производства, депрессия—в застойном состоянии тех и других. Вместе с тем, каждый из указанных периодов представляет собой последовательно и непрерывно разворачивающийся ряд соответствующих экономических явлений.

¹⁾ Относительно теории кризисов Т. Б., в частности относительно самостоятельности процесса капиталонакопления, мы считаем все же необходимым привести мнение одного весьма авторитетного, особенно для Н. Д. Кондратьева, специалиста: «Несомненно, прежде всего, что теория М. И. (т. е. Туган-Барановского.—В. Б.) страдает недостатком ясности и точности в понятиях, которыми он оперирует, недостатком необходимой строгости в установлении необходимости связи между явлениями, которые он рассматривает, что вообще является характерной чертой, так мы говорили, интуитивно-мыслящего ума. Далее, спорным представляется одно из самых основных положений теории кризисов М. И., это—учение о нахождении какого-то свободного, не помещенного, капитала, как будто такой «капитал когда-либо бывает».

Эти строки принадлежат никому иному, как самому проф. Кондратьеву! См. Н. Д. Кондратьев, Михаил Иванович Туган-Барановский, Петроград 1923 г., стр. 82.

Как же обстоит дело на этот счет с большими циклами?

Для того, чтобы большие циклы конъюнктуры можно было приравнять срединным циклам, необходимо в первую очередь, чтобы она включала те же фазы подъема, кризиса и депрессии, ибо иначе аналогия вообще не может быть проведена. Однако мы ничего не слышали от проф. Кондратьева относительно хотя бы «больших кризисов», которые служат гранью перехода от повышательной волны к понижательной. Существуют ли данные кризисы и необходимы ли они для осуществления больших циклов или нет? Эти вопросы проф. Кондратьев предпочитает не ставить. Мы придерживаемся, однако, того мнения, что для обоснования циклического характера длительных колебаний капиталистического хозяйства совершенно необходимо показать, каким образом повышательная волна подготавливает последующий перелом конъюнктуры и как этот перелом осуществляется. Для этого проф. Кондратьеву нужно было бы сосредоточить сугубое внимание на указанных пунктах перелома конъюнктуры и выяснить их функциональное значение. Но этого мы также в концепции больших циклов не находим. Правда, проф. Кондратьев может сказать, что переход от повышательной волны к понижательной совпадает с каким-либо одним из кризисов, записывающих движение среднего цикла, благо у него вообще переходный период от одной фазы цикла к другой весьма предсудительно растягивается на 5—7 лет, включающих обычно хотя бы один год кризиса. Однако здесь возникает вполне законный вопрос, — почему повышательная волна большого цикла не превращается в понижательную, когда кончается каждый средний цикл, падающий на эту повышательную волну и неизменно сопровождающийся кризисом? Очевидно, что для ответа на этот вопрос нужно установить два типа кризисов, очень значительно отличающихся друг от друга. Но и на этот счет у проф. Кондратьева нет ни слова.

Еще более наглядно иллюзорность больших циклов обнаруживается тогда, когда мы возьмем длительные повышательные и понижательные волны в их соотношении со средними циклами. Как мы уже говорили, подъем и депрессия среднего цикла характеризуются непрерывным действием определенной экономической тенденции. Иначе с большими циклами. Их фазы выступают, как плавные кривые, лишь через соответствующее сглаживание и представляют в действительности резко изломанные линии. Так, повышательная волна не выражается исключительно в непрерывном росте всех основных хозяйственных показателей. Напротив, этот рост в определенные моменты, — в периоды «средних» кризисов, — превращается в прямое падение производства, цен и т. д. Точно так же и понижательная волна включает в себе довольно значительные подъемы, связанные со средними циклами. Но, в таком случае, вполне естественно усомниться, не имеем ли мы дело в теории больших циклов с чисто статистической фикцией, лишённой всякого реального экономического содержания. Это подозрение еще более укрепит, если мы рассмотрим действие тех причин, которыми проф. Кондратьев объясняет цикличность длительных колебаний хозяйственной динамики.

Возьмем прежде всего тенденцию накопления свободных, незанятых капиталов. По мнению проф. Кондратьева, смена повышательной волны большого цикла понижательной обуславливается истощением свободных капиталов, отставанием темпа капиталонакопления от темпа расширения производства и обратно — окончание понижательной волны, переход ее в повышательную подготавливается противоположным про-

цессом превышения темпа накопления и образованием излишка незанятых капиталов. Это решающий пункт концепции Н. Д. Кондратьева, и именно в нем с исчерпывающей наглядностью обнаруживается вся надуманность и искусственность теории больших циклов. В самом деле, если мы даже признаем самостоятельность кривой капиталонакопления, то перед нами неизбежно встанет вопрос, каким образом возможны кризисы в период общего повышательного движения конъюнктуры, если налицо имеется еще определенный запас свободных капиталов, а обратно,—каким образом в период общехозяйственного застоя может иметь место подъем (среднего цикла), если незанятые капиталы ждут для своего применения начала общей повышательной волны большого цикла. Этот же самый вопрос можно сформулировать, с другой стороны, в следующем виде: почему превышение кривой накопления, имеющее место, очевидно, с самого начала понижательной волны, не приводит тотчас же к подъему, или почему свободные капиталы не увязываются целиком в производстве с первого же момента повышения кривой большого цикла (с подъемом первого среднего цикла), а питают весь период этой повышательной волны? Ведь экономические стимулы для подобного использования незанятых капиталов, как это очевидно само собой, имеются в каждом среднем цикле. Нам представляется, что ответить на поставленные вопросы проф. Кондратьев не сможет ни в коем случае. Устранивши путем соответствующих статистических приемов средние циклы, он, повидному, вообще забыл о их существовании и по сути дела исключил всякую возможность их реализации.

Перейдем теперь ко второму фактору, составляющему, так сказать, материальную основу больших циклов, а именно, к длительно функционирующим элементам постоянного капитала, периодическое скашивание и восстановление которых определяет по Кондратьеву периодичность длительных колебаний конъюнктуры. Мы не будем разбирать с методологической стороны допустимость трех типов равновесия, конструируемых проф. Кондратьевым: 1) равновесие, устанавливающееся на рынке между спросом и предложением, которому соответствует определенный уровень и соотношение рыночных цен; 2) равновесие рыночных цен с ценами производства, которое обусловливается сроком службы большей части средств производства (главным образом машин) и составляет основу среднего цикла и 3) равновесием зависящих от «основных капитальных благ», смена и расширение которых идет не плавно, а толчками, другим выражением чего и являются большие волны конъюнктуры¹⁾. Теоретический анализ данного тройного равновесия завел бы нас слишком далеко. Отметим только общее различие между этими видами равновесия. В то время, как равновесие первого порядка—рыночное равновесие—является моментом в осуществлении тенденции к равновесию второго типа, благодаря чему между ними возможна координация, так как одно подчиняется другому, отношение между равновесием второго и третьего типа не может быть сконструировано таким же образом, ибо каждое из них вполне равноправно с другим. Но если равновесия 2 и 3 порядка не находятся в отношении подчинения, то остается непонятным, как может хотя бы то же равновесие номер два осуществляться при отсутствии равновесия в области воспроизводства «основных капитальных благ», иначе говоря, как возможно вообще одновременное существование в одной и той же сфере хозяйственной жизни двух тенденций к равновесию с различными уровнями?

¹⁾ Большие циклы, стр. 61.

Оставим, однако, этот вопрос на предмет дальнейшей разработки проф. Кондратьеву и займемся конкретным механизмом, благодаря которому «смена и расширение»... длительно функционирующих капитальных благ находят свое выражение в больших циклах конъюнктуры. Спрашивается, прежде всего, какие части производственного капитала проф. Кондратьев относит к числу длительно-функционирующих? В качестве таковых у него фигурируют «крупнейшие постройки, сооружения значительных ж.-д. линий, проложение каналов, крупные мелиоративные сооружения». Что касается трех последних, на которых, между прочим, Н. Д. Кондратьев делает особое ударение, то мы их должны отвести с самого начала и по следующим соображениям: железные дороги, каналы и мелиоративные сооружения, будучи построены один раз, не воспроизводятся целиком через строго определенный промежуток времени. Суэцкий канал не прорывается, например, вновь через каждые 50 лет, чтобы послужить основанием для теории проф. Кондратьева. Точно так же и все остальные виды перечисленных капитальных сооружений не восстанавливаются в дальнейшем сразу, а лишь поддерживаются в пригодном для функционирования состоянии, путем частичного ремонта (постепенная смена подвижного состава и пути на жел. дорогах и т. д.). Никакой цикличности их воспроизводство, таким образом, не обнаруживает.

Правда, Н. Д. Кондратьев может указать здесь на то, что у него речь идет не только о смене, но и о расширении «фонда капитальных благ». Однако мы должны возразить ему, что в таком случае необходимо уже не в материальной природе крупнейших капитальных сооружений, не в закономерности их собственного оборота, а где-то вне искать факторы, стимулирующие периодическое усиление их строительства. Но тогда мы приходим к тому положению, что не материальная особенность длительно-функционирующих частей постоянного капитала, не срок их службы определяет периодичность больших циклов, а сами эти большие циклы должны быть объяснены действием совершенно особых экономических закономерностей, чтобы затем послужить основанием для цикличности нового строительства. Однако поскольку единственная попытка такого экономического обоснования больших циклов, а именно, апелляция к самостоятельности кривой капиталообразования, как мы уже видим, не выдерживает критики, постольку доказательство цикличности строительства основных капитальных благ оказывается построенным у проф. Кондратьева на основе очевидного *petitio principii*, так как большие циклы выводятся из периодичности создания основных капитальных сооружений в то время, как сама эта периодичность может быть объяснена только из больших циклов.

Из указанных проф. Кондратьевым «основных капитальных благ» остаются еще «крупнейшие постройки», к которым могут быть, по-видимому, отнесены фабрично-заводские здания. Что касается этих элементов основного капитала, которые действительно связаны самым тесным образом с процессом воспроизводства и находятся в определенной зависимости от кругооборота капитала, то срок их службы можно с известной натяжкой признать равным, примерно, 40—50 годам, т. е. периоду большого цикла. Однако и здесь концепция проф. Кондратьева обнаруживает свой статистический по преимуществу характер, сводящийся к игнорированию реально-экономической стороны изучаемых процессов. В самом деле проф. Кондратьев и в этом пункте забывает, что за конъюктурно повторяющимися закономерностями скрыт всегда общий рост хозяйства и абсолютное расширение произ-

водства. Каждый новый период подъема ведет не только к более полной загрузке уже существующего основного капитала, но и к его расширению, что в большинстве случаев требует постройки новых ф-з, корпусов, ибо машины под открытым небом работать не могут. Но отсюда следует, что, когда дело дойдет до обновления и замены фабричных зданий предприятий, организованных несколько десятков лет назад, то значение этого строительства в общей сумме строительства длительно-функционирующих частей основного капитала будет ничтожно. У Кондратьева же в данном случае встает перед глазами чисто статистический мираж. Кривая общего роста производства, поднимаясь вверх под довольно значительным углом, путем статистической обработки превращается в горизонтальную линию, так что из поля зрения, естественно, выпадает громадное различие абсолютных величин, характерных для нисходящей фазы большого цикла и для аналогичной же фазы следующего цикла, отделенной промежутком в 50 лет.

Мы приходим, таким образом, к выводу, что одна часть капитальных благ высшего порядка, вообще, не подчиняется циклическому воспроизводству (ж. д., каналы и т. д.), а другая, будучи связанной с движением среднего цикла, самостоятельной циклической образовать не может и зависит, вероятней всего, от динамики именно этих средних циклов.

Необоснованное выпячивание на первый план несуществующей закономерности больших циклов, как определяющей, не менее отчетливо обнаруживается далее при рассмотрении побочных моментов, сопутствующих конъюнктурным колебаниям, к которым относятся социальные потрясения, технические изобретения и пр. Мы знаем, что, хотя проф. Кондратьев и отрицает за указанными факторами самостоятельное значение, он, тем не менее, признает их необходимыми звеньями осуществления закономерности больших циклов.

Так, повышательная волна не может, по его мнению, начаться, если на лицо нет технических изобретений, использование которых могло бы дать большой производственный эффект, или радикально изменить в условиях добычи золота, без которого немисли общий рост цен, стимулирующий хозяйственный подъем. Почему же проф. Кондратьев считает, что, именно, к моменту перелома в динамике большого цикла указанные его предпосылки должны быть уже подготовлены, иначе говоря, почему закономерность развития техники и реорганизация золотопромышленности ставится им в связь исключительно с большими циклами? Это проф. Кондратьевым совершенно не доказывается, да и не может быть, с нашей точки зрения, доказано. Действительно, совершенно невероятно, чтобы, например, технические открытия, которые происходят по Кондратьеву на протяжении всей понижательной волны, оставались неиспользованными вплоть до начала длительной волны повышения конъюнктуры, в то время, как в каждом среднем цикле имеется период, в течение которого капиталисты проводят реконструкцию производства и усиленно применяют новые технические методы для снижения издержек. Точно так же и с золотопромышленностью, абсолютно непонятно, почему в ней, в противоположность всем другим отраслям производства, реконструкция происходит с запозданием на 20—30 лет, так что на протяжении всей повышательной волны, когда цены растут, и норма прибыли золотопромышленника падает, производство расширяется при старых методах, реорганизация же наступает уже после того, как восторжествует понижательная тенденция большого цикла.

Все эти несообразности в концепции проф. Кондратьева настолько элементарны и очевидны, что их понимание в той или другой мере доступно даже ученому сознанию профессоров Опарных и Новожильных, а нам представляется совершенно невероятным, как их может не замечать сам автор теории больших циклов.

Суммируя все сказанное, мы приходим к тому выводу, что из конкретного рассмотрения факторов конъюнктурной динамики с исчерпывающей ясностью следует невозможность одновременного существования двух циклических закономерностей. Большие циклы могли бы претендовать на некоторую вероятность только в том случае, если бы не существовало средних циклов. Поскольку же эти средние циклы существуют, и Н. Д. Кондратьев их не отрицает, постольку все тенденции конъюнктурного развития координируются именно с ними, исключая тем самым реализацию более длительных конъюнктурных волн. Концепция проф. Кондратьева оказывается, таким образом, совершенно несостоятельной не только со стороны ее конечных выводов, но и с точки зрения ее внутренней обоснованности.

• • •

В заключение мы должны отметить положительную сторону выступления проф. Кондратьева. Она заключается в том, что ставится в порядок дня изучение действительной природы длительных колебаний капиталистического хозяйства. Такое изучение должно показать, какими конкретными причинами вызывались на самом деле изменения в темпе развития капитализма в различные его периоды.

Однако первым условием для обеспечения плодотворности чрезвычайно ценной и нужной работы в указании направлении необходимо с самого же начала отбросить теорию проф. Кондратьева, которая ни в коем случае не может служить хотя бы сколько-нибудь пригодным орудием в анализе конкретного материала и ни к чему, кроме путаницы и напрасной траты сил, не приведет.



Количественная теория денег.

(Опыт методологической критики).

С. Легов.

I. Введение.

Всякая теория есть отображенная и при посредстве определенного метода переработанная в человеческой голове реальная действительность. «Видеть в теории изображение близкую копию объективной реальности—вот в чем состоит материализм»,—говорит по этому поводу Ленин¹⁾. Отсюда: научность той или иной теории определяется ее способностью давать относительно верное изображение объективной реальности, стносительно точную ее копию.

Теорией, «изображающей» общественно-производственные процессы и отношения менового хозяйства, является политическая экономия²⁾. Деньги—социально-экономическая категория³⁾. Поэтому теория денег есть часть политической экономии; только в ее пределах и на ее основе теория денег получает свою научную значимость.

Однако политическая экономия имеет дело не с меновым обществом «вообще», т.-е. не с товарным хозяйством в его непосредственной конкретности, а с экономическими категориями этого общества. А так как «экономические категории суть не что иное, как теоретические выражения абстракции общественных отношений производства»⁴⁾, то, следовательно, теоретическое «изображение» реальной действительности менового хозяйства выступает в форме абстракции общественно-производственных отношений. Экономические категории: товар, стоимость, деньги, прибавочная стоимость, капитал, кредит, рента и т. д.—представляют собой, таким образом, теоретические выражения абстракции определенных отношений производства, или, как выражается в другом месте Маркс: «формы бытия, условия существования отдельных сторон буржуазного общества»⁵⁾.

Говоря, следовательно, о количественной теории денег, необходимо поставить решающий методологический вопрос, верно ли она

¹⁾ Ленин, Материализм и эмпириокритицизм.

²⁾ Вопреки утверждениям некоторых марксистов о том, что политическая экономия изучает «лишь» капиталистические производственные отношения, мы считаем, что последние изучает отношения производства менового хозяйства, взятого в целом, как совокупность исторических моментов: натуральный обмен, простое товарное обращение и товарно-капиталистическое обращение. Поэтому в дальнейшем во всех случаях мы будем оперировать вместо понятия «капитализм» понятием «меновое хозяйство».

³⁾ Вопреки утверждению харталистов, которые считают деньги правовой категорией.

⁴⁾ Маркс, Ницета философии, изд. 1918 г., стр. 114.

⁵⁾ Маркс, К критике..., изд. 1923 г., стр. 21.

изображает те реальные процессы и отношения социально-экономической действительности менового общества, которые скрываются за явлениями товарно-денежного обращения, точнее: правильно ли она вскрывает сущность этих явлений и, вместе с этим, устанавливает ли она действительные экономические законы, управляющие указанными выше процессами и отношениями. Нам кажется, что только при такой постановке вопроса может быть правильно разрешена задача методологической критики количественной теории денег.

II. Сущность количественной теории денег.

Что является основным, качественно определяющим, констатирующим в системе количественной теории денег? Если отвлечься от всех частных—видовых признаков этой теории и взять наиболее общие—родовые ее признаки, то это «основное» можно свести к следующим четырем положениям:

Прежде всего, количественниками «товарное обращение (в данном случае капиталистический процесс обмена веществ.—С. Л.) понимается исключительно в форме $T-D-T$, а эта последняя, как последовательное единство продажи и покупки»¹⁾. Иначе говоря, капиталистическое хозяйство ($D-T-D$) сводится к простому товарному хозяйству ($T-D-T$), а последнее—к натуральной его форме. В самом деле, единство продажи-купли является характерной формой обмена для эпохи непосредственной меновой торговли, для эпохи натурального обмена, где еще нет ни товара, ни денег в собственном смысле слова. Единство продажи-купли: характерная форма менового процесса для эпохи предбуржуазного способа производства, где только еще происходит процесс формирования этого способа производства в пределах натуральной формы хозяйства, а, вместе с тем, и процесс образования всеобщей категории менового хозяйства—категории товара. Это—эпоха становления товара и рождения денег. Простая, развернутая и всеобщая формы стоимости—только моменты генезиса товара,—моменты, отмечающие собою определенные этапы генезиса менового хозяйства. Здесь «уже» существует обмен, но «еще» нет обращения, ибо нет денег. Все отношения обмена пока еще выступают в натуральной форме. Всеобщий эквивалент, эта основа денежной формы стоимости, тоже еще натурализован, он еще не отделился достаточно от потребительских свойств продукта. Только сращение всеобщей эквивалентной формы стоимости с определенной вещью превращает ее в денежную форму, а данную реальную вещь (товар) в материального носителя этой формы—в монету. В этом «сращении», между прочим, заключается весь смысл скачка от непосредственного обмена к товарному обращению.

Ограничивая товарное обращение формулой $T-D-T$ и понимая последнее, как единство продажи-купли, количественники тем самым сводят сложный капиталистический процесс обмена веществ, выступающий в форме товаро-(капитало-)обращения, к простому, непосредственному (натуральному) обмену продуктами. Отсюда мы можем вывести первое положение количественной теории денег:

¹⁾ Там же, стр. 148. Правда, сказанное здесь Марксом, относится к количественникам-классикам, но эти воззрения на товарное обращение характерны не только для количественников-классиков, но вообще для всех количественников.

Товарное обращение есть натуральный, непосредственный обмен продуктами. Поэтому законы обращения развитых форм менового хозяйства сводятся к законам обмена простого неразвитого (натурального) менового хозяйства.

Сведение же товарообращения к натуральному обмену неизбежно натурализует и категорию денег. Поэтому деньги в обмене у количественников выступят в своей натуральной форме, в форме простого «блага», в форме обыкновенной «собственности», отличительная особенность которого состоит лишь в том, что оно «всеми принимается в обмен за другие товары» (Фишер). Количественники себе дело представляют таким образом, что товарное обращение есть такой процесс обмена веществ, который принципиально может совершаться и без денег, но который получает техническое облегчение введением в него того или иного средства обмена. Так, например, Юм считал, что «Деньги суть только орудие, которое люди по общему соглашению употребляют для того, чтобы облегчить обмен одного товара на другой»¹⁾. Или: «Деньги суть только представители труда и товаров и служат только средством для подсчета и оценки последних»²⁾. Примерно в таком же духе определяет деньги и Фишер: «Деньги никогда не приносят других выгод кроме создания удобств для процесса обмена. Создание этих удобств является социальной функцией денег». В другом месте Фишер так характеризует категорию денег: «Всякая собственность, которая принимается при обмене, может быть названа деньгами. Документы, удостоверяющие права на эту собственность, тоже называются деньгами»³⁾. Д. С. Милль о деньгах говорит следующее: «Деньги—машина для быстрого и удобного исполнения того, что делалось бы и без них, хотя не так быстро и удобно»⁴⁾. Таким образом, исходя из своего понимания товарообращения, как единства продажи-купли, количественники эту натурализованную категорию—деньги—определяют, как техническое средство облегчения обмена, как орудие обмена. Маркс из всего этого сделал следующий вывод: «Если товарное обращение понимается исключительно в форме Т—Д—Т, а эта последняя исключительно как последовательное единство продажи-покупки, то деньги определяются как орудие обращения, в противоположность их форме, как денег»⁵⁾. Соответственно вышесказанному формулируем второе положение количественной теории:

Деньги — техническое средство облегчения непосредственного обмена, т. е. деньги — орудие обмена.

Но деньги в качестве орудия обмена обособляются в своей функции, как монета. А так как «обращение приводит к тому, что золотая сущность монеты превращается в золотую видимость (износ), и монета становится лишь символом ее официального содержания»⁶⁾, то, на основании экономического закона, который гласит, что «орудие

¹⁾ Юм, Опыты стр. 20.

²⁾ Там же.

³⁾ Фишер, Покупательная сила денег, стр. 6—9.

⁴⁾ Д. С. Милль, Политэкономия, стр. 438.

⁵⁾ К. Маркс, К критике..., изд. 1923 г., стр. 148.

⁶⁾ Маркс, Капитал, т. I, стр. 97.

обращения, обособившееся в своей функции, как монета, превращается в знак ценности»¹⁾—деньги у количественников неизбежно сводятся к знакам ценности и в силу этого принимают на себя законы обращения этих знаков²⁾. Таким образом, мы можем вывести третье положение количественной теории:

Деньги—знаки ценности. Законы обращения знаков ценности суть законы обращения денег вообще.

Однако «соответственно закону обращения знаков ценности... цены товаров зависят от количества обращающихся денег, а не наоборот—количество обращающихся денег зависит от цен товаров»³⁾. Отсюда следует четвертое положение количественной теории денег:

Цены товаров зависят от количества обращающихся денег, ибо они конструируются в непосредственном обмене на рынке, путем простого противопоставления двух друг от друга не зависящих величин: денежных знаков и товарных масс (два потока). Ценность же денег, в виду этого, с точки зрения количественников, есть не что иное, как номинальная величина подсчета и измерения, которая проявляет себя «реально» при фактическом обмене, в так называемой «покупательной способности» денежных знаков⁴⁾.

К собственно теории денег относятся только последние три положения. Первое положение является лишь методологической предпосылкой этой теории.

Из приведенной выше схемы основных положений количественной теории денег ясно видно, что все примитивное здание этой теории построено на весьма непрочном фундаменте. В самом деле, утверждать, что сущность денег состоит только в том, что они являются орудием обмена, это значит сущность подменить явлением, это значит утверждать, что явление совпадает с сущностью. Но это в то же время означает—целиком отказаться от теоретической экономики, ибо, как указывает Маркс, если бы форма появления совпадала с сущностью вещи, то не было бы места для науки. У количественников форма проявления—деньги, как орудие обращения—совпадает с сущностью. В этом отношении количественная теория денег исходит из теоретических основ вульгарной экономики. Вульгарное же понимание сущности денег предопределяется особыми методологическими предпосылками, которые, собственно, и дают содержание этой теории. Поэтому: 1) выявление методологических предпосылок количественной

¹⁾ Маркс, К критике..., изд. 1923 г., стр. 148.

²⁾ Здесь нужна оговорка следующего характера. Правильно будет утверждение, что «количественники сводят деньги к знакам ценности», только по отношению к классикам (Рикардо—Милль), которые признают субъективность стоимости товара и денег. Что же касается Юма и Фишера, которые субъективность стоимости денег отрицают, то по отношению к ним правильнее было бы сказать, что у них деньги сводятся не к знакам ценности, а к знакам цены. Однако, по существу, и знаки ценности Рикардо—Милля, и знаки цены Юма—Фишера,—это одно и то же, ибо и те и другие ценность денег в конечном счете выводят из механического сопоставления двух друг от друга не зависящих величин,—товарных масс и дензнаков.

Маркс, К критике..., изд. 1923 г., стр. 148.

В этом отношении количественная теория денег тесно примыкает к номинализму. Не даром ранние количественники Юм и Монтескье являлись одновременно номиналистами, в то время как современные номиналисты Бендиксон и Эгстер во многом солидаризируются с количественниками.

теории денег является первой задачей критики; 2) раскрытие ошибок в понимании количественниками сущности денег составляет вторую задачу критики и, наконец, 3) научное обоснование понятия «покупательной силы денег» на основе закона ценности и раскрытие ошибок количественной теории денег в этой области—представляют третью задачу критики.

III. Методологические предпосылки количественной теории денег.

Поскольку верно положение диалектической теории познания, что метод есть душа всякого познания и что метод соотносители предмету этого познания, постольку мы логическим путем, через раскрытие обратной связи основных положений количественной теории, можем определить предметно-методологическую установку, при помощи которой строится эта теория.

Определение «покупательной силы» денег у количественников вытекает из сведения ценности денег к коэффициенту обмена деизаков на товарные массы.

Сведение же ценности денег к коэффициенту обмена (а вместе с тем и к знакам ценности) вытекает: у одних (Юм—Фишер) из отрицания, у других (Рикардо—Милль) из недопонимания субстанциональной стороны категории денег.

В свою очередь сведение ценности денег к коэффициенту обмена, а стало быть и к знакам ценности, является лишь следствием того, что основная характеристика сущности денег сводится к их определению, как орудия непосредственного обмена.

Но орудием простого, непосредственного обмена деньги могут быть только в таком меновом хозяйстве, где существует единство Г—Д—Т, т.е. при условии сведения развитого товарообращения к простому натурализованному процессу, т.е. к процессу, где Д выступает в еще неразвитой натурально-эквивалентной форме.

А это последнее вытекает из понимания товарного хозяйства: во-первых, как вечной и принципиально-неизменной системы хозяйства, во-вторых, как системы, которая органически не связана никаким внутренним единством, как системы, в которой субъектом хозяйствования является индивидуальное хозяйство (робинзонады классиков).

Все же это вместе взятое является, в свою очередь, продуктом апологетики буржуазного мышления. Рикардо, например, считал, что общество есть не более как фиктивное единство, механическая сумма составляющих его индивидов¹⁾. Эта точка зрения на буржуазное общество, как на бессубъективное и механическое единство, в той или иной степени господствует в буржуазной экономической науке и по настоящее время²⁾. Подобного рода взгляды на буржуаз-

¹⁾ Рубин, История эконом. мысли, стр. 226.

²⁾ Струве, например, тоже полагает, что общественная связь в экономике есть связь минимал, а общественное хозяйство есть псевдо-хозяйство (цит. по Базарову—План хоз., № 6, 1927 г., стр. 164). Базаров по этому вопросу говорит, что «для буржуазного ученого народно-хозяйственное целое не реальность, в абстракция и притом гносеологическая абстракция» (там же).

Ту же мысль выражает Зомбарт, когда он подвергает сомнению наличность единства мирового хозяйства: «частные народные хозяйства, — говорит он, — делаются все более и более совершенными микрокосмами, в роль внутреннего рынка, по сравнению с внешним, становится все большей и большей. В настоящее время отдельное народное хозяйство втянуто в мировой рынок слабее, чем сто лет тому назад» (В. Зомбарт, Истор. эконом. разв. Германии в XIX веке, стр. 340—341. Цит. по Р. Люксембург, Введение в пол. экон., стр. 63—64).

ное общество, как на внесторическую и бескачественную категорию, теснейшим образом связаны с метафизическим миропониманием, свойственным всякому теоретическому мышлению буржуазных идеологов и теоретиков. «Единичный и обособленный охотник и рыбак, с которых начинают Смит и Рикардо, принадлежат к лишенным фантазии химерам XVIII века»,— писал в свое время Маркс¹⁾. Однако, мы знаем, что XVIII век был веком расцвета метафизического мировоззрения... Обособленные индивидуальные хозяйства, эти робинзонады, с которых «начинают» и которыми «кончают» австрийцы, принадлежат к химерам второй половины XIX века. В этом смысле австрийцы являются продолжителями метафизической установки на меновое хозяйство, установки, из которой исходили Смит и Рикардо. Но с австрийцами в кровном родстве находятся математики, а современный количественник Фишер своей формулой «Уравнение обмена» иллюстрирует принципы математической теории, применительно к денежному обращению.

Таким образом мы видим, что и исторически, и логически количественная теория денег своим корнями уходит и упирается в метафизический метод познания. Капитализм, как вечная и раз навсегда установленная категория, и притом как гносеологическая абстракция, их псевдо-хозяйство и т. д., это—метафизическая категория. Но метафизическая установка на предмет исследования сама по себе уже предопределяет судьбу количественной теории. При такой установке совершенно устраняется основная предпосылка научного познания, предпосылка, состоящая в том, что, во-первых, «условие познания всех процессов мира в их «самодвижении», в их спонтанном развитии, в их живой жизни есть познание их, как единства противоположностей»; во-вторых, что «раздвоение единого и познание противоречивых частей его» есть условие всякого познания²⁾. Без этого методологического условия нет научного познания. Тем не менее, с точки зрения буржуазных теорий, капитализм, как народно-хозяйственное целое, никакими внутренними, ему присущими противоположностями и противоречиями не обладает. Не обладают этими противоположностями и противоречиями, следовательно, и экономические категории: товар, стоимость, деньги, капитал и т. д., которые, в качестве абстракций определенных общественно-производственных процессов и отношений, должны были бы быть носителями противоречий, заложенных в товарном хозяйстве. Да и вообще может ли обладать единством противоположностей то, что само по себе не является живым целым, движущимся единством? Конечно, нет. Вот почему у количественников нигде не идет речь о противоречиях в вышеуказанном смысле. Вот почему у них движение товаров не противоречивый процесс, а механическое их перемещение из одних рук в другие. Вот почему у них деньги выступают только как подсобное средство этого перемещения. Но как раз в этом лежит корень методологической ошибки количественников. Этой основной ошибкой определяются все остальные.

IV. Проблема сущности денег и количественная теория.

Неумение понять сущности явлений экономической действительности является органическим пороком буржуазной политической

¹⁾ Маркс, К критике..., стр. 1, изд. 1923 г.

²⁾ Ленин—«Большевик» № 5—6, 1924 г.

экономики. Это объясняется отрицательным ее отношением к диалектической методологии познания. Отсюда, как правило, в теориях денег буржуазных экономистов почти всегда отсутствует анализ генезиса денег, а у тех, у которых он имеет место, как, например, у номиналистов, последний превращается в чисто формальный, декларативный постулат. Вместе с этим у буржуазных экономистов остается не вскрытой и не понятой сущность денег, благодаря чему вся теория денег обычно превращается в чисто логическую и рационалистическую систему (Кнапп). Иначе говоря, неверное определение сущности денег ведет к неправильному построению денежной теории. Поэтому дать теоретически-правильное определение сущности денег является исходным моментом как в построении марксистской теории денег, так и в критике буржуазных денежных систем.

Как мы видели выше, у количественников сущность денег сводится: с точки зрения формы—к орудию обмена (второе положение), с точки зрения содержания—к знакам ценности (третье положение). При каком условии эти положения были бы верны? Очевидно, при условии правильности первого положения¹⁾, т.е. если бы обращение товаров в развитом меновом хозяйстве сводилось к непосредственной меновой торговле, и если бы в таком меновом процессе деньги могли выступать не как имманентное движение товаров средство их обращения, не как «превращенная форма движения товаров», а как внешнее-постороннее средство «создания удобства для процесса обмена» (Фишер), как «средство облегчения обмена одного товара на другой» (Юм). Тогда действительно деньги являлись бы «орудием обращения» в том смысле, как его понимают количественники. Лучшими же деньгами, безусловно, были бы наиболее дешевые и наиболее приспособленные к этой технической функции дензнаки. И тогда, действительно, отношение товаров к стоимости денежного материала, а стало быть и к его количеству, было бы пассивно-безразличным, ибо, как утверждает Рикардо, «меньшее количество денег выполняло бы функцию орудия обращения столь же хорошо, как и более значительное»²⁾. Ценность же денег (покупательная способность) в этом случае сводилась бы к коэффициенту обмена дензнаков на товарные массы. И тогда, конечно, можно было бы говорить о правильном «изображении» реальной действительности количественной теорией, говорить о научно-познавательной ее ценности.

Но в том-то и дело, что вопрос о товаре обращении в развитом меновом хозяйстве обстоит совершенно иначе, чем это представляется количественникам. Непосредственный обмен действительно когда-то являлся определенной формой менового процесса, и тогда он определял качественную характеристику менового хозяйства, находившегося в становлении. Однако теперь непосредственный обмен уже является исторически превзойденным моментом³⁾. Его сменяла (последовательно одна за другой) новая всеобщая форма обмена: сначала простое товарное обращение, а потом товарно-капиталистическое. Между этими формами обмена (непосредственно меновой торговлей и

¹⁾ А это последнее было бы верно при условии правильности методологической предпосылки количественной теории, предпосылки, которая нами выше была опровергнута.

²⁾ Рикардо, Сочинения, стр. 278, изд. 1882 г.

³⁾ См. об этом у Р. Люксембург, Введение в политэкономия, стр. 273—

товарообращением) существует принципиальная разница. «Товарное обращение не только формально, но и по существу,—говорит Маркс,—отлично ¹⁾ от непосредственного обмена ²⁾». В чем состоит это отличие? Отличие это состоит в том, что при непосредственном обмене мы имеем непосредственную связь обмена одной потребительной ценности на другую, при товарном же обращении, наоборот, мы наблюдаем распадение этой связи. Если в первом случае каждая отдельная потребительная ценность противопоставляется непосредственно другой потребительской ценности в своей натуральной форме, то во втором случае каждая отдельная потребительная ценность противопоставляется многим другим потребительным ценностям в их стоимостной форме через посредство им всем общей и в этом смысле всеобщей формы ценности—через деньги ³⁾.

Дело в том, что исторически развивающийся стихийный обмен веществ (Т—Т), с одной стороны, «разрывает индивидуальные и локальные границы непосредственного обмена продуктами и раз'единяет сросшиеся друг с другом моменты этого обмена» ⁴⁾ и с другой—«разъединяет обмен веществ человеческого труда вообще» ⁵⁾. Об'ективно раз'единение моментов продажи-купли выражается в том, что в развитом товарообмене товаропроизводитель одновременно продает на рынке один какой-либо товар, но одновременно покупает многие другие товары. Здесь «продажа приводит ко многим актам купли различных товаров» (Маркс), к актам, которые обыкновенно реализуются в другом месте и в другое время. Разорванные в пространстве и раз'единенные во времени моменты обмена поэтому нуждаются в какой-то общей форме связи — в постоянно действующем всеобщем эквиваленте обмена. Из общего мира товарных стоимостей, в конце концов, выделяется такой эквивалент. К нему и приравниваются в своем движении все продукты труда, отныне не могущие обмениваться непосредственно.

Но тут необходимо подчеркнуть, что всеобщий эквивалент отделяется от товарного мира и срastaется с определенной вещью, принимая форму денег, в той же самой исторической последовательности, в какой сросшиеся между собою моменты обмена теряют непосред-

¹⁾ Иначе это дело представляет себе Л. С. Милль. Он считает, что простое введение особого вида обмена (денег.—С. Л.), состоящего в том, что сначала вещь обменивается на деньги, а затем деньги обмениваются на какую-нибудь другую вещь, не производит никакого изменения в существенном характере сделок... Вещи, которые при системе натурального обмена обменивались одна за другую при продаже на деньги, непременно будут обмениваться друг на друга, хотя процесс обмена их вместо одной лишь операции будет состоять из двух... Отношение товаров друг к другу останется неизменным, вследствие употребления денег» (Полит. эк., стр. 438—439).

²⁾ Маркс, Капитал, т. I, стр. 82.

³⁾ При чем всеобщая форма ценности здесь обязательно срastaется с какой-либо вещью. До тех пор, пока нет этого сращения, по существу, нет еще и денег, нет стало быть и товарного обращения. Даже в тех случаях, когда формально в истории уже имело место посредственное противопоставление продуктов друг к другу, но если этим посредником был обыкновенный предмет потребления (будь то предмет украшения, скот или даже золото), не обособившийся в монету, не отделившийся еще от своих потребительских свойств, то обмен фактически носил характер непосредственной меновой торговли. Здесь товары хотя и измерили свои стоимости в том или ином эквиваленте, но фактически обменивались еще непосредственно.

Маркс, К критике... стр. 93.

⁴⁾ Маркс, Капитал, т. I, стр. 82.

спешную связь, т.е. возникновение категории денег совершается в такой же мере, в какой мере из натурального хозяйства окончательно выделяются частные производители товаров, занимающиеся исключительно производством продуктов для обмена, т.е. в такой же мере, в какой создается общество свободных товаропроизводителей — товарное общество. А это, в свою очередь, означает, что на рынке начинают функционировать сгустки безразличного человеческого труда ¹⁾. Иначе говоря, труд, создающий продукты для обмена, принимает всеобщий характер, характер человеческого труда вообще, т.е. характер абстрактного труда. Всеобщность труда, создающего продукты для обмена, является, таким образом, выражением изменившегося способа производства, изменившейся социально-экономической структуры человеческого общества. Первоначально нерегулярный и, в значительной степени, случайный обмен избыточных продуктов в пределах натуральной формы хозяйства делается затем всеобщим явлением, становится общественной формой обмена веществ, а общественно-производственные отношения людей принимают форму меновых отношений. Обмен веществ начинает совершаться в форме движения стоимостей, а не движения продуктов. Отсюда всеобщий эквивалент, являясь выражением всеобщности труда, создающего продукты для обмена, представляет собою овеществление абстрактного общечеловеческого труда. При этом, если сам по себе абстрактный труд вообще существует во всех хозяйственных формациях, то формой обмена веществ он делается только в меновом хозяйстве с развитым товарообращением.

Мы пока оставляем в стороне вопрос о противоречивом характере происхождения денег. Здесь важно отметить лишь то, что товарное обращение приносит собою в обмен такое новое качество, которого в непосредственном обмене еще не было. И этим новым качеством является всеобщность, как специфическая общественная форма труда, создающего продукты для обмена, всеобщность, которая овеществляется в деньгах ²⁾. Итак, всеобщность труда выступает в качестве абстракции всеобщности товарного производства, в качестве абстракции буржуазного способа производства, ставшего всеобщим ³⁾.

¹⁾ «Всеобщая форма стоимости, которая представляет продукты труда в виде сгустков безразличного человеческого труда, самым своим построением показывает, что она есть общественное выражение товарного мира. Она раскрывает этот образ, что в пределах этого мира общечеловеческий характер труда есть его специфический общественный характер» (Капитал, т. I, стр. 35; разрядка автора.—С. Л.).

²⁾ «В то время как в непосредственной меновой торговле обмен одной потребной стоимости непосредственно связан с обменом другой потребной стоимости в распределении и отделении друг от друга актов покупки и продажи выступает всеобщий характер труда, представляющего источник меновой ценности» (Маркс, К критике, стр. 89, изд. 1923 г.; разрядка автора.—С. Л.).

³⁾ Рядом с тем, что, когда мы говорим о всеобщности товарного производства, мы надо понимать в относительном смысле. Это надо понимать так, что здесь речь идет о такой степени всеобщности, которая была достаточно, как объективная основа для рождения денег. Надо иметь в виду, что само товарное производство развивается на основе разрушения натурального хозяйства, которое долго существует рядом и вместе с товарным производством, при чем только капиталистический способ производства придает товарному хозяйству характер всеобщности. Сначала оно (т.е. капиталистическое производство.—С. Л.) придает товарному производству характер всеобщности и потом постепенно превращает всеобщное производство в капиталистическое» (Маркс, Капитал, т. II, стр. 10).

В непосредственном обмене еще нет элемента всеобщности труда, ибо там нет еще всеобщности меновых отношений производств. Там, поэтому, еще нет товара, как такового. Там, стало быть, нет еще и стоимости, как определенной формы меновых отношений производства. «Непосредственный обмен продуктов,—говорит Маркс,—с одной стороны, имеет форму простого выражения стоимости, а, с другой стороны, еще не имеет ее»¹⁾.

Там, следовательно, нет еще и денег, как законченной экономической категории товарного общества. Только в товарном обращении стоимость принимает законченную форму меновых отношений производства—форму денег.

Вряд ли есть необходимость останавливаться на этом вопросе более подробно. Принципиальное отличие непосредственного обмена от товарного обращения совершенно очевидно. Это отличие обнаруживается при анализе развития категории товара, вернее: при анализе развития форм стоимости. Именно на основе анализа форм стоимости Маркс определил качественное отличие непосредственного обмена от товарного обращения и тем самым вскрыл сущность как самого товара, так и сущности денег. Количественники же этого отличия не видят, и не видят оного потому, что не понимают форм стоимости. Непонимание же форм стоимости вытекает из того, что они исходят из качественной неизменности менового хозяйства.

Итак, первое положение количественной теории денег: товарное обращение—простой непосредственный обмен продуктами—не верно, так как оно не находит себе подтверждения ни в анализе истории менового хозяйства, ни в анализе повседневной практики товарного обращения, иначе говоря, оно не отображает собою реальной действительности. И поэтому оно не научно. Отсюда логически следует неверность и второго положения: деньги—орудие простого непосредственного обмена продуктов, т.е. неправильность определения сущности денег. Не ограничиваясь, однако, этим формальным выводом, вопрос о неправильности определения сущности денег количественниками мы разберем по существу. Для этого нам придется, хотя бы вкратце, изложить марксово понимание сущности денег и противопоставить его пониманию количественников.

* * *

В чем же состоит сущность денег с точки зрения марксовой теоретической экономики? Поскольку деньги—экономическая категория и поскольку: «экономические категории суть не что иное, как теоретические выражения абстракции общественных отношений производства», постольку сущность денег надо искать в социально-экономическом содержании общественно-производственных отношений менового хозяйства.

Разберемся в этом вопросе.

Прежде всего надо подчеркнуть, что товарное хозяйство—исторически-преходящая форма хозяйства, которая возникает, развивается и исчезает. С точки зрения марксова метода это не гиосеологическая абстракция, а качественно-определенная целостность, живое движущееся единство. Это прежде всего единство противоположностей,

¹⁾ Маркс, Капитал, т. I, стр. 56.

ство, которое движется путем развития внутренних противоречий¹⁾.

В качестве абстракций определенных отношений производства иными выше противоположностями и противоречиями облают и экономические категории. Отсюда раскрыть противоположности экономической категории—значит определить противоположности этого, социальнo-экономического процесса или отношения, которое выражает собою данная категория, т.е. определить действительный характер этого отношения, действительное его содержание, а вместе с тем и раскрыть сущность самой экономической категории. Поэтому раскрыть основные противоположности или иной категории и таким путем добрать до основных законов менового хозяйства составляет главную задачу научного анализа. Именно так поступал Маркс в своем анализе товара.

Марксистская теоретическая экономия для менового хозяйства выделяет следующие основные противоположности. В докпиталистическом товарном хозяйстве: а) с одной стороны,—общественный процесс производства, взятый в целом, то есть общественный характер совокупного труда общества, и б) с другой стороны—частный характер отдельных трудовых затрат. В товарно-капиталистическом хозяйстве те же противоположности, но в модифицированном виде: здесь частные трудовые затраты обобществляются, хотя приращение продуктов продолжает оставаться частным. Но как в том, так и в другом случае частный и общественный моменты противостоят друг другу, как противоположности целого. В категории товара эти противоположности выступают в качестве противоположностей между потребительной стоимостью и стоимостью, между конкретным и абстрактным трудом, и, наконец, между товаром, как воплощением одновременно индивидуального частного и общественного труда, и деньгами, как воплощением общего общественного труда. Иначе говоря, основные противоположности менового хозяйства, взятого в целом, это: частное и общественное начало, т.е. частный и общественный труд.

Взаимодействие и борьба этих противоположностей развертывает общую эволюцию менового хозяйства²⁾. Это, так сказать, генеральная линия движе-

¹⁾ Методологические предположения марксовой теоретической экономии сводятся к следующим положениям.

Возникшая сначала в качестве особого момента предшествующей (натуральной) формы хозяйства, меновое хозяйство потом развивается в самостоятельное целое, которое имеет свою особую форму и содержание, свою особую сущность.

В своем движении меновое хозяйство проходит ряд этапов, ряд качественно различных, но в своей основной сущности тождественных моментов (единство amidst различий). Отсюда натуральный обмен, простое товарное обращение и товарно-капиталистическое обращение суть лишь особые моменты менового хозяйства, взятого в целом.

Движение целого, равно как и движение его моментов, совершается путем перехода различий в пределах неразвитой конкретности, путем перехода различий в противоположности и развитых противоположностей в противоречия. Весь этот процесс есть процесс сичнообразный.

Всё это развитое целое обладает развитыми противоположностями.

²⁾ Частное и общественное, это—вообще основные противоположности, объединяющие собою эволюцию человеческого общества на протяжении всей истории его существования. Эпоха натурального хозяйства (первобытный коммунизм, родовая строй и феодализм), это—длительная эпоха непрерывного (сначала медленного, но потом все ускоряющегося) процесса выделения част-

ния¹⁾. Начавшись в отдаленную эпоху предбуржуазного способа производства,—в эпоху становления товарного хозяйства,—в виде незначительных различий эти противоположности в эпоху империализма достигают наивысшего своего развития и превращаются в неразрешимые противоречия системы менового хозяйства.

Но процесс развития противоположностей системы сам по себе—противоречивый процесс, процесс движения путем скачков. Нарастание и разрешение, разрешение и нарастание новых противоречий в движении основных противоположностей выступает, поэтому, как объективный закон развития менового хозяйства. Сущность этого закона сводится к тому, что противоположности между частным и общественным трудом на определенных ступенях количественного роста элементов менового хозяйства вступают между собою в такие противоречия, которые делают невозможным дальнейшее бытие этого хозяйства без создания новой формы движения противоположностей. Создание же новой формы движения противоположностей знаменует собою возникновение нового качества, в данном случае новых производственных отношений.

Иначе говоря, это—узловые пункты развития товара. Этим узловым пунктам возникновения новых форм движения товара соответствует возникновение определенных экономических категорий. Так, развитие противоположностей между частным и общественным трудом в период натурального обмена привело к противоречию между потребительной и меновой стоимостью, между конкретным и абстрактным трудом (иначе говоря,—к противоречию между индивидуальным производителем товаров на рынок и между неорганизованным буржуазным обществом, как целым). Противоречие разрешилось возникновением категории денег. В деньгах продукт, предназначенный для обмена, получил особую форму своего движения—форму товарного обращения, а людские отношения приняли форму меновых отношений. Развиваясь в этой новой форме движения товара, основные противоположности товарного хозяйства пришли к противоречию между общественным производством и частным присвоением. Это противоречие, в свою очередь, разрешилось возникновением категории капитала. В категории капитала товар вновь получил особую форму своего движения. Вместе с тем, простое товарное хозяйство превратилось в ка-

ного момента, т. е. эпоха распада коллективных форм хозяйства и формирования раздробленных индивидуальных хозяйств. И чем дальше и глубже заходил этот процесс, тем все больше и явственнее обнаруживались противоречия общественного и частного момента. Великий исторический процесс закончился, в конце концов, образованием менового хозяйства. Противоречия коллективного натурального хозяйства были разрешены образованием обособленных индивидуальных хозяйств. Однако эта обособленность немедленно породила свою противоположность — буржуазное общество с его непреодолимой тенденцией к обобществлению. Те же самые противоположности — частное и общественное — продолжают существовать и здесь, но они проявляются в новой форме и на новой основе. Линия движения пошла в обратном направлении: от частного к общественному... Противоречия менового хозяйства получат свое окончательное разрешение только в коммунизме.

¹⁾ «Те противоречия, которые двигают и развивают всю систему общественных отношений и отдельные ее звенья, возникают не в каждой общественной категории, взятой в отдельности, но внутри всей системы, взятой в целом» (Ким—«Вести. Коми. Анаедин» № 11, 1925 г.: Дискуссия о предмете и методе полит. экономии).

стилистическое, а меновые отношения самостоятельных товаропроизводителей приняли форму капиталистических отношений. В свою очередь, движение капитала по исторической прямой породило новое противоречие, противоречие между производством и потреблением, противоречие, которое на основе капитализма уже не может разрешиться появлением новой формы движения товара, т.е. возникновением новой категории. Это противоречие перманентно разрешается и вновь восстанавливается в кризисах все на той же самой основе, которая его породила, т.е. на основе противоречия между общественным производством и частным присвоением.

Сам собою разумеется, что вопрос о противоположностях менового хозяйства здесь интересует нас не сам по себе, а лишь постольку, поскольку он помогает нам выяснить, почему и каким образом из противоречивого движения этих противоположностей возникают экономические категории. В данном случае нас интересует категория денег. Категория денег, стало быть, есть продукт разрешения противоречий между частным и общественным трудом.

Но так как разрешение противоречий внутри данного качества, по существу, не устранение этих противоречий, а лишь нахождение формы движения противоположностей, то Д есть, с одной стороны,—одна из форм исторического движения Т и—с другой—всеобщая форма логического движения Т, т.е. форма товарообращения как таковой. В первом случае деньги возникают как средство обеспечения дальнейшего движения менового общества. Во втором случае возникают деньги выступают в каждом акте движения товаров как средство их обращения. Иначе говоря, в первом случае мы имеем развитие товара и рождение категории денег, т.е. генезис денег, во втором случае—осуществление повседневного движения товара, т.е. функции денег.

Но логическое есть завершенное историческое. Логическое истоем движении воспроизводит все моменты исторического¹⁾. Процесс обращения денег своим «основанием», своей предпосылкой имеет поэтому процесс генезиса денег. Только в генезисе денег вскрывается подлинная их сущность.

Отсюда, чтобы понять, как деньги обращаются, надо прежде всего понять, почему они обращаются. Тот, кто не понял вопроса, почему деньги обращаются, не поймет и вопроса,—как они обращаются, тот, следовательно, не поймет и сущности денег. В таком положении оказались количественники. Не поняв вопроса, почему деньги обращаются, они не поняли и вопроса, как деньги обращаются. Между прочим, и ошибки кризисов, которые по некоторым вопросам денежного обращения приписываются к количественникам (Гильфердинг и др.), вытекают из неадекватно методологически выдержанного понимания сущности денег.

На вопрос о том, почему деньги обращаются, мы уже частично ответили при анализе понятий «непосредственный обмен» и «товарное обращение». Там было отмечено, что Д есть орудие связи раз'единенных моментов обмена купли-продажи и что это Д, как продукт раз'

¹⁾ Человек в утробе матери повторяет весь пройденный путь исторического развития животного мира. Чтобы понять то место, которое человек занимает среди других животных, надо к нему подойти генетически. Точно также надо подойти генетически и к деньгам, чтобы понять их место в ряду других товаров.

единения и средство объединения моментов обмена, является выражением всеобщего характера труда, создающего продукты для обмена. Но там не было показано, почему частный и общественный труд вступили между собою в противоречия и каким образом эти противоречия разрешились возникновением денег. Это с одной стороны. С другой стороны, там не было показано, каким образом происходит непрерывный процесс противоречивого движения частного и общественного труда, — процесс, внешне выражающийся в обращении товаров.

Прежде всего о противоречии, разрешившемся возникновением денег. Это противоречие состояло в том, что продукт частного труда, выступающий на рынке в качестве товара, мог быть обмнен только как часть совокупного общественного труда, т. е. как часть безразличного труда вообще. Продукт, предназначенный для обмена, должен был обладать двумя противоположно направленными моментами: частным и общественным. Как продукт, произведенный обособленным индивидом, он представлял собою результат частного труда. Как продукт, произведенный в обществе с организованым разделением труда и предназначенный для общественного потребления через обмен, он должен был представлять собою результат общественного труда.

До тех пор, пока обмен представлял собою единство купли - продажи и носил чисто-местный, локальный характер, эти оба момента уживались в одном продукте, не вступая между собою в решительный конфликт.

До тех пор продукты могли обмениваться между собою не путем противоречивого движения (перемена формы Т), а путем простого, механического противопоставления. Но поскольку возникал разрыв между актом купли и продажи и поскольку простой обмен продуктов превращался в «обмен веществ человеческого труда вообще», постольку между этими моментами назревали противоречия. Частный и общественный труд, в конце концов, вступили между собою в жестокий конфликт. Дальнейший обмен уже не мог совершаться в форме простого противопоставления конкретных продуктов, продуктов частного труда. Развившийся обмен требовал обособления общественного момента. Конфликт разрешился обособлением меновой стоимости в форме денег. Товар распался на товар и деньги ¹⁾. В деньгах нашел свое внешнее обособление общественный момент. Внутренние противоречия, раздиравшие товар, как целое, нашли свое разрешение во внешних противоположностях Т и Д, в форме которых отныне стало совершаться товарообращение.

По этому поводу Маркс говорит, что «противопоставление товара и денег служит абстрактной и всеобщей формой всех противоречий, заключенных в буржуазном труде ²⁾. Таким образом, отноше-

¹⁾ «Исторический процесс расширения и углубления обмена развивают дремлющие в товарной природе противоречия между потребительной стоимостью и стоимостью. Потребность дать для оборота внешнее выражение этим противоречиям заставляет искать самостоятельные формы для воплощения товарной стоимости и не дает покоя до тех пор, пока задача эта не решается окончательно путем раздвоения товара на товар и деньги. Следовательно, в той же самой мере, в какой осуществляется превращение продукта труда в товар, осуществляется превращение товара в деньги» (Капитал, т. I, стр. 56. Разрядка наша. — С. Л.).

²⁾ Маркс, К критике..., стр. 93, изд. 1923 г.

ТД является формой основных противоположностей и всех противоречий между частным и общественным трудом. А так как положение частного и общественного труда в форме ТД представляет собою лишь различные моменты вещественного выражения общественных отношений производства, то, следовательно, единственно отношение ТД являются всеобщей формой общественных отношений менового хозяйства, взятого в целом.

Из диалектической природы отношений Т и Д следует, что их развитие совершается путем взаимного проникновения противоположностей путем постоянного перехода одного полюса в другой. В этом движении Т постоянно переходит в Д, и обратно. Движение Т и Д, как было отмечено выше, есть форма движения частного общественного труда. Поэтому переход частного труда в общественный совершается в форме движения Т и Д, т.е. в форме диалектического проникновения противоположностей Т и Д.

А отсюда следует то положение, что частный труд есть только общественный труд, а общественный труд в свою очередь содержит в себе превращенные элементы частного труда. Эти дела, таким образом, сводятся к тому, что двойственностью обладает не только буржуазный труд вообще, но и каждый из его полюсов. Ибо только благодаря двойственности самих полюсов возможно осуществление единства противоположностей. Именно потому, частный труд в момент превращения его в общественный, обнаруживает одновременно и свой частный, и свой общественный характер. Эта двойственность полюсов частного и общественного труда в условиях натурального обмена продуктов не могла быть проявлена во внешних противоположностях. Она получила возможность проявления лишь в условиях товарного обращения, т.е. в условиях противопоставления отдельных продуктов своей всеобщей форме—форме денег. Деньги, таким образом, являясь инструментом проявления заложенных в товаре противоречий и формой проявления их противоположностей.

Из всего сказанного выше логически вытекает, что в развитом обществе бытие отдельного индивида целиком обусловлено бытием этого общества и обратно (взаимное проникновение противоположностей)¹⁾.

И в этом отношении, в какой мере общество обуславливает проявление общественного бытия частного индивида, в такой же мере деньги обуславливают общественное проявление частного труда. Ибо только при помощи денег, как всеобщего эквивалента, воплощения общечеловеческого труда, делается возможным

¹⁾ Индивид противопоставляется обществу, не как часть целому, а как его противоположность, как его полярность. Индивид—не только частное лицо, но одновременно и общественное. Поэтому его частный труд в скрытом состоянии есть одновременно и общественным трудом. Будучи рав'еднен и оторван от общества частной стороной своего труда, индивид объединяется с ним общественно-общественной стороной. И момент этого объединения есть момент проявления общественного труда, момент связи индивида с обществом, связи, которая устанавливается в момент Д.

включение непрерывного потока частного труда в общий—общественный. Но, включая частный труд в общественный, деньги тем самым включают обособленного индивида в общество, т.е. связывают его определенной общественной связью. Благодаря этому включению осуществляется единство полюсов товарного хозяйства и этим самым осуществляется реализация общественно-производственных отношений. Общественная роль денег, таким образом, сводится к функции проявителя отношений производства.

Таким образом, в товарном обществе деньги являются организаторами стихийного процесса обмена веществ, а вместе с тем и организаторами людских отношений. В этом заключается сущность денег с точки зрения социальной их характеристики.

* * *

Как это мы видели выше, в товарном обществе обмен веществ Т—Т не может осуществляться без перемены формы Т. Перемена же формы Т есть его движение при помощи эквивалента Д. Но движение Т есть движение товарного общества, как целого. В этом смысле Д есть форма движения товарного общества. «Деньги выступают для продавца товара, как превращенная форма Т, и движение денег, как средства обращения, есть поэтому, в действительности, лишь движение формы его товара», говорит по этому поводу Маркс.

Однако, в качестве самостоятельной «обособившейся» экономической категории, деньги имеют свое собственное, хотя и зависящее от Т, движение, а потому и свою собственную форму и содержание. Исчерпывающее определение категории денег с этой стороны мы находим у Маркса. «Деньги,—говорит он,—выступают, как простое орудие обмена товаров, но не как орудие обмена вообще, а как орудие обмена, отмеченное процессом обращения, т.е. как орудие обращения»¹). С точки зрения формы деньги—«простое орудие обмена товаров». И в этом отношении, т.е. с формальной стороны, совершенно нельзя отличить, являются ли деньги только «орудием обмена вообще» или же они суть «орудие обращения». Отличие можно установить только при рассмотрении содержания. С точки зрения содержания деньги—«орудие обмена, отмеченное обращением». Что это означает? Это означает то, что золото обращается в качестве орудия обмена товаров только потому, что оно когда-то обращалось в качестве простого товара. В этом смысле золото, как и всякий иной товар, обладает трудовой стоимостью, а поэтому абстрактный труд является основой сущности денег, основой их содержания. Но исторически золото-товар делается деньгами только тогда, когда оно на своей эквивалентно-стоимостной основе начинает выступать в качестве всеобщего мерила товарных стоимостей. Ибо первая функция товара-денег, которую он проявляет в качестве «самостоятельной» категории, состоит в том, «чтобы доставлять товарному миру материал для выражения его стоимости... Товар-золото функционирует, таким образом, как всеобщая мера стоимостей. Сначала только в силу этой функции золото делается деньгами»²). Спрашивается, почему

¹) Маркс, К критике..., стр. 93, изд. 1923 г.

²) Маркс, Капитал, т. I, стр. 63.

функция мерил стоимостей является первой и основной функцией денег? Потому, что «деньги как мера стоимостей лишь необходимая форма проявления нимаиентной товарам меры стоимости, рабочего времени»¹⁾.

Движение Т—Т без перемены формы движения Т, а перемена формы без «проявления нимаиентной товарам меры стоимостей», осуществиться не может. Движение Т—Т осуществляется в форме Д лишь постольку, поскольку Д есть форма проявления «нимаиентной товарам меры стоимости». Отсюда общественное свойство золота-денег, отличающее его от всякого другого товара, состоит в том, что оно является мером стоимости. А из этого следует, что тот товар, который не может быть мерилом стоимости, не может быть и деньгами (правда, не всякий товар, который по тем или иным причинам может выступать в качестве мерил стоимости, является деньгами. См. выше-указанное о сращении всеобщей формы стоимости с определенной ищью). В этом, отличном от других товаров, общественном свойстве товара-золота быть мером стоимостей и заключается содержание денег. Равно как в его монетном выражении выступает форма денег.

При этом, если форма денег выражает собой лишь внешнее отношение денежного знака к товару, то содержание денег выражает собою внутреннее отношение стоимостей, заключенных в товаре и деньгах. Внешнее отношение дензнаков к товарному миру находит свое выражение в функции орудия обмена. Внутреннее же отношение стоимостей, заключенных в деньгах и товарах, находит свое выражение в функции мерил стоимости. В первом случае выступает функциональная сторона категории денег, во втором случае—субстанциональная. Только в единстве функциональной и субстанциональной стороны (формы и содержания) деньги проявляют свою сущность.

Между тем количественники ограничивают сущность денег только функциональной стороной определения, т. е. формой. Субстанциональная же сторона, т. е., содержание денег, у них выпадает. Не понимая двойственности циркуляционного труда и его диалектического единства, количественники исторически противопоставляют момент производства моменту обращения денег. Такое противопоставление приводит к искусственному разрыву этих моментов. А поэтому орудие обмена у количественников выступает, как орудие обмена вообще, но не как орудие обмена, «отмеченное обращением», т. е. как техническое средство обмена продуктов, но не как превращенная форма движения товара.

При чем игнорирование функции мерил стоимости вовсе не исходит, как у номиналистов, из отрицания субстанции стоимости денежного материала. Наоборот, несмотря на признание стоимости основы денег, количественники-классики пришли к игнорированию функции мерил стоимости. Игнорирование субстанциональной стороны категории денег явилось у количественников-классиков не случайной, в следствии их анализа денег. Как могло это случиться? Это случилось только потому, что они содержание денег подменяли формой, сущность—явлением, качественный момент—количественным и деньги свели к орудию обмена вообще. Сведя же деньги

¹⁾ Маркс, Капитал, т. I, стр. 63.

к орудию обмена вообще, количественники тем самым разорвали форму и содержание, выхолостили у денег их душу, превратили их в символы товарных стоимостей (или товарных цен).

Любопытно в этом отношении отметить то обстоятельство, что и марксист Гильфердинг скатывается к количественникам именно в том пункте своей теории денег, где он начинает извращение толкования основной функции денег—функцию мерил стоимости, где он начинает ее истолковывать с точки зрения количества, а не качества, т.е. где он качественный момент начинает поднимать количественным, а отсюда приходит к выводу о возможности в качестве мерил стоимости иметь и неполноценные деньги. Так, например, Гильфердинг считает, что 1) при золотом обращении, в условиях соблюдения законной пропорции бумажных денег относительно золотых, они являются представителями золота; 2) при чистом же бумажно-денежном обращении (равно как и при закрытой чеканке) они являются представителями товарной стоимости и в этом смысле выступают в качестве орудия мерил стоимости. Но Гильфердинг здесь только повторяет то, что задолго до него было сказано Рикардо¹⁾.

Однако бумажные деньги в условиях чистого бумажно-денежного обращения являются представителями ценности тех реальных денег, которые должны обращаться на рынке. Ибо «отсутствие золота—как справедливо замечает Лившиц—в качестве циркуляторных денег совсем не уничтожает объективно регулирующего значения его ценности. Оно продолжает объективно служить этим мерлом ценности, проявляя свою ценность через бумажные деньги, общую ценность которых оно регулирует»²⁾.

Деньги вступают в стоимостные отношения с товарами только потому, что они сами обладают стоимостью. Без собственной стоимости никакая вещь не может стать мерлом стоимости, а стало быть и деньгами. Вот почему, например, в эпоху военного коммунизма, когда товарным обращением отсутствовало золото, мерлом ценности служил просто товар (хлеб, соль и т. д.), и именно товар, как воплощение общественного труда, а не какая-нибудь «пустышка», не какой-нибудь «знак». И напрасно Гильфердинг упрекает Маркса за его «обходный путь» определения стоимости бумажных денег, доказывая в то же время «целесообразность» выведения этой стоимости «из общественной стоимости обращения». Этим самым Гильфердинг знаки стоимости—бумажные деньги—отрывает от золотого обращения, противопоставляя их непосредственно товарной массе, придает им функцию мерил стоимости. Но этим самым он целиком скатывается к количественникам. Недопустимую ошибку методологического порядка делают и те экономисты (из марксистов), как Трахтенберг, Варга и другие, которые считают количественную теорию денег правильной в отношении бумажных денег, но неверной в отношении полноценных денег. Этим самым они признают, что знаки стоимости—бумажки—суть тоже деньги. Но они забывают, что и золото, в качестве орудия обращения, тоже «символические деньги», тоже знаки стоимости. Сказав А, они должны были бы сказать и Б, если бы они были последовательны, т.е. признав правильность количественной теории в отношении символов—бумажек, они должны были бы признать ее правильность и в отношении символов — металлических знаков. Так поступил,

¹⁾ Рикардо, Сочинения, стр. 402.

²⁾ Лившиц, «Под Знаменем Марксизма» № 8—9, стр. 231—243, 1924 г.

жду прочим, Лившиц в вопросе о покупательной силе денег. Приняв правильным понятие покупательной силы денег в отношении знаковой ценности, он вынужден был распространить это понятие и на изъятые деньги, т. е. на деньги вообще, но тем самым тов. Лившиц затесался к количественникам (см. об этом ниже).

Гильфердингу все же надо отдать справедливость. Построив свою теорию денег на опыте австрийского денежного обращения, он вынужден был признать, что «чисто-бумажные деньги, в конце концов, оказываются невозможными», потому что «обращение подвергается бы постоянным пертурбациям», так как не могло бы быть гарантией, что государство не стало бы увеличивать произвольно количество бумажных денег, так как золото всегда необходимо, как средство сбережения богатства в такой форме, что его во всякий момент можно использовать, так как без золотых денег нельзя производить международные расчеты и т. д. Однако, отрицая возможность чисто-бумажно-денежного обращения практически, Гильфердинг допускает эту возможность теоретически. И в этом заключается его коренная методологическая ошибка. Несомненно, что эта ошибка у Гильфердинга исходит из неправильного понимания товарности денег (сведение его к простому товару), а последнее — из неправильного понимания абстрактного труда. А все это вместе взятое вытекает из ревизионистской установки на предмет исследования — меновое хозяйство. Гильфердинг попытался подвергнуть ревизии основное методологическое положение Маркса, состоящее в том, что капитализм управляется стихийными законами, лежащими в основе простого товарного хозяйства. Гильфердинг попытался ограничить эти стихийные законы допущением известного минимума для капитализма) элементов сознательного регулирования. Это он сделал в отношении чисто-бумажно-денежного обращения. «Общественный характер денег, — говорит Гильфердинг, — непосредственно обнаруживается здесь как таковой в общественном регулировании государством» («Финансовый капитал»). Однако Гильфердинг забывает, что, во-первых, «общественное регулирование государства» есть только внешнее выражение регулирования менового хозяйства стихийным движением стоимостей, во-вторых, что это стихийное движение стоимостей принципиально невозможно без перемены их формы, т. е. без функции меры стоимости. А, забыв это, Гильфердинг в теории денег благополучно пришел к вульгарному пониманию ценности денег, какое проявляют в этом отношении количественники, с одной стороны, и номиналисты — с другой.

Подводя некоторый итог в отношении определения сущности денег количественниками, можно сделать следующее заключение.

Количественники понимают, что деньги — товар, но они не понимают, что это товар особого рода, товар с особым общественным хозяйством. Они видят в нем тождество с другими товарами, но не видят существующего различия.

Количественники понимают, что деньги — товар, но они не понимают, каким образом и почему определенный вид товара на известной исторической ступени менового хозяйства делается деньгами.

Количественники понимают, что деньги — орудие обмена, но они не понимают, что это не просто орудие обмена, а орудие обмена, «отличающееся обращением», т. е., что это — форма движения товарных стоимостей.

Количественники понимают, что деньги — средство облегчения

обмена, но они не понимают, что обращение товаров без денег принципиально невозможно, т.е., что деньги — имманентное у товаров средство их обращения (как средство меры стоимостей).

И всего этого количественники не понимают только потому, что им чужда вообще точка зрения развития, точка зрения генезиса менового общества, а вместе с тем и точка зрения генезиса категорий товара, точка зрения развития путем противоречий.

Из всего вышесказанного о сущности денег, с точки зрения марксова метода, вытекают следующие выводы: 1) Генезис буржуазного способа производства есть в то же время генезис товара, а генезис товара одновременно есть генезис денег. 2) Существование денег (сущность), как единства функции меры стоимостей и функции обращения, целиком обуславливается существованием (сущностью) буржуазного способа производства. 3) Сущность же буржуазного способа производства сводится к тому, что индивидуальные товаропроизводители (или капиталопроизводители) могут реализовать свои частные продукты труда только путем включения их в общий общественный продукт, т.е. реализовать их, как части совокупного общественного продукта — противоречие, которое может быть разрешено только при помощи денег. 4) Отсюда сущность денег состоит в том, что они а) осуществляют реализацию частного труда, включая его в общественный, а вместе с тем и реализацию общественных отношений производства, включая отдельные индивидуумы в общество; б) что они эту реализацию осуществляют в качестве орудия меры стоимостей, и в) что мерой стоимостей деньги являются только потому, что сами они обладают стоимостью.

А отсюда с совершенной очевидностью следует, что до тех пор, пока существует буржуазный способ производства в его качественной определенности, как товарное обращение, в основе которого лежит противоречивое движение противоположностей между частным и общественным трудом, до тех пор будут существовать и деньги в их качественной определенности, как мера стоимостей и средство обращения. До тех пор все попытки свести сущность денег к их функции орудия обращения, а стало быть к знакам ценности, будут обречены на полную неудачу. Ибо, как бы ни была высоко развита монополизация капиталистического производства, в какой бы степени кредитная система ни выступала со своими «фикциями» обращения и прочими ограничениями золотого обращения, все равно, до тех пор, пока не будут абсолютно разрешены противоположности между общественным производством и частным присвоением, или, что то же самое, между частным и общественным трудом, до тех пор капиталистическое хозяйство не сможет выпрыгнуть из своей собственной скорлупы, не сможет выйти за свои собственные пределы — товарообращения. А в пределах этого обращения не может быть движения товаров без «золотой искры», без основы этого движения — меры стоимостей.

Что знаки ценности не могут самостоятельно выполнять таких общественных функций, как, скажем, функции меры стоимости, функции сокровища, функции платежа, что они вообще не могут флюктуировать, а стало быть и являться общественным орудием организации массового процесса, это обнаруживается не только во время

кризисов и инфляционных периодов в хозяйстве, но и в нормальное время—в международном товарообороте¹⁾.

В качестве иллюстрации к сказанному о знаках ценности возьмем уны, ну, хотя бы, в функции сокровища, и посмотрим, насколько существенную функцию денег может выполнять знак стоимости. Но такое сокровище с точки зрения обращения Д? Сокровище—это прежде всего перерыв метаморфозы Т—Д. Но перерыв метаморфозы Т—Д есть, по существу, не что иное, как превращение монеты в деньги, но, как говорит Маркс, «сама монета становится деньгами, если ее движение прерывается»²⁾. Деньги, которые в обращении обособляются, как монета, как знак стоимости, в сокровище вновь проявляют себя, как деньги: как всеобщий эквивалент, как абстрактное богатство, т.е. как овеществление абстрактного труда. Следовательно, в функции сокровища могут выступать только полиценные деньги, т.е. деньги в полном смысле этого слова.

И не случайно то, что у количественников функция сокровища совсем выпадает с поля зрения или принимает своеобразное выражение. Так, например, у Рикардо функция сокровища в его теории денег совершенно отсутствует. По Д. С. Миллю сокровище это совершенно бесполезная общественная функция денег. У Фишера же понятие сокровища сводится к замедлению движения денег в обмене. Вообще говоря, для количественников характерно то, что они отрицают регулирующую функцию денег в обращении роль сокровища. И все это, конечно, объясняется тем, что у количественников деньги—знаки стоимости. Для знаков же стоимости характерно, что они, раз вошед в обращение, обратно не возвращаются.

Общественная роль функции сокровища по Марксу сводится к стихийному регулированию циркулирующих денежных масс. Сокровище является резервуаром обращения, в котором оседают излишки денег и из которого черпается недостающее в обращении количество денежных масс³⁾. Роль стихийного регулятора количества обращающихся денежных масс не полноценные деньги выполнять не могут, уже, так бы, по одному тому, что они по законам обращения знаков стоимости, раз вступив в каналы обращения, обратно не возвращаются.

У количественников (Рикардо и Фишер) действительно все деньги входят в обращение, и поэтому функция сокровища в их теории денег отсутствует. Это обстоятельство вполне увязывается с пониманием денег как знаков стоимости, но это никак не увязывается с реальной действительностью. Знаки стоимости — не деньги, а деньги—не знаки стоимости.

В отношении сущности денег количественная теория также не соответствует действительному положению вещей, как и в отношении понимания

¹⁾ И не даром Д. С. Милль полагает, что знаки стоимости могут быть функцией обращения только внутри данной страны. Что же касается международного товарооборота, то он должен быть обеспечен полноценными деньгами. Здесь Д. С. Милль проявил ту «гениальную догадку» в отношении сущности денег, которую все же разгадать не смог благодаря пониманию денег, как простого товара.

²⁾ Маркс, К критике полит. экономии, стр. 128, изд. 1923 г.

³⁾ «Чтобы действительно циркулирующая денежная масса наполнила всегда форму обращения до надлежащей степени насыщенности, количество золота и серебра, находящегося в каждой стране, должно быть больше того, что требуется для фактического выполнения монетной функции. Это условие выполняется благодаря превращению денег в сокровище. Резервуары, в которых деньги накапливаются как сокровище, служат в то же время отводными и приводными каналами для находящихся в обращении денег» (Капитал, т. I, стр. 102—103).

ею менового хозяйства, которое она не правомерно сводить к натуральной форме обмена.

Основная методологическая ошибка количественников состоит в том, что они не признают принципиальной изменчивости менового хозяйства. А поэтому они не признают и исторических этапов этого хозяйства: 1) непосредственный безденежный обмен, 2) простое товарно-денежное хозяйство и 3) товарно-капиталистическое, как этапов, отличающихся друг от друга некоторыми качественными особенностями. Это с одной стороны. С другой же стороны, развитие менового хозяйства для них тождественно простому количественному росту натуральных элементов, во-первых, без какой бы то ни было принципиальной изменчивости, во-вторых, без какого бы то ни было внутреннего противоречия. Для них товарообращение отличается от простого натурального обмена не качеством, а лишь своим количеством, поэтому в основном оно с ними совпадает. Введение в товарообмен денег ничем существенно его не изменяет.

Отсюда количественники не понимают и генезиса буржуазного способа производства, а вместе с ним и генезиса товара, а также товарной сущности денег. Непонимание же сущности денег приводит (одних к искажению, других к отрицанию субстанциональной стороны денег, а вместе с тем и к сведению денег к знакам товарной стоимости со всеми отсюда вытекающим ошибками: зависимость ценности денег, а также и цен товаров от количества денежного материала, отрицание (или искажение) регулирующей количества денег в обращении роли сокровища и т. д.

V. Так называемая „покупательная сила денег“ в свете теории ценности Маркса.

Выдвинутое в свое время Юмом, а потом весьма детально разработанное Фишером понятие покупательной силы денег, основанное на том положении, что товары вступают в обращение без цены, а деньги без ценности, вряд ли представляет собою большой методологический интерес, так как оно своей предпосылкой имеет отрицание в товарах и деньгах трудовой стоимости. Гораздо больший интерес с этой стороны представляет понятие покупательной силы денег, развитое Рикардо — Миллем и поддерживаемое ныне некоторыми марксистами, так как оно своей предпосылкой имеет признание трудовой стоимости в товарах и деньгах, а поэтому имеющее близкое касательство к марксистской политической экономии. Мы поэтому считаем целесообразным сосредоточить свое внимание лишь на понимании покупательной силы денег Рикардо—Милля и некоторых нынешних его сторонников из марксистов.

Понятие «покупательной силы денег», с точки зрения количественников-классиков, непосредственно вытекает из понятия «ценности денег». «Ценность денег обозначает то, за что деньги будут обмениваться, т. е. покупательную силу денег», — говорит по этому поводу Дж. Ст. Милль ¹⁾. Отсюда понятие покупательной силы денег следует разбирать под углом зрения ценности денег вообще. И Рикардо и Милль в основном одинаково понимают ценность денег и в основном одинаково определяют покупательную их силу. Поэтому в дальнейшем мы будем говорить о ценности денег Рикардо—Милля, как об единой концепции.

¹⁾ Дж. Ст. Милль, Политическая экономия, стр. 343.

И Рикардо, и Милль исходят из совершенно правильной предпосылки, определяя ценность денег, как и ценность всякого другого товара, количеством рабочего времени, в нем оуществленного¹⁾ или, как выражается Милль, «стоимостью производства». Исходя из этой предпосылки, Рикардо в начале своего анализа денег делает целый ряд совершенно правильных выводов. В согласии с развитой им теорией относительной стоимости он, например, считает, что при помощи денег, как товаров, имеющих определенную внутреннюю ценность, измеряется ценность других товаров. И далее, количество орудий обращения определяется, с одной стороны, ценностью единицы денежной меры, а, с другой, суммой меновых ценностей товаров²⁾. В силу этого положения простые знаки ценности, выпущенные в пропорции, определенной по ценности денег, могут заступить их в обращении и свою ценность измеряют ценностью золота, которое они представляют. Иначе говоря: ценность денег дана ценами товаров, знаки же ценности суть знаки определенного количества золота, а лишние субстанциональной стоимости представители товаров, как это имеет место у Юма—Фишера.

Казалось бы, что Рикардо, исходя из этих методологически выданных выводов, сделанных им на первых шагах своего анализа денег, должен был бы сделать дальнейшие выводы и построить правильную научную теорию денег. Рикардо должен был бы прежде всего внести функцию мерил стоимости и—раздельно от нее—функцию обращения, а вместе с тем развить самостоятельно теорию бумажно-денежного обращения. На основе этих двух функций Рикардо должен был бы вывести далее функцию сокровища, функцию платежа и, наконец, функцию мировых денег. Однако этого он не сделал и с задачей построения теории денег не справился.

Неожиданный «поворот к противоположной точке зрения» Рикардо делает в вопросе о взаимоотношении Т и Д в обмене, в вопросе, который у него превращается в вопрос о том, в каких отношениях между собою находятся ценность денег и постоянно изменяющееся их количество. Здесь Рикардо, подобно Дж. Ст. Миллю, приходит к выводу, что ценность денег определяется не только «стоимостью производства», но и спросом и предложением денег, а это, как мы увидим ниже, равносильно тому, что она определяется количеством денег, находящихся в обращении. Само же количество денег может быть произвольно изменено в ту или иную сторону как соответствующей расправой промышленности (производство золота), так и государством (производство банкнот).

Ход мыслей Рикардо—Милля в отношении определения ценности денег, а вместе с этим и покупательной их силы, сводится, примерно, к следующему. Товарное обращение—натурализованный обмен. Движение Т в этом обмене совершается в форме относительной стоимости. Д—простой товар, употребление которого в обмене совершенно не изменяет существовавших в натуральном обмене отношений Т. Д, следовательно, подвержено тем же законам обмена, что и всякий иной товар.

¹⁾ «Золото и серебро, подобно другим товарам, имеет внутреннюю ценность» Рикардо, Сочинения, стр. 227).

²⁾ См. об этом у Маркса, К критике...

и ценностью его как орудия обращения, вследствие известного рода неслаженности механизма товарообмена, устанавливается противоречие. Ценность денег в обращении постоянно отклоняется от своего трудового содержания. Однако это противоречие уничтожается противоположно направленными движениями повышения и понижения ценности товаров и ценности денег, движениями, в результате которых происходит процесс ценообразования. Конфликт находит свое разрешение в уровне цен, а свое выражение — в покупательной силе денег. Соответственно этому процессу ценообразования Рикардо устанавливает своеобразный механизм, регулирующий ценность денег¹⁾.

Формально, механизм этого регулирования выражается:

1. Для международного товарооборота — в постоянном приспособлении золота к своему курсу, т.е. в постоянном стремлении к сохранению одинаковой пропорции между товарными и денежными массами разных стран.

2. Для внутреннего товарооборота — в приспособлении золотопромышленности (или банкового производства банкнот) к спросу на денежный товар, что выражается в расширении и сокращении производства денежного материала.

По существу же механизм регулирования ценности денег (и для внутреннего и для международного обращения) сводится к тому, что постоянно возникающие отклонения ценности золота в обращении, как следствие стихии рынка, в конечном счете все же регулируются трудовым содержанием его производства²⁾. Но у Рикардо получается так, что, регулируя свою собственную ценность, деньги тем самым регули-

¹⁾ Изложение механизма ценообразования и ценности денег делаем по Марксу. См. «К критике».

²⁾ Рикардо: «Если богатство одной нации возрастает быстрее, чем богатство других, то первое будет нуждаться в более значительном количестве мировых денег и действительно приобретет его. Торговля, товары, платежи этой нации увеличатся, и все мировое денежное обращение распределится соответственно новым пропорциям».

«Равновесие между данной страной и другими восстановилось бы единственно благодаря вывозу известной части монеты».

Но «никто не ввозит и не вывозит слитков без того, чтобы заранее не установить высоту вексельного курса. Только при помощи вексельного курса обнаруживается относительная ценность слитков в двух различных странах, относительно которых она определяется». И дальше: «Деньги отдельной страны распределяются между ее различными провинциями по тем же самым правилам, по каким деньги всего мира распределяются между различными нациями».

При чем в основе этого перераспределения денежных масс лежит закон спроса и предложения, который регулирует производство денежного материала, а стало быть и его ценность: «Если бы в какой-либо из этих стран был открыт золотой рудник, то ценность средств обращения этой страны понизилась бы, вследствие увеличения количества поступивших в обращение драгоценных металлов... Подчиняясь закону, регулируемому все отдельные товары (закону спроса и предложения. — С. Л.), золото и серебро в монете или слитках сделались бы немедленно предметом вывоза».

Но — «Если бы вместо открытия рудника в какой-либо стране был организован банк, подобно английскому банку с правом выпуска своих банкнот в качестве средств обращения, то после большого выпуска их... наступили бы те же последствия, как и в случае открытия рудника. Средства обращения понизились бы в ценности, а ценность товаров пропорционально повысилась бы. Равновесие между данной страной и другими восстановилось бы единственно благодаря вывозу известной части монеты».

Точно также и равновесие между отдельными районами данной страны восстановилось бы путем сокращения производства денежного товара.

(Цитир. по хрестоматии — ст. Эвентова, Высокая цена слитков, стр. 89—

и цены товаров, являясь, таким образом, активным ценообразующим фактором.

Механизм ценообразования, а вместе с тем и механизм регулирования ценности денег, схематически можно представить в следующем. Берем исходное положение Рикардо, состоящее в том, что «при равной стоимости золота, количество обращающихся денег определяется простой меновой стоимостью обращающихся товаров» (Маркс). Исходя из этого методологически бесспорного положения, делаем в духе рассуждений Рикардо предположения:

1. Сумма меновых стоимостей товаров уменьшится—а) по причине производства меньшего количества товаров прежней стоимостью, б) по причине увеличения производительности труда, когда та же масса товаров включает меньшую меновую цену.

2. Сумма меновых стоимостей увеличивается—а) когда: при неизменности издержек производства увеличивается количество товаров, б) когда: вследствие уменьшения производительности труда возрастает его количество.

Вопрос: что сделается с данным количеством обращающегося металла? Если исходить дальше из другой предпосылки Рикардо, именно, что «золото — деньги только потому, что оно обращается, как орудие обращения, и если оно принуждено оставаться в обращении, как вышедшие государством бумажные деньги с принудительным курсом» (Маркс; разрядка наша.—С. Л.).

Тогда: в первом случае—количество денег будет выше по отношению к меновой стоимости металла; во втором—ниже.

Отсюда: а) в первом случае золото стало бы знаком мерилла с бо́льшей стоимостью, чем его собственная; б) во втором—знаком менее высокой стоимости.

А это значит: а) в первом случае золото, как знак стоимости, было бы постоянно ниже; б) во втором—постоянно выше своей собственной стоимости.

Иначе говоря: а) в первом случае происходит то же самое, как и бы товары оценивались мериллом более низким; б) во втором—бо́льшей стоимостью.

Поэтому: а) в первом случае цены товаров возросли бы; б) во втором—упали бы.

Но: «В обоих случаях движение цен товаров (возвышение или падение) было бы следствием сжатия или уменьшения массы обращающегося золота выше или ниже уровня, соответствующего его собственной стоимости; то есть нормального количества, которое определяется отношением между его собственной стоимостью и стоимостью находящихся в обращении товаров» (Маркс; разрядка наша.—С. Л.).

Другими словами: ценность денег в обращении колеблется вокруг прежней их стоимости; при чем товары измеряются не этой внутренней стоимостью денежного материала, а той ценностью, которую деньги имеют в обращении, т. е. покупательной силой денег. А это как раз значит, что товары выступают в обращении без цены, а деньги—без стоимости. Ибо, какое бы «регулирующее действие» внутренняя ценность

денег на их внешнюю ценность, т.е. ценность в обращении, ни оказыва, остается неопровержимым факт, что по Рикардо она непосредственного отношения к ценам товаров не имеет и мерилом ценности не является. Мерилом ценности оказывается стоимость денег, или так называемая «покупательная их сила», которую они якобы получают в обращении. Если далее считать, что деньги в качестве орудия обращения выступают в форме знаков ценности, то по Рикардо получается, что знаки ценности могут быть мерилом стоимости товаров. Как раз в этом пункте, как мы видели выше, Гильфердинг приходит к Рикардо, но... отходит от Маркса.

• • •

Роковым вопросом для Рикардо - Милля является, несомненно, вопрос о взаимоотношениях Т и Д. Исходя из той методологической предпосылки, что товарное обращение тождественно непосредственному обмену, они считают, что Д есть простой товар, а его движение тождественно движению Т. Но Рикардо-Милль, как это было уже показано выше, упускает из виду то, что товарное обращение принципиально отлично от непосредственного обмена, а поэтому и отношение Т—Д, как товаров (в товарном обращении), только формально тождественны с отношениями простых товаров (в непосредственном обмене), но по существу же глубоко от них отличаются. Вместе с этим количественники «упускают из виду и то, что золото, рассматриваемое просто, как товар, «еще» не есть деньги» ¹⁾, равно как деньги, рассматриваемые в условиях товарообращения просто как золото, «уже» не только товар, а товар особого свойства. Деньги включают в себя оба эти момента: как то, что золото просто товар, так и то, что золото больше, чем простой товар. Двойственность товара - золота: как просто товара и как товара-денег, с одной стороны, является выражением двойственности буржуазного труда вообще, с другой же стороны,— сама выражается в двойственности меновых отношений Т и Д. Иначе говоря, отношения Т и Д, с одной стороны, суть простые товарные отношения (и в этом смысле их меновые ценности выражаются в форме относительной стоимости) ²⁾, с другой стороны—это отношение поляризованных товаров, где Д выступает, как «отчужденный образ всех других товаров» (Маркс), как всеобщий эквивалент и всеобщая мера стоимостей, т.е. как превращенная форма движения Т ³⁾ (и в этом смысле меновые ценности Т и Д выражаются во всеобщей форме стоимости, т.е. в форме абсолютной стоимости).

Для количественников-классиков существуют только простая относительная форма стоимости, а вместе с тем и простые меновые отношения Т и Д. Для них непонятно то, что в деньгах мы имеем модификацию относительной стоимости в абсолютную.

¹⁾ Маркс, Капитал, т. I, стр. 74.

²⁾ «Как и всякий иной товар, золото может выразить величину своей собственной стоимости и лишь относительно, в других товарах... Такое установление относительно величин стоимости золота фактически совершается на месте его производства, в непосредственной меновой торговле» (Капитал, т. I, стр. 61).

³⁾ Двойственность отношений Т и Д показывает собою, что товарное обращение не упраздняет простых меновых отношений, но их включает в свою систему движения, при чем оно сохраняет эти отношения для Т и Д, а не для Т—Т. В силу денежной формы стоимости отношение Т—Т выступает только в форме абсолютной стоимости, но отношение Т и Д выступает и в форме относительной, и в форме абсолют-

Между тем, из того положения, что Д не есть простой товар, а наличие всеобщего мерил ценности есть превращенная форма товара, вытекает другое положение, которое коренным образом меняет дело. Из этого положения логически вытекает, что движение Д необходимо от движения Т и что Д во взаимодействии его с Т играет активную, а не пассивную роль¹⁾.

Если это положение логически развернуть, то мы получим совершенно иные выводы, чем это сделали классики.

Во-первых. Если взять Т и Д с той точки зрения, что они являются лишь простыми товарами, то между ними устанавливаются простые меновые отношения, отношения непосредственного обмена. Эти отношения существуют в обмене товара на золото у истоков его производства²⁾. Здесь в результате действия закона простого обмена (взаимодействия трудового содержания стоимости и спроса-предложения) устанавливается цена товара и ценность денег. «В этом меновом отношении может выразиться как величина стоимости товара, так и тот плюс или минус по сравнению с ней, которым сопровождается суждения товара при данных условиях»³⁾. Точно так же в этом меновом отношении устанавливается как величина стоимости денег, так и тот плюс или минус по сравнению с ней, который сопровождается суждением денег при данных условиях непосредственного обмена.

Но, начиная с этого момента, оно (золото.—С.Л.) занимается лишь тем, что непрерывно выражает в себе реализованные цены товаров⁴⁾. Иначе говоря, цены товаров, равно как и ценность денег устанавливаются до обращения. В обращении же цены товаров лишь реализуются, а стоимость золота лишь «выражает эти реализованные цены». И если в процессе обращения, в силу какого ряда стихийных причин цены товаров значительно отклоняются как от своего трудового содержания, так и от того выражения, которое они получили в деньгах в процессе непосредственного обмена у истоков производства золота, то золото этих отклонений в обращении уже не претерпевает. И этих отклонений золото не претерпевает не только потому, что «в товарных ценах уже дана собственная стоимость золота»⁵⁾ или что, когда золото «вступает в обращение в качестве денег, его стоимость уже дана»⁶⁾, но и потому, что роль золота во взаимоотношениях Т и Д совершенно иная, чем роль товаров. «На что обменивается товар? На какое-либо воплощение своей собственной стоимости. А золото? На какое-либо воплощение своей потребительской стоимости»⁷⁾.

При этом, если товары свою собственную стоимость выражают идеальном золоте, как всеобщем эквиваленте, и их цены могут колебаться вокруг этой идеальной стоимости денег, как вокруг своей соб-

¹⁾ У Рикардо-Милля и Т и Д играют одинаково активную роль: они одинаково обуславливают друг друга и взаимно определяют. Между ними существует не антагонизм, но не единство противоположностей, где плюрализм должен остаться за Т.

²⁾ «Чтобы функционировать в качестве денег,—говорит Маркс,—золото само, конечно, вступить в каком-нибудь пункте на товарный рынок. Этот пункт находится у истоков его производства,—там, где оно, как непосредственный продукт труда, обменивается на другой продукт труда той же стоимости» (Капитал, т. I, стр. 79).

³⁾ Маркс, Капитал, т. I, стр. 72.

⁴⁾ Там же, т. I, стр. 79.

⁵⁾ Маркс, К критике..., стр. 88.

⁶⁾ Маркс, Капитал, т. I, стр. 61.

⁷⁾ Маркс, Капитал, т. I, стр. 78.

ственной, то деньги выражают чужую стоимость в своей собственной «идеальности». Именно в этой «идеальности», как абсолютном выражении товарной стоимости, заключается сущность денег, как всеобщего мерила стоимости. Назначение идеального (долющенного) золота—реализовать идеальные цены товаров. И не его (золота) «внна», если товары на рынке будут «реализованы» ниже или выше их идеальных цен, выраженных в стоимости денег. Сама стоимость денег от этого не претерпевает никакого собственного изменения, так как в обращении она уже не вступает в непосредственное отношение с товаром. Изменение стоимости денег может произойти лишь в результате соответствующего изменения в самом производстве золота.

Именно поэтому, если можно еще говорить о возможном отклонении меновой ценности золота от его трудового содержания в условиях непосредственного обмена у истоков производства, то об отклонении стоимости денег в обращении говорить ни в коем случае нельзя. Фактически это не имеет места. Наоборот, имеет место неизменность ценности денег в обращении. Меновая стоимость золота устанавливается в непосредственном обмене у истоков производства и входит в обращение, как данная и неизменная величина.

Во-вторых. Раз цены товаров даны до обращения и раз скорость метаморфоз определена обращением, то тем самым дано и количество D , которое должно собою выполнять функцию орудия обращения. Количество денег, таким образом, не есть произвольно данная величина, как это представляется чистым количественникам и как это, хотя и в иной постановке вопроса, представляется Рикардо, а условленно производна, ибо «деньги лишь представляют собою реально ту сумму золота, которая уже идеально выражена в сумме цен товаров»¹⁾.

А если так, то само собою понятно, что количество денег не может влиять никоим образом на цены товаров. Оно также не может оказывать влияния и на свою собственную ценность, ибо при свободной чеканке, в условиях золотой валюты, это количество регулируется сокровищем. Ценность денег регулируется «стоимостью производства» не «в конечном счете», как это утверждает Д. С. Милль, а непосредственно, путем приспособления золотопромышленности к остальным отраслям производства. Другого регулятора для ценности денег нет и быть не может. А стало быть нет и какой-то особой покупательной силы денег, кроме внутренней ценности, выраженной в идеальном золоте. Поэтому нет никакой необходимости в применении этого понятия в теории обращения, как самостоятельной категории, ибо оно совпадает с понятием меры ценности.

Может быть, правомерно было бы еще говорить о покупательной силе неполноценных денег — знаков стоимости. Но знаки стоимости—не деньги, равно как деньги—не знаки стоимости. Знаки стоимости управляются совершенно иными законами обращения, чем полноценные деньги, и само это обращение производно от обращения последних. Поэтому строить понятие покупательной силы денег на основе законов обращения знаков стоимости и применять это понятие к деньгам вообще это—по меньшей мере заблуждение.

Таким образом и проблема покупательной силы денег решается не в пользу количественников. Как в вопросе о сущности денег, так и в

¹⁾ Маркс, Капитал, т. I, стр. 87.

вопросе о покупательной их силе (ценности денег) ошибки количественной теории обусловлены одними и теми же методологическими предпосылками: сведением товарного обращения к непосредственному обмену, а денег — к простому товару и неверным пониманием абстрактного труда, ввиду непонимания двойственности буржуазного труда.

Но если эти методологические пороки в значительной степени значительны для классиков, то ни в коей мере они не могут быть значительны для марксистов.

• • •

Между тем у нас среди марксистов складывается целое направление, которое полагает, что из марксовой сущности денег вытекает понятие покупательной силы денег, которое находит свое подтверждение в практике денежного обращения.

Насколько нам известно, первый об этом заговорил Трахтенберг. Он развил своеобразную теорию ценности различных форм денег, из которой логически вытекает, что деньги в качестве орудия обращения имеют свою особую ценность, а стало быть и особую покупательную силу. Его пример оказался заразительным. На ряду с Трахтенбергом, свойственной ему методологической небрежностью о категории денег заговорил Лившиц. В последнее время в своих работах Лившиц и Кон развили целую систему взглядов, обосновывающих понятие покупательной силы денег в условиях товарообращения.

Мы считаем необходимым остановиться лишь на взглядах Лившица и Кон, развитых ими: первым — в пс. «Под Знаменем Марксизма» № 8-9 за 1924 год, вторым — в «Курсе политэкономии» т. I и ответной статье на рецензию Абезгауза, Дукора и Ноткина — в журнале «Вестник Комкадемии» № 25 за 1928 год.

Лившиц исходит из той предпосылки, что в мериле ценности мы имеем «идеальное» выражение стоимости, тогда как в орудии обращения — «реальное» или, как он выражается, «вещественное проявление стоимости». Иначе: идеальная стоимость, существующая в мериле стоимости, находит свое вещественное проявление в реальной стоимости, существующей в деньгах, как орудии обращения ¹⁾.

Перенос аналогю цены товара на категорию денег, Лившиц приходит к тому выводу, что если в процессе обращения формой проявления ценности товара является цена, то в отношении денег — формой проявления ценности является знак ценности. Отсюда по Лившицу, если цена товара есть «денежное выражение» стоимости товара, то знак ценности есть «товарное выражение» стоимости денег. И чем и денежное выражение стоимости товара, и товарное выражение стоимости денег — оба эти «выражения» проявляются реально в

¹⁾ «Поскольку в качестве орудия обращения проявляется «товарная цена» денег, постольку само собою ясно, что покупательная способность денежного знака, служащего этим орудием обращения, определяется не только стоимостью денежного материала, служащего мерилем стоимости, но и «конъюнктурой» товарного рынка (механизмом спроса и предложения в отношении денег) (Лившиц и Кон «Знаменем Марксизма» 1924 г., стр. 232).

И несмотря на то, что Лившиц критикует Трахтенберга за его трактовку стоимости денег, по которой выходит, что ценность имеют все формы денег, Лившиц не отказывается к признанию особой ценности в орудии обращения.

процессе обращения. До обращения мы имеем лишь идеальные стоимости товаров и такие же стоимости денег.

У истоков производства.

В обращении¹

1. Стоимость товара —

Цена — денежное выражение стоимости товара.

2. Стоимость денег —

Знак ценности — товарное выражение стоимости Д.

И далее, подобно тому, как цена товара устанавливается в результате спроса и предложения, точно так же и покупательная сила денег устанавливается в результате спроса и предложения. А поэтому количество денег влияет на их покупательную силу, и обратно — покупательная сила влияет соответствующим образом на их количество.

С теми марксистами, которые понятие «покупательной силы денег» сводят просто к их стоимости, Лившиц не согласен по той причине, что в практике денежного обращения имеет место «отклонение, хотя бы и временное, покупательной силы золотых монет (под влиянием изменения их количества в обращении) от их стоимости, как мерила, в результате чего происходит перелив золотых монет в слитки и обратно»¹⁾ (Говоря о золотых монетах, Лившиц, таким образом, под знаками ценности подразумевает просто полноценные деньги, но не знаки стоимости в собственном смысле). Из подобного рода понимания покупательной силы денег у Лившица складывается своеобразное понимание сокровища, которое у него сводится к средству регулирования количества денег не через мерило стоимости, не через «полновесное золото» непосредственно, а через отклонение покупательной силы денег от идеальной стоимости, т. е. через покупательную силу денег. Отсюда знаменитый гипотетический пример Лившица о контрибуции.

Подобно Лившицу Кои для денег тоже устанавливает категорию покупательной силы или категорию цены. Но если Лившиц, по крайней мере формально, понятие покупательной силы денег «ограничивает» знаками стоимости, то Кои действует более прямым путем и вещи называет своими именами.

По Коу существует идеальная цена товара и идеальная цена золота — с одной стороны, реальная цена товара, а также реальная цена золота — с другой. Идеальные стоимости товара и денег устанавливаются до обращения, реальные же — в обращении. При чем до обращения товары «лишь» приравниваются к определенному количеству золота, в обращении же — «фактически» обмениваются. Этот фактический обмен и есть тот первый непосредственный обмен, в котором товары и деньги вступают между собою в реальные отношения.

При фактическом обмене происходит отклонение как реальной цены товара от идеальной, так и стоимости реального золота от идеального. Реальное золото это и есть покупательная сила денег, или стоимость денег, выраженная в реальном золоте. Но так как реальная цена товара выражает свою ценность в реальном, а не идеальном золоте, то покупательная сила денег выражается не в идеальной, а в реальной цене товаров. Так как на рынке, в процессе обращения, товары впервые вступили в реальное отношение с деньгами, то именно здесь и устанавливаются действительные отношения Т и Д. Что же из этого получается? Товары реализуют свои стоимости при фактическом обмене на реальное золото. Золото реализует свою стоимость

¹⁾ Лившиц — «Под Знаменем Марксизма», стр. 233.

при фактическом обмене его на реальные цены товаров. Но ведь реальная цена товара и реальная цена золота, с точки зрения этого «реального» (считай непосредственного) обмена—это есть не что иное, как выражение относительной стоимости Т и Д, которую волей неволей Кон, вслед за Лившицем, извлекает из первого этажа менового процесса и переносит ее во второй этаж—в товарное обращение.

Для целей методологической критики нет надобности подтверждать более подробному анализу взгляды на этот вопрос тов. Копа. И этих данных достаточно для того, чтобы сделать необходимые выводы.

Тов. Кон, подобно Лившицу, вводя понятие покупательной силы денег, как особую категорию для орудия обращения, тем самым приписывает деньгам категорию цены. Но этим же самым он эмансипирует Д перед всеми другими товарами. Проще говоря, подобно Рикардо-Миллю, тов. Кон деньги сводит к простому товару.

Разница между Коном—Лившицем, с одной стороны, и Рикардо—Миллером—с другой, состоит лишь в том, что если последние товарное обращение отождествляли с непосредственным обменом, то первые непосредственный обмен, существующий между Т и Д у истоков производства золота, пытаются отождествить с товарным обращением. В одном из семинаров по политической экономии (Институт экономики РАНИОН) Лившиц, в качестве руководителя семинара, развивал ту мысль, что специфические условия производства золота таковы, что уже у его истоков золото выступает как Д, поэтому, дескать, нет надобности говорить о двухэтажном процессе обмена валюты—денег. Существует, де мол, только фактический обмен в обращении. Ту же мысль развивает и Кон в своем ответе на рецензию Абелюса, Дукора и Ноткина, где он говорит, что до обращения существует лишь идеальное приравливание Т и Д, но не их обмен.

Отсюда у него своеобразное понимание «идеальных цен товаров» и «идеального золота». Эти «идеальности» у Копа превращаются в чисто геоэологические понятия. Отсюда и тот вывод, что реальный обмен—это есть фактический обмен, т. е. непосредственный обмен.

Весь ход рассуждений на эту тему Копа—Лившица сводится к тому, что они просто-на-просто сглаживают то основное методологическое положение марксовой теории денег, которое гласит, что непосредственный обмен товаров и денег, в котором устанавливается и цена и стоимость, существует лишь в непосредственной меновой торговле у истоков производства и что, «начиная с этого момента—как говорит Маркс,—денеги лишь делают то, что выражают реализованные цены товаров». Лившиц и Кон забывают, что в товарном обращении элемент непосредственного обмена выступает уже в качестве превзойденного момента. Здесь уже закончено отношение Т и Д, как товаров, здесь начинается отношение Т и Д, как товаров и денег. Здесь Д выступает в качестве превращенной формы Т, в качестве абсолютной и неизменной стоимости Т. Здесь происходит не реализация отношений Т и Д, как товар, а реализация отношений Т—Т, через приравливание к Д, как всеобщему эквиваленту. Поэтому если здесь и происходит отклонение стоимости Т от своего абсолютного выражения в Д, то само Д остается неизменным. Неизменным же оно остается, повторяем, потому, что оно не купует в непосредственные отношения с Т. Но, забыв все это, Лившиц и Кон неизбежно скатываются к количественникам в основном

вопросе проблемы обращения, в вопросе о количестве денег, необходимых для оборота.

Словом, в критике точки зрения Копа — Лившица нам приходится повторять всю ту аргументацию, которую мы применяли в отношении точки зрения Рикардо—Милля. Не касаясь других проблем, связанных с понятием покупательной силы денег (проблемы сокровища и др.), мы отсылаем читателей к интересной дискуссии на эту тему, развернувшейся в «Вестнике Комкакадемии», между Коном, с одной стороны, и Абезгаусом, Ноткином, Дукером—с другой.

Не подлежит сомнению, что в лице Лившица—Копа мы имеем сторонников давно опровергнутой теории обращения денег количественников-классиков, но ныне воскрешаемой некоторыми эклектиками в политаэкономии (Каценеленбаум и др.).

То, о чем говорят Лившиц и Коп в своих работах в отношении покупательной силы денег, не имеет никакого отношения к деньгам, как таковым. Все это имеет отношение к знакам стоимости. И этот вопрос надо было бы им рассматривать под углом зрения теории обращения знаков стоимости, но не под углом зрения денег как таковых.





Андре Лео.

в истории революционно-социалистической публицистики Парижской Коммуны 1871 года ¹⁾.

Андре Лео (André Léo)—литературный псевдоним ²⁾ Леонии Шампсе (Léonie Champseix), урожденной Бера (Béra)—родилась в 1829 г. в Люжьевилле (в провинции Шампань), где отец ее, морской офицер в отставке, владел небольшой усадьбой. Получив хорошее домашнее образование, молодая девушка в 1851 г. стала женой Пьера-Грегуара Шампсе, активного республиканца, бывшего сотрудника Пьера Леру по редакции «Revue Sociale», с которым в течение восьми лет делила изгнание в Швейцарии. В 1863 г. она овдовела и в том же году выпустила в свет свой первый роман («Le Mariage scandaleux»), который имел значительный успех и за которым последовал ряд других (в общей сложности—около 20-ти) ³⁾.

К концу 60-х годов Андре Лео—республиканка-демократка ⁴⁾ с неопределенно-социалистической окраской—сближается с французскими бакунистами Аристидом Рей, братьями Эли и Элизе Реклю, Бенуа Мадонном и нек. др., как и с неизвестным впоследствии сподвижником бакунина—Владимиром Озеровым. В начале 1869 г. она привлекается к сотрудничеству в женеvской «Egalité», из которой ей пришлось, однако, скоро уйти ⁵⁾.

После падения империи Андре Лео приняла деятельное участие в политической жизни осажденного Парижа, выступала в клубах (с требованием эмансипации женщины ⁶⁾) и других социальных реформ,

¹⁾ Глава из задуманной автором большой работы по истории революционной публицистики 1871 года, читанная в Лев. Отдел. Научно-Исслед. Института Историч. Истории 12 ноября 1927 г.

²⁾ Происхождение псевдонима таково: Андре и Лео—это имена двух сыновей-писателей.

³⁾ См. отзывы (весьма сочувственные) о творчестве Андре Лео у Д. И. Писарева, «Отечественные Записки» 1868, №№ 1 и 2, «Сочинения Д. И. Писарева». СПб., 1874, кн. Павленкова, том VI; и у П. Н. Ткачев («Дело» 1868, №№ 4 и 5: Люди будущего и герои мещанства). Некоторые из романов Андре Лео были в свое время переведены на русский язык.

⁴⁾ Она подписала (наряду со многими видными радикалами и социалистами) радикально-демократический манифест, опубликованный газетой «La Réforme» в № от 4 июля 1868 г. (см. Tchernoff, «Le Parti républicain au coup d'Etat et sous le second Empire», 1896, p. 436—437).

⁵⁾ Из-за столкновений с редакцией (Бакуниным), публично обвинявшей (в № 10 от 15 1869) ее взгляды «буржуазным социализмом» (I. Guillaume, «L'Internationale. Textes et documents», t. I, p. 150—151).

⁶⁾ В защиту гражданского и политического равноправия женщин Андре Лео выступала еще во время империи—на публичных собраниях в Во-Галле (в Париже) еще 1868 г. в «Женской Газете» и в «Обществе борьбы за право женщин», возникшем в Париже в 1869 г.

участвовала в революционном выступлении 22 января 1871 г. Во время Коммуны она сотрудничает в прудонистском органе «La Commune» и в бакунистско-прудонистском «La Sociale», являясь фактически главным руководителем последнего¹⁾. В то же самое время мы находим ее в числе активных работников женского движения, а затем — на баррикадах «майской недели».

При подавлении Коммуны Андре Лео удалось сбжать в Швейцарию, где она выступила с рядом публичных докладов о версальском терроре²⁾, заклеивив последний в своем выступлении 27 сентября 1871 г. на 5-м конгрессе буржуазно-демократической «Лиги мира и свободы» в Лозанне³⁾ (правда, тут же она резко отрицательно отзывалась и о руководителях «террора» Коммуны — бланкистах Ригу и Ферре⁴⁾). В то же время Андре Лео сближается с руководителями бакунистских секций Интернационала в Швейцарии (с которыми была связана отчасти и раньше) и ведет — на страницах основанного в Женеве в конце октября 1871 г. коммунарком Кларисом еженедельника «Révolution sociale» (с № 5 ставшего официальным органом Юрской федерации) — исключительно резкую по тону кампанию в защиту крайнего автономизма секций и против централизма руководимого Марксом Генерального Совета, — за что получает от «злого гения» и «верховного жреца»⁵⁾ Международного Товарищества Рабочих неслышанный эпитет «буржуйки»⁶⁾. В женевском «Народном Альманахе на 1872 год», на ряду с поэмой быв. члена Коммуны Бениа Малона и статьями Бакунина, Шницгеля и быв. коммунара Лефранса, находим и статью Андре Лео (о воспитании)⁷⁾.

В 1873 г. писательница делается женой Бениа Малона, с которым сблизилась еще до Коммуны, но после нескольких лет совместной жизни

¹⁾ Точный состав редакции «La Sociale» нам неизвестен. По одним данным (A. Gagnière. «Histoire de la presse sous la Commune», Paris 1872 p. 339), наряду с Андре Лео, в газете принимала участие вся редакция бланкистского органа «Le Père Duchêne» (что маловероятно); по другим (Lagouaze. «Grand dictionnaire universel du XIX siècle», 1-er supplément, t. XVI, p. 600) — русская приятельница романистки, Аня Жаклар (жена члена ЦК национальной гвардии бланкиста Виктора Жаклар). Достоверно лишь то, что, кроме Андре Лео, статьи в «La Sociale» подписаны еще двумя только именами — Бамилла Баррера (будущего дипломата Третьей Республики) и Жака Кузена (роман-фельетон).

²⁾ Рукопись этих докладов (André Léo «Les Défenseurs de l'ordre à Paris en mai 1871»), которые опубликованы не были, была использована Б. Малонем в его «Troisième défilé du prolétariat français» (см. I. Guillaume. «L'Internationale. Souvenirs et documents», t. II, p. 171).

³⁾ Эту речь, которая рассчитана была на то, чтобы добиться присоединения Лиги к платформе блока между буржуазной демократией и социализмом в интересах совместной борьбы против капиталистической олигархии, и против торжествующей реакции (в частности, для совместного протеста против версальского террора), Андре Лео не дал договорить (точнее: дочитать) до конца, после чего она была опубликована в виде отдельной брошюры: M-me André Léo. «La Guerre sociale. Discours prononcé au Congrès de la paix à Lausanne (1871)», Neuchâtel 1871, p. 39.

⁴⁾ В письме к Ф. Больте (от 23/XI—1871) Маркс с возмущением отмечает, что она «не постеснялась на лозаннском съезде донести на Ферре его версальским палачом» («Письма И. Ф. Беккера, И. Дингеля, Ф. Энгельса, К. Маркса и др. к Ф. А. Зоре и др.», М. 1913, изд. Дауге, стр. 47). Если верить бакунисту Гильому (Guillaume. «L'Internationale», t. II, p. 218—222), он и его друзья высказали Андре Лео свое порицание по поводу этого ее заявления.

⁵⁾ Эпитеты, которыми Андре Лео наделяет Маркса в «Révolution sociale» и в частной переписке (I. Guillaume. «L'Internationale. Souvenirs et documents», t. II, p. 219—222).

⁶⁾ Письмо Маркса Ф. Больте от 28/XI—1871 г. («Письма к Ф. А. Зоре», стр. 47).

⁷⁾ Андре Лео приняла участие и в бакунистском же «Народном Альманахе на 1873 год» (I. Guillaume. «L'Internationale», t. III, p. 40).

работы расходятся с ним в 1878 г.¹⁾ В том же 1878 г. Андре Лео принимает деятельное участие в первых номерах основанного ею совместно с Маломом и бельгийским коллективистом Цезарем де-Пап двухнедельного журнала «Socialisme progressif»²⁾. С февраля 1878 г. по март 1881 г. он сотрудничает в русском позитивистском органе «Слово», посылая туда содержательные и яркие корреспонденции из Италии³⁾. Будучи же в конце 1879 г. привлечена к сотрудничеству в задуманном тогда Маломом журнале «Revue socialiste»⁴⁾, она выступила в нем лишь в 1887 году⁵⁾.

Вернувшись во Францию после амнистии 1880 г., Андре Лео возвращается к своей писательской деятельности, но, повидимому, из прежнего успеха, и умирает в 1900 г., в большой нужде и почти полном одиночестве⁶⁾.

1.

Одной из проблем, которые более всего занимали Андре Лео в ее публицистической деятельности периода Коммуны, была проблема выявления социального смысла движения 18 марта, классовой войны обеих борющихся сторон—парижской революции и версальской контрреволюции. Она не только ставит этот вопрос, постоянно к нему возвращаясь, но и дает ему свое, подчас вполне адекватное действительности, решение, правда, несколько затемненное обычной для ком-

¹⁾ Если верить Малому, они разошлись (как друзья) из-за решительного несогласия принципов, характера, чувств, после пяти лет «счастливого сожительства» и двух лет несчастного брака (Benoit Malon. «Correspondance. Lettres à César de Paepre», «Revue socialiste», № 288, décembre 1908, t. 48, p. 616). Сама Андре Лео, расходясь с Маломом, с горечью признавалась, что их брак был трагической ошибкой (I. Guillaume. «L'Internationale», t. IV, p. 309). Добавим, что Малом, повидимому, не отличался особой пылкостью и своим поведением не раз давал Андре Лео повод к подозрениям (I. Guillaume. «L'Internationale», t. III, p. 321—322).

²⁾ В этом журнале (выходившем в Луван с 1 января по 30 ноября 1878 г.) она напечатала ряд статей о «новой морали», о женском вопросе и т. п.

³⁾ «Само», 1878, №№ 2, 3, 7, 9—10, 11, 12; 1879, №№ 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12; № 1; 1881, № 3—4.—Тот же журнал напечатал (№№ 1, 2, 3, 4, 5 за 1879 г.) переводы с рукописи романа Андре Лео «Гришна».

⁴⁾ «Revue socialiste», № 1, 20 janvier 1880, p. 6, 58.

⁵⁾ «Revue socialiste», № 153, septembre 1887, t. 26, p. 257—280: Андре Лео, «L'Ére barbare».

⁶⁾ Источниками для составления настоящей биографической справки послужили: а) Справочники: O. d'Heylil. «Dictionnaire des pseudonymes». Paris 1887; P. Lanson. «Grand dictionnaire universel du XIX siècle», t. XVI, t. XVII.

б) Журналы: «Revue socialiste» 1880, № 1; 1887, № 153; «Revue encyclopédique», année 1900, t. X; «Само», 1878—1881 (passim).

в) Мемуары, письма, документы: B. Malon. «Correspondance. Lettres à César de Paepre», 1908, octobre, novembre, décembre; 1909, janvier; B. Malon. «Le problème défilé du prolétariat français». Neuchâtel 1871; César de Paepre. «Lettres à Benoit Malon», («Revue socialiste», 1913, t. 56); Elisée Reclus. «Correspondance», t. II (1870—1889), Paris 1911; I. Guillaume. «L'Internationale. Souvenirs et documents», Paris 1906—1910, tt. I—IV; A. Claria. «La Prescription française en Suisse» (1871—72), Genève 1872; O. Lefrançois. «Souvenirs d'un révolutionnaire», Bruxelles 1912; Louise Michel. «La Commune», Paris (s. a.); A. Gagnière. «Histoire de la Commune», Paris 1872; Lucien Descaves. «Philémus, vœux de la Commune», Paris 1913; «Письма И. Ф. Бакунина, И. Диггена, Ф. Энгельса, К. Маркса и др. к А. Зорге и др.», М. 1913, изд. Дауге; «Письма М. Бакунина к Альберу Дюпю», (Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», книга III, ГИЗ, 1927); Материалы для биографии М. Бакунина. Том III. Бакунина в Первом Интернационале. Редакция и примеч. В. В. Половского. ГИЗ, 1928.

г) Исследования: I. Tchernoff. «Le Parti républicain au coup d'Etat et sous le Second Empire», Paris 1906; Барон Марк де Вилье. «Женские клубы и автономия женщин». Пер. Ю. Стеклова. Москва 1912; А. Молюк. «Очерки быта и культуры Парижской Коммуны 1871 г.». Ленинград, 1924; Ю. Стеклов. «Михаил Александрович Бакунин». Том IV. ГИЗ, 1927.

муиаров идеалистической фразеологией, от которой ей инкогда не удастся освободиться в полной мере.

Прежде всего, она устанавливает, что происходящая под стенами Паризжа гражданская война есть «война принципов» (*guerre de principes*). Не придавая—в отличие от большинства коммуиаров—решающего значения лозунгу муниципальной автономии как таковому, она подчеркивает, что «Паризж-Коммуна должен был бы подчиниться Национальному Собранию», и что «Паризж, восставший против Собрания, это—уже не Коммуна, это—революция» (*Paris-Commune devait accepter l'Assemblée. Paris ennemi de l'Assemblée n'est plus la Commune, il est la Révolution*). Каков же в таком случае руководящий «принцип», «идея» этой революции? «Паризж обладает социальной идеей (*Paris a l'idée sociale*)... Он воплотил ее, правда, в своей Коммуне, но в слишком сжатой, слишком туманной форме. Пусть он выскажет ее громко, ясно, определенно... В сущности, дело идет не о споре из-за слов, не о борьбе честолюбий, хотя слова и честолюбия занимают все-таки чересчур много места. Дело идет о великом споре бедного с привилегированным, труженика с паразитом, народа с его эксплуататорами»¹⁾. Если в приведенном отрывке расплывчато-неопределенная, бакуинистская по духу, терминология мешает Андре Лео уточнить социальную характеристику революции 18 марта и представить ее не как революцию «бедных» вообще, «трудящихся» вообще, «народа» вообще, а как революцию пролетариата,—то более определенно звучит составленное ею обращение «к трудящимся деревням», где речь ведется не от лица трудящихся вообще, а от лица городских рабочих, эксплуатируемых не эксплуататорами вообще, а промышленниками, и требующих для себя орудий труда (как и земли для крестьян и работы для всех)²⁾. В другом месте она выражается еще определеннее: «Парижская революция—это социализм (*la révolution de Paris, c'est le socialisme*)»³⁾. Не забывает она—подобно, впрочем, большинству публицистов Коммуны—подчеркнуть также интернациональный, всемирно-исторический смысл происходящей революции: «Европа с удивлением взирает на эту Францию, побежденную не пруссаками, а своей собственной аристократией и с еще кровоточащими ранами встающую на новую борьбу, борьбу во имя свободы, уже не только национальной, но всемирной»⁴⁾. «Ныне дело не идет уже о национальной обороне (как во время первой осады Парижа.—А. М.); но поле битвы не только не сузилось, а наоборот, расширилось, ибо дело идет об обороне всего человечества...»⁵⁾.

¹⁾ «La Commune», № 21, 9/IV—1871 (статья «La France avec nous»). А. Молок «Парижская Коммуна 1871 г. в документах и материалах». Ленинг. 1926; стр. 271, 272.—«Il s'agit de la grande querelle du pauvre contre le privilégié, du travailleur contre le parasite, du peuple contre les exploités».

²⁾ «La Commune», № 22, 10/IV—1871 («La France avec nous»).

³⁾ «La Sociale», № 34, 3/V—1871 («Le Socialisme — au paysan»). А. Молок, *op. cit.*, стр. 283.

⁴⁾ «La Sociale», № 27, 26/IV—1871 (статья «Le soufflet prussien au grand oiseau»). — Не напоминает ли это место одним положением известного места из письма Маркса к Кугельману от 12 апреля 1871 г.: «Баяная гибкость, камая историческая инстинктивная, какая способность самопожертвования у этих парижан! После шестимесячного голодания и разорения, вызванного гораздо более внутренней изменой, чем внешним врагом они восстают под прусскими штыками, как будто войны между Францией и Германией и не было, как будто бы враг не стоял еще у ворот Паризжа? История не знает еще примера подобного героизма!» (К. Маркс. «Гражданская война во Франции 1871 г.», «Прибой» 1926; приложение I, стр. 71).

⁵⁾ «La Sociale», № 13, 12/IV—1871 (статья «Toutes avec tous») (разрядка моя.—А. М.).

Наиболее адекватное определение классового характера революции 18 марта Андре Лео дала в статье «Солдаты идеи»¹⁾, из которой мы приведем здесь все решающие места. «Когда пробегаешь список шших убитых и раненых, острая, жгучая боль сжимает сердце. Возле имени каждого стоит обозначение его профессии: Николай Шатлен, слюжннк, 4 детей.—Луи Даниэль, каменотес, 2 детей.—Луи Гено, стрелк, 4 детей.—Марсо, кузнец.—Ютт, чернорабочий, и т. д. и т. п.²⁾. Время от времени, хотя редко, попадаете обозначение «служаший», что указывает на мелкого буржуа. Кто сражается, главным образом, так это рабочий. Солдат настоящей революции—это народ»³⁾. Мы уже видели, что за этим, идеалистическим, термином «народ» скрывается пролетариат, притом — как правильно отмечает писательница — не только фабрично-заводский (бывший в Париже того времени лишь исключением), сколько мелко-ремесленный (далее прямо говорится о мастерской—*écliorre* и о ремесленнике—*artisan*). В героизме рабочего-коммунара, который «просто и скромно» «делает самое малое дело, на какое только способен человек—принимает себя в жертву своим убеждениям» и «борется за идею, торжества которой, может быть, и не увидит», Андре Лео черпает бодрую уверенность в том, что «человечество не вырождается» и «Франция не разлагается», так как «есть раса или вернее класс»⁴⁾ (характерная сбивчивость терминологии!—А. М.), который бежит от тлена (*il y a une race ou plutôt une classe qui s'en va de pourriture*).... «Дорогие и светлые герои, солдаты идеи, бедные, но великие работники (*artisans*),—заканчивает она,—чем известнее ваши имена, тем более увлажняется взор, с восторгом сохредающий вас!».

Не менее четко и довольно полно (хотя и не в марксистских терминах) определяет Андре Лео классовую базу враждебного Парижу шгера—версальской контрреволюции: «Г-и Тьер и все ниже с ним—люди порядка, т. е. дворяне-легитимисты, буржуа-орлеанисты, финансисты, крупные землевладельцы и крупные промышленники»⁵⁾. Эта оппозиция крупных собственников возглавляется правительством и папкой, для характеристики которых наш публицист находит надлежащие, убийственные по своей меткости, слова⁶⁾. Замечательный по остроте анализ социальной природы Версаля она дает, вскрывая клас-

¹⁾ «La Sociale», № 29, 28/IV—1871 («Les Soldats de l'idée»). А. Молок, оп. д, стр. 281—283.

²⁾ Мы проверили и действительно нашли эти имена в списках потерь национальной армии, публиковавшихся в «Journal officiel» Коммуны.

³⁾ «De temps en temps, mais rarement, apparaît la qualification d'employé, qui indique le petit bourgeois. C'est surtout le manoeuvre qui se bat. Le soldat de la Révolution actuelle (est le Peuple)».

⁴⁾ Употребление термина «раса» для обозначения социально-классовой категории имеет свое происхождение от выдвинутой французской историографией 20-х годов III столетия теория галлов (*la race possédante*) и франков (*la race révolutionnaire*), а в нас исключения встречается и в эпоху великой революции (например, у вождя «бешеных Жака Ру: *la race nobiliaire, la race sacerdotale*).

⁵⁾ «La Sociale», № 19, 18/IV—1871 (статья «Le droit commun de M. Thiers»): M. Thiers et tous ceux qui sont avec lui,—les hommes d'ordre,—c'est-à-dire les nobles légitimistes, les bourgeois orléanistes, les financiers, les gros propriétaires et les gros industriels».

⁶⁾ В статье «Le soufflet prussien au grand orateur» («La Sociale», № 27, 26/IV—III) она указывает, например, на то обстоятельство, что версальское правительство, называя себя за «правительством порядка, нравственности, законности, религии, собственности в семье», представлено «я глазах Европы» Жюлем Фавром (министром иностранных дел)—человеком, уличенным в адольтере, подделке документов, присвоении наследств и прочих уголовно-наказуемых деяниях.

совую подоплеку закона о муниципальном самоуправлении, принятого Национальным Собранием 14 апреля и своим реакционным духом приведшего в негодование даже радикальную буржуазию. Прежде всего, она констатирует, что этот закон, предоставляющий полное самоуправление (т.е. право выбирать не только муниципальный совет, но и мэра с помощниками) лишь местностям с числом жителей не свыше 20 тысяч (а не 6 тысяч, как ошибочно набрано в разбираемой статье), т.е. всем деревням, а из городов только самым незначительным, — означает «свободу для невежественных» и «рабство для мыслящих» элементов страны. Выражая свое сомнение в том, чтобы сельское население (которое, как показывает статистика, «безграмотно, ограничивается церковной проповедью и святыми») состояло «сплошь из философов», непризнанных мудрецов «масштаба Сенеки или Монтеня», чтобы города (которые, как показывает та же статистика, «умеют читать, даже в большей или меньшей степени писать, мыслить, рассуждать, вырабатывать собственное мнение»), «были сплошь иными одними омерзительными бандитами, не признающими ни чести, ни закона», «одними уголовными преступниками», оставившими «свои традиционные логовища для улиц Бельвиля, Монмартра, Батиньоля»¹⁾, — Андре Лео с удивлением спрашивает, как это Тьер, «человек сознательный, не доверяет сознательности» (*pourquoi, comment, de quel droit M. Thiers un homme intelligent, se méfie-t-il de l'intelligence?*) и как это он же допускает, чтобы «неграмотная масса была предоставлена самой себе»²⁾.

Леврчик открывается совсем просто; «затейливая проблема» (*un curieux problème*) оказывается легко-объяснимым явлением — стоит только пропустить ее через рентгеновские лучи классового анализа, что и делается Андре Лео в статье под заглавием «Самое свободное из Собраний»³⁾. Обращаясь к той части муниципального закона, которая специально касается Парижа, она констатирует, что этот закон 1) лишает столицу права выбирать своих окружных мэров с помощниками, 2) не дает ей пропорционального представительства, 3) вводит трехлетний ценз оседлости, 4) устанавливает порядок выборов по кварталам, 5) делает функции мэров, их помощников и муниципальных советников бесплатными. Какой смысл, спрашивает писательница, имеют все эти пункты муниципального закона? И отвечает: обеспечить такой порядок вещей, при котором «паразитический класс (*la classe oisive*) управляет общественными делами, а народ работает на него и управляет его заботами». В частности, лишение Парижа (как и всех других крупных городов) права самому выбирать свою окружную администрацию (мэров и их помощников) есть, как мы уже видели, внешнее выражение страха версальской контрреволюции перед политической сознательностью (и, добавим, радикализмом) городского населения; проведение выборов по кварталам должно придать им узко-локальный, неполитический характер; ценз трехлетней оседлости приведет к отсеянию всех текущих элементов (т.е. пролетарских по преимуществу) и обеспечит преобладание «коренным, солидным, оседлым» (*des gens*

¹⁾ Название трех пролетарских округов Парижа (XVII, XVIII, XIX).

²⁾ «*La Sociale*», № 19, 18/IV—1871 («*Le droit commun de M. Thiers*»).

³⁾ «*La Sociale*», № 22, 21/IV—1871 (ст. «*La plus libérale des Assemblées*»). — «Самое свободное из Собраний. какое только было во Франции за последние 60 лет» — выражение парижского депутата Ланглау (радикала и б. члена Интернационала) в заседании Наци. Собрания 8 апреля (*Journal officiel de la République française*, № 99, 9/IV—1871, t. II, p. 489).

jets, solides, sédentaires) элементам (т.е. буржуазным по-преимуществу). А отсутствие пропорционального представительства? Оно приводит к тому, что «Пасси, аристократический квартал, где 42.000 жителей рассеяны по богатым особнякам с роскошными садами, будет выбирать столько же муниципальных советников (четырех), сколько и квартал Попенкур, населенный 183.000 рабочих, сколько и Монмартр, Батиньоль и др.»¹⁾. Наконец, бесплатность функций муниципальных советников²⁾ специально рассчитана на тот случай, «если бы эти проценты города вздумали составить свой муниципальный совет из рабочих; с принятием этой «поправки Мортимера-Терно» (видного легиста и в прошлом крупного фабриканта), рабочие смогут иметь своих людей в городском самоуправлении лишь при том условии, если эти последние будут «обладать рентами, либо искусством жить, считаясь одним воздухом»³⁾.

Так разоблачает Андре Лео классовую физиономию Версаля и его политики.

2.

Центральной проблемой, занимавшей Андре Лео в ее публицистической деятельности периода Коммуны, была, без всякого сомнения, проблема союзников революции, в разрешении каковой (проблемы) она обнаруживает порой совершенно исключительный—для своего времени и для своей среды—по своему трезвому реализму и материалистическому практицизму подход.

Констатируя, что «Париж—один против всех», что у него нет «ни одного союзника», что «всюду только грозные враги»⁴⁾,—она не устает повторять, что «Париж один, что бы он ни делал,—надо в этом откровенно признаться,—может только продлить борьбу до последних пределов героизма и отчаяния»⁵⁾, что если «конечный успех великой, настоящей, единственно-серьезной революции столетия не подлежит сомнению», то «он может быть более или менее далеким, более или менее мучительным, более или менее кровавым, в зависимости от того, то из двух возьмет верх в ближайший момент—правда или ложь»⁶⁾; Париж или Версаль.

«Где же эта великая социальная революция, столь необходимая для бедняка, для угнетенного, для человечества... где же она найдет свою точку опоры? У нее может быть только одна, естественная, социальная, крепкая опора, такая же, как и здесь,—народ»⁷⁾. «Артиллерия Парижа—это социальная идея... Пусть он, укрепившись за своими стенами, бросит призыв беднякам... Долой маски! Пусть, по крайней мере, мы будем с нами! К нам, Франция ивродная, против Франции монвр-

¹⁾ На выборах в Коммуну (28 марта) Пасси (XVI округ) представлено было 1 жителя, тогда как Попенкуру (XI округ)—7, Монмартру (XVIII округ)—7, Батиньоль (XVII округ)—5 («Journal officiel» Коммуны, 31/III—1871. А. Молок, op. cit., стр. 129, 130, 131).

²⁾ Андре Лео смеется над депутатом Сиприеном Жире, имевшим наивность, под предлогом Собрании, протестовать против этого пункта, как антидемократического.

³⁾ «Ouvriers, mes amis, avisez-vous maintenant de nommer des votres pour administrer la cité. Vous le pouvez, on ne vous le défend point. Seulement vos élus devront avoir les rentes, ou apprendre à vivre sans manger».

⁴⁾ «La Commune», № 21, 9/IV—1871 («La France avec nous»). А. Молок, op. cit. стр. 269.

⁵⁾ «La Sociale», № 34, 3/V—1871 («Le Socialisme—aux paysans»).

⁶⁾ «La Commune», № 33, 22/IV—1871 («Appel aux consciences après lecture de l'écrit de M. Thiers»).

⁷⁾ «La Sociale», № 34, 3/V—1871 («Le Socialisme—aux paysans»): «Elle n'en a pas, naturel, solide et profond, là-bas comme ici, le point d'appui populaire».

хической (т.е. буржуазно-помещичьей.—А. М.), и пусть все силы будущего вступят в бой со всеми силами прошлого!..»¹⁾.

Итак, рабочий Париж должен ориентироваться на трудящиеся и бедняцкие массы, которыми «провинция так же полна, как и Париж», которые «в провинции, как в Париже и как во всем мире... составляют большинство» населения²⁾. Среди этих, «естественных», союзников революции Андре Лео придает наибольшее значение и уделяет наибольшее внимание крестьянству, этой основной группе населения земледельческой по-преимуществу страны (каковой все еще являлась в то время Франция). Не отрицая вовсе социальной дифференциации в сельском населении («сельский работник, бедный поденщик, мелкий собственник, арендатор, мизик, фермер»³⁾), Андре Лео рассматривает, однако, крестьянство, как более или менее однородную, середяцко-бедняцкую массу⁴⁾, эксплуатируемую помещичьим землевладением и торгово-ростовщическим капиталом, угнетаемую и разоряемую фискально-военно-бюрократическим аппаратом буржуазной государственности.

Что же отделяет крестьянскую Францию от революционно-пролетарского Парижа, что мешает им объединиться? Ведь, «их интересы одинаковы» (leurs intérêts sont les mêmes), ведь «у них один и те же угнетатели и одна и та же цель — справедливость и свобода»⁵⁾. «Жестокое недоразумение» (un terrible malentendu), основанное на «взаимном непонимании и отчуждении, на слишком большой разнице в интеллектуальном (т.е. культурном и политическом.—А. М.) отношении»⁶⁾, на «горе лжи и клеветы» (une montagne de mensonges et de calomnies)⁷⁾, воздвигнутой усилением общих врагов трудящихся города и деревни. Стародавняя разобщенность между последними особенно усилилась—как правильно отмечает Андре Лео—со времени войны и осады, надолго отрезавшей Париж от провинции и позволившей реакционерам всех мастей безнаказанно возбуждать против него деревню, эту «невежественную массу, способную всему поверить»⁸⁾, но наивысшей точки достигла в период выборов в Национальное Собрание, когда разоренные войною крестьяне отдали свои голоса монархистам, как сторонникам немедленного мира, и забравали республиканцев, высказывавшихся за продолжение борьбы⁹⁾. После революции 18 марта клеветническая кампания против столицы

¹⁾ «La Commune», № 22, 10/IV—1871 («La France avec nous»: «L'artillerie de Paris, c'est l'idée sociale... Qu'il se renferme dans ses remparts et qu'il lance l'appel au pauvre... A bas les mensonges! Que les nôtres du moins soient avec nous! A nous la France populaire contre la France monarchique, et que toutes les forces de l'avenir entrent en bataille contre toutes les forces du passé». —

²⁾ «La Commune», № 21, 9/IV—1871. А. Молок, *op. cit.*, стр. 271.

³⁾ «... travailleur des campagnes, pauvre journalier, petit propriétaire..., bordier, métayer, fermier» («La Commune», № 22, 10/IV—1871, *cit.* «La France avec nous»).

⁴⁾ Была, однако, в публицистике Коммуны и противоположная точка зрения, изображавшая крестьянство как сплошную кулацкую массу (см. А. Молок «Парижская Коммуна и крестьянство». Ленинград, 1925, стр. 50—54).

⁵⁾ «La Commune», № 21, 9/IV—1871. А. Молок, *op. cit.*, стр. 270.

⁶⁾ «La Sociale», № 34, 3/V—1871 («Le socialisme aux paysans»).

⁷⁾ «La Commune», № 21, 9/IV—1871. А. Молок, *op. cit.*, стр. 270.

⁸⁾ «La Commune», № 33, 22/IV—1871: «... une masse ignorante, capable de tout croire».

⁹⁾ «La Sociale», №№ 43 и 47, 12/V и 16/V—1871 («Le complot monarchique en province»).—Ср. статью «En province» («La Sociale», № 19, 18/IV), опубликованную без подписи, но принадлежащую, по некоторым признакам, Андре Лео.

продолжается с прежней силой, под руководством «гниусного старика» (Тьера), который «холодно-ядовитыми словами» бесчестит Париж, «я в самое время, как льется кровь и столько доблестных граждан, отцов семейства, ежедневно калечатся и умирают за свободу»¹⁾. С тревожной душой спрашивает Андре Лео, по прочтении одного из бюллетеней Тьера: «Неужели мы дождемся того, что варварство деревень обрушится на цивилизацию городов и задушит ее; что Париж падет, истекая кровью, раздавленный тяжелым сапогом крестьянина?»²⁾. Правда, еще через несколько дней она успокоительно замечала, что старая басня о «красном призраке» изжила себя, что «48-й год отошел в прошлое 22 года тому назад», что «теперь рабочий понимает, крестьянин верит..., солдат рассуждает, ненавидит и презирает свое начальство», что даже самая глухая деревушка «начинает смеяться над бюллетенями Тьера»³⁾. Бояться новой «жакерии против Парижа» (une jacquerie contre Paris), которая привела бы к восстановлению монархии, к восстановлению «руками самого народа» длительной «эксплуатации народа», не приходится⁴⁾: в результате войны, проигранной, как об этом теперь открыто говорят в народе⁵⁾, прежде всего из-за предательства верхнеклассно-настроенного высшего военного начальства, крестьянин приобрел «спасительное отвращение к густым эполетам и сабле» (Bonheur salutaire de l'épaulette et du sabre) и, «как ничто другое, готов легким сердцем простить парижской революции убийство (двух) «жралов»⁶⁾.

Андре Лео этим и не удовлетворяется. Задача революции, — говорит он, — заключается не в том, чтобы нейтрализовать крестьянство, а в том, чтобы завоевать его. Если деревня «гораздо менее за Париж, чем против Версаля»⁷⁾, то нужно добиться того, чтобы она активно выступила за Париж и против Версаля. Но как этого достигнуть? Рациональной постановкой дела агитации и пропаганды.

Объясняя быстрое замирение революционных всплесков в провинциальных городах к концу марта — началу апреля⁸⁾ неудовлетворительностью выдвинутого повстанцами лозунга «Коммуны», как слишком отвлеченного и слишком парижского, и утверждая, что «все сложилось бы по-иному», «если бы дело шло об одном из тех интересов, которые волнуют все сердца, затрагивают всех людей» и без которых такая революция, особенно в настоящее время, не возможна, — писательница с полным основанием указывает, что привлечь крестьянина к стороне революции можно, лишь сумевши задеть его самую «чувствительную струнку», т. е. воздействуя на его материалисти-

¹⁾ «La Commune», № 33, 22/IV—1871 («Appel aux consciences...»).

²⁾ Ibidem: «Veut-on attendre que la barbarie des campagnes se rue sur la civilisation des villes et l'étouffe; que Paris tombe sanglant, martelé, sous le sabot ferré du paysan?» — «La Commune», № 21, 9/IV—1871: «... et maintenant, dans cette lutte inégale, il finit — A. M.) semble près de périr écrasé sous le robuste genou du paysan, son frère paysan».

³⁾ «La Sociale», № 27, 28/IV—1871 («Le soufflet prussien au grand orateur»).

⁴⁾ Ibidem: «La Sociale», № 43, 12/V—1871 («Le complot monarchique en province»).

⁵⁾ D'un bout de la France à l'autre, interrogez soldats et paysans, ils répondent tous le mot douloureux et fatal que Paris répète: «Nous avons été trahis!» Il (le peuple des provinces — A. M.) a saisi... ce complot monarchique, dont le mot fut partout: Périssé la France, plutôt que vive la République» («La Sociale», № 47, 16/V—1871).

⁶⁾ «La Sociale», № 47, 16/V—1871 («Le complot monarchique en province. II»). — (В этом поводу неподписанную статью «En province» («La Sociale», № 19, 18/V) приписывают, по некоторым признакам, Андре Лео).

⁷⁾ «La Sociale», № 34, 3/V—1871 («Le socialisme aux rayons»).

⁸⁾ 5 апреля пала последняя из провинциальных коммун — Марсельская.

ческую психологию. «Предубеждение против Парижа и республикан очень сильно у крестьянина, но еще сильнее в нем материальные интересы. Монархисты берут верх, играя на его преубеждениях. Мы должны воздействовать на его расчетливость (*Les monarchistes l'emportent par le préjugé. Agisso sur l'intérêt*)¹⁾. Необходимо показать крестьянину, какие выгоды экономического порядка сулит ему торжество революционного Парижа. «Не забудьте, что сильнее всего привязала крестьянина к первой революции отмена барщины и оброка, а также продажа национальных имуществ... Все, что относится к области моральных или интеллектуальных интересов, чуждо ему или задевает его мало. Заговорите с ним о политике, попробуйте убедить его, перечислите ему необходимые реформы,—он уйдет от вас почти равнодушным, попрежнему недоверчивым, чтобы через минуту забыть все, что вы ему сказали. Заговорите с ним об уменьшении налогов, об организации кредит, об избавлении его от чрезмерных процентов, которые он платит капиталу,—его взор оживится, и он скажет вам сердечно: «Если это так, то я с вами (*si c'est ça, j'en suis*)...»²⁾. Действуя тем же способом, что и революция 1789 года, а именно, освобождением земли от современного крепостного права, мы привяжем крестьянина к предстоящей революции, этому дополнению к первой»³⁾.

Переходя от слов к делу, Андре Лео—в сотрудничестве с членом Коммуны интернационалистом Малоном⁴⁾—составляет проект обращения к крестьянам. Обращение начиналось с указания на общность интересов трудящихся города и деревни. «Брат, тебя обманывают. Наши интересы одни и те же. То, чего требую я, хочешь и ты; освобождение, которого добиваюсь я, будет, и твоим освобождением. В городе тот, кто производит все богатства мира, испытывает нужду в хлебе, одежде, у него нет кровя, ему нечего рассчитывать на чью-либо помощь; но разве не то же происходит в деревне? Разве не безразлично, как называется эксплуататор: богатый землевладелец или промышленник? (*Qu'importe que l'opprimeur ait nom: gros propriétaire ou industriel?*). Как и я, ты, при длинном и тяжелом рабочем дне, не получаешь даже того, что необходимо для удовлетворения своих физических потребностей. Тебе, так же, как и мне, недостает свободы, досуга, жизни для ума и сердца. Ты и я—мы все еще и всегда рабы нищеты». В ярких красках рисуются незавидные условия труда и существования мелкого крестьянства, загнивающего в тупик ходом капиталистического развития и тщетно цепляющегося за ускользающую от него «собственность». Далее идет изложение программы требований Парижа, сформулированных в таком виде, чтобы они отвечали насущным интересам трудовых слоев деревни:

«Париж хочет, чтобы сын крестьянина получал такое же образование, как и сын богача, и притом бесплатно, ибо наука есть

¹⁾ «La Commune», № 21, 9/IV—1871. А. Молох, *op. cit.*, стр. 271.—Конечно оговаривается она тут же, «было бы лучше возвысить его понемногу до понимания истины, обращаться к его уму и сердцу, а не к материальным аппетитам, не выпускать Адама на добычу»; но что же делать, раз «путь к свободной и мирной пропаганде закрыт» для Парижа.

²⁾ «La Commune», № 22, 10/IV—1871 («La France avec nous»).

³⁾ Она добавляет, что для выполнения этой задачи нужны «люди», а не «лагуны» и «шкельники», играющие в 83-й год и заимствующие у великой революции ее ее сильные, а ее слабые стороны.

⁴⁾ P. Lanjaley et P. Corriez. «Histoire de la révolution du 18 mars», Paris 1871; p. 248.

общее достояние людей и не менее необходима для жизни, чем глаза для зрения.

«Париж хочет, чтобы не было больше короля, который берет с народа тридцать миллионов франков и откармливает, сверх того, свое семейство и свою челядь; Париж хочет, чтобы с уничтожением этих громадных расходов, налоги значительно уменьшились. Париж хочет, чтобы не было больше должностей, оплачиваемых в 20, 30 и 100 тысяч франков, что позволяет одному человеку в продолжение года проесть состояние, которого хватило бы на много семейств...

«Париж требует, чтобы люди, не имеющие собственности, не платили ни гроша податей; чтобы человек, имеющий только дом с садом, также ничего не платил; чтобы небольшие состояния были обложены слегка и вся тяжесть налогов падала на богачей.

«Париж требует, чтобы пять миллиардов (контрибуции.—А. М.) были уплачены Пруссии депутатами, сенаторами, буржуазными, аристократами войны¹⁾, и чтобы для этого были проданы их имущества, а также имущества короны...

«Париж требует, чтобы правосудие ничего не стоило тем, кто в нем нуждается, и чтобы народ сам выбирал себе судей из среды честных людей общины.

«Париж хочет... в конечном счете, земли для крестьян, орудий труда для рабочих, работы для всех» (ce que Paris veut en fin de compte, c'est la terre au paysan, l'outil à l'ouvrier, le travail pour tous).

Вслед за этими, конкретными, требованиями шли лозунги более общего характера: «плоды земли тем, кто ее возделывает», «каждому свое», «отныне пусть не будет больше ни слишком богатых, ни слишком бедных», «ни труда без отдыха, ни отдыха без труда». Авторы обращения убеждали крестьян не верить клеветническим утверждениям со стороны «ростовщика, лжецов и паразитов», будто «парижане, социалысты стоят за дележку», и с характерным для всех коммунаров идеализмом признавались, что «лучше не верить ни во что, чем верить, но справедливость невозможна». Они доказывали, что и законченная часть крестьянства заинтересована в торжестве революционного строя, при котором «те, кто производит мясо и хлеб, выгоднее продадут их на ярмарках и рынках», при котором «для всех наступит такое изобилие, какого не было еще ни при одном короле, ни при одном императоре». Обращение заканчивалось призывом к «жителям деревень» помочь Парижу (который сражается за них «так же, как и за городских рабочих») «одержать победу в его борьбе за общее дело всех трудящихся против их общих врагов—версальцев²⁾».

1) Еще 20 марта стоявший тогда у власти в Париже ЦК национальной гвардии — шевей за подписью своего «уполномоченного по внутренним делам» Гренье—объявил, что решившись «строго соблюдать условия мира», он «считает справедливым, чтобы бывшая часть контрибуции», положенной на Францию «безжалостным победителем», легла на плечи виновников этой проклятой войны» (Journal officiel¹⁴, 21/III—1871).

2) «La Commune», № 22, 10/IV—1871 («La France avec nous»). А. Молюк, оп. 8, стр. 272—274. — Опубликованное первоначально как составная часть статьи Андре Лео в № 22 газеты «Commune», это обращение было воспроизведено, в виде отдельного документа (официального «Au travailleur des campagnes» и подписанного «Les travailleurs de Paris»), в «La Sociale», № 34, 3/V—1871 (а также в некоторых др. газетах). В то время, в виде листовки в 4 страницы in 4° (P. Matillard, «Les Publications de la rue pendant le siège et la Commune», Paris 1874, p. 9), оно в количестве более 100 тысяч экземпляров, разбрасывалось с вертолетов (B. Malon, «La Troisième défaite du prolétariat parisien», Neuchâtel 1871, p. 169). Официально оно от Коммуны не исходило и даже не находило места в ее «Journal officiel».

Андре Лео возлагала большие надежды на это свое произведение, «синдикалистский» характер которого («земля—крестьянину, орудия труда—рабочему») объясняется, повидимому, стремлением к популяризации программы Парижа, как и боязнию отпугнуть крестьянство провозглашением принципа национализации земли ¹⁾. «Подобная прокламация,—писала она,—если бы ей удалось получить достаточное распространение, произвела бы в деревнях сильнейшее впечатление. Она подняла бы Шер, Аллье, Ньевр, Верхнюю-Вьенну, Лионнэ, значительную часть юга. Она придала бы новые силы революционным городам. Она дала бы, наконец, сигнал к социальной революции, которую было бы лучше отложить до ухода немцев, но которую крайности монархической реакции делают неизбежной теперь же» ²⁾.

3 мая, публикуя вновь цитированное выше обращение, на этот раз в виде отдельного документа («К трудящемуся деревни»), и утверждая, что она имела «не один случай убедиться в глубоком впечатлении, которое производит содержание» этого манифеста, Андре Лео заключила «всех социалистов Парижа»—1) сообщать в редакцию газеты «La Sociale» адреса провинциальных товарищей, которые могли бы взять на себя его хранение и распространение; 2) немедленно адресовать известное количество экземпляров этого манифеста своим родным и друзьям, живущим в провинции ³⁾. Мы не знаем, как откликнулись социалистические элементы столицы на призыв писательницы, но он лишний раз свидетельствует о том, какое громадное значение придавала она делу распространения в деревне соответствующей агитационной литературы ⁴⁾. «Если бы демократическая пропаганда,—писала она в середине мая,—могла свободно распространяться, население деревень и население городов составили бы вскоре одну семью, отныне всемогущую против эксплуататоров (si la propagande démocratique était libre de s'exercer, le peuple des campagnes et celui des villes n'en ferait bientôt plus qu'un, désormais tout puissant contre les exploitateurs). Помещики сознают это: потому-то и стараются они окружить себя молчанием и мраком ⁵⁾. Рассеет ли их восставший Париж? Пусть он бросит клич, достаточно могучий и единодушный, который донесется до самой глухой деревушки и будет услышан там, клич мученика, умираю-

¹⁾ Выдвигаемая Андре Лео в этом документе аграрная программа, выгодно отличающаяся своей конкретностью, носит отпечаток большого реализма (взят, хотя бы пунит о переложении контрибуции на плечи действительных «виновников войны», который должен был, конечно, удовлетворить все крестьянство). В то же время эта программа, в значительной своей части, совпадала с программой, развитой в «Гражданской войне во Франции» (стр. 48—49 по изд. «Прибой» 1926 г.), автору которой она осталась, повидимому, неизвестной.

²⁾ «La Commune», № 22, 10/IV—1871 («La France avec nous»).

³⁾ «La Sociale», № 34, 3/V—1871 («Le socialisme aux paysans»).

⁴⁾ Есть основание полагать, что пламенная агитационная статья-прокламация (без подписи) «Prisonniers en Prusse—Prisonniers à Versailles» («La Sociale», № 14, 13/IV—1871), посвященная разнесению «отцам, матерям, братьям, сестрам, друзьям» версальских солдат, т.е. прежде всего и больше всего жителям деревень, истинной причины гражданской войны, все еще удерживающей их близких ада от своих очагов, после того, как они высвободились из немецкого плена,—также исходит, в той или иной мере, от Андре Лео.

⁵⁾ Эти слова заставляют невольно вспомнить следующее место из «Гражданской войны во Франции»: «Помещики отлично понимали (и этого они больше всего боялись), что если коммунальный Париж будет свободно сообщаться с провинцией, то через книжки три месяца вспыхнет поголовное крестьянское восстание. Потому-то они так трусливо спешили окружить Париж полицейской блокадой, чтобы помешать распространению заразы» (К. Маркс. «Гражданская война во Франции 1871 года», стр. 49 по изд. «Прибой» 1926 г.).

него за свою веру: Да здравствуют свободные коммуны! Да здравствует республика! Да здравствует равенство!»¹⁾.

Если своеобразие Андре Лео в трактовке проблемы союзников революции заключается в том, что под этими последними она понимает, прежде всего и преимущественно, крестьянство, в то время как прудонистские публицисты—главным образом, городскую мелкую буржуазию (в первую очередь, парижскую),—то посядая на ускользает все же из поля зрения писательницы. Анализируя настроение провинции, она указывает, что между темными массами крестьянства, с одной стороны, и «котерией ненависти и предвзвешенности» (т. е., повидимому, землевладельческим дворянством)—с другой, имеется «средний класс, более или менее образованный, более или менее великодушный и склонный к новым идеям, но завистливый и робкий, притом нейтрализованный боязнью скомпрометировать себя»²⁾. Горячо призывает она мелкую буржуазию Парижа бороться против клеветнической кампании Версаля, не ради Коммуны или таковой, а ради «высшего интереса каждой нации, каждого человека—истины»; она старается доказать, что развиваемая Тьером кампания лишь не только оскорбительна для всякого жителя «столицы мира», но и грозит затяжкой и обострением гражданской войны, в будущем чревата новыми потрясениями. Исходящей из Версаля кампанией лжи и клеветы Париж должен противопоставить кампанию истин, для чего два раза в неделю должен публиковаться и посылаться в провинцию «сжатый, беспристрастный отчет о событиях». Желательно, чтобы под этим отчетом стояли «уважаемые имена» (*des noms respectés*), например, из Республиканского Союза (*Union républicaine*)³⁾, который «кажется как бы предназначенным для этой деятельности». Повинуясь повидимому тактическим соображениям (было бы отпугнуть мелкую буржуазию), Андре Лео тщательно замалчивает в разбираемой статье действительное, социальное, содержание происходящей революции и, в противоположность смыслу большинства своих заявлений, на этот раз рисует последнюю как чисто-политическое движение, как «разрыв монархической оболочки, которой нарождающаяся революция задыхается уже более 70 лет»⁴⁾.

В другой статье Андре Лео идет дальше и старается склонить мелкую буржуазию Парижа уже не к косвенной моральной поддержке, а непосредственной вооруженной защите революции. С возмущением отмечает она, что «в то время, как 50—60 тысяч героев, всегда одни те же, сражаясь за идею, за независимость человека против превосходящих сил неприятеля, оспаривают у него пядь за пядью территорию, которая не завоевывают последней под стенами столицы, зато выигрывают ежедневно во мнении Франции и всего мира,—в это самое время

¹⁾ «La Sociale», № 47, 16/V—1871 («Le complot monarchique en province. II»). См. также «Парижская коммуна и крестьянство», стр. 76.

²⁾ «La Commune», № 33, 22/IV—1871 («Appel aux consciences après lecture de l'écrit de M. Thiers»): «... une classe moyenne, plus ou moins lettrée, plus ou moins riche et portée vers les idées nouvelles, mais dépendante et timide, et neutralisée par la crainte de se compromettre».

³⁾ Речь идет, повидимому, о Центральном Республиканском Союзе («Union Républicaine Centrale»), возникшем еще во время первой осады и возглавлявшемся представителями радикальной интеллигенции 14 апреля он выступил с обширной декларацией, в которой резко порицал действия версальского правительства (особенно, клеветническую кампанию Тьера) и заявлял о своей полной солидарности с Коммуной (см. К. Маркс, «Парижская война во Франции». Редакция и примечания А. И. Мамок. «Прибой» 1926, стр. 156—159, примечание 203).

⁴⁾ «La Commune», № 33, 22/IV—1871 («Appel aux consciences...»).

не менее двухсот тысяч граждан, упитанных и свежее-выбранных, спешат, как ни в чем не бывало, по своим маленьким делам, увы, слишком маленьким, читают газеты, хладнокровно обсуждают события на фронте и воздерживаются от участия в борьбе»¹⁾. Читатель согласится, что эта характеристика людей «упитанных и свежее-выбранных» (*bien portants et frais rasés*), спешащих по своим маленьким делам, имеет в виду именно мелкую буржуазную столицу, всю массу мелких лавочников, хозяйчиков мастерских, торгово-промышленных служащих и пр.; сквозь оболочку идеалистической фразеологии здесь, как и в других статьях нашего публициста, достаточно отчетливо выступают очертания реальных классов или классовых прослоек.

Но возвратимся к содержанию статьи. Андре Лео констатирует разнообразие мотивов, выставляемых людьми, уклоняющимися от участия в борьбе. «Одни не любят Комуны, либо не доверяют ей». Конечно, члены Коммуны, как и все смертные, подлежат критике; нельзя, однако, отрицать того, что «сам избиратели не представляют какого-то типа совершенства», что парижанам «во всяком случае дано в настоящее время редкое, чтобы не сказать—небывалое, удовольствие видеть у власти людей честных, по крайней мере, в своем большинстве», что, наконец, избиратели всегда могут исправить допущенную ими ошибку. Итак, не лучше ли оставить людей, чтобы «заняться идеей» (*il semble que plutôt que de s'occuper des hommes, il serait bon de s'occuper de l'idée*) и выяснить свое отношение к «коммунальной свободе», к «независимости гражданина». «Вы—против этого?», вы хотите прав только для себя, вы хотите попрежнему держать под ярмом своих ближних ради тех выгод, которые это вам сулит. «Но, в таком случае, что вы делаете здесь? В Версаль! Отправляйтесь туда, где строят козни против справедливости, где бешено кланут свободу, где сражаются за чудовищную и дикую эксплуатацию». «Вы—за свободу? Вы ненавидите Фавра, вы презираете Тьера. Вы—за коммунальную идею, т.е. за право индивидуума..., реализованное, упроченное в соответствующих учреждениях и фактах, не просто записанное, но проведенное в жизнь... как в деревне, так и в городе... Вы хотите жить на основе свободы и равенства?.. И вы остаетесь на месте спокойно, со скрещенными на груди руками в такой момент, когда идет последняя решающая игра!.. Ни за что на свете вы не допустили бы, чтобы без вас был разрешен тот или иной денежный вопрос,—и в то же время вы предоставляете случайностям неравной битвы высший интерес вашей жизни!.. Вы ждете, в то время как от исхода боев зависит—быть вам или не быть!..» Иные заявляют, что устранились от участия в борьбе «из-за командиров»: так пусть переизберут их, «если только они не предпочитают назначенных из Версаля командиров, сменить которых, правда, невозможно»²⁾. Есть, наконец, такие, которых отталкивает встречающееся в частях пьянство. «Само собой разумеется, здесь необходимы решительные меры ради чести мундира и самих бойцов,—хотя усталость и отсутствие здоровой пищи играют, надо полагать, немалую роль в распространении указанного злоупотребления»; но «из-за нескольких невыдержанных товарищей, которые изкупают к тому же свою слабость преданностью», отказываться от исполнения своего долга—значит проявлять либо «чрезмерную щепетильность», либо «чрезмерное малодушие» (*c'est trop de délicatesse... ou trop peu de courage*).

¹⁾ «La Sociale», № 31, 30/IV—1871 (статья «Les Neutres»).

²⁾ Автор имеет здесь в виду непризнанную Версалем автономную национальную гвардию, располагающую выборным командным составом.

Из всех аргументов, которые приводят в свое оправдание «нейтральные»,—заканчивает Андре Лео,—своим глубокомысленным является тот, что далеко не все идут в бой. Это совершенно верно,—только помочь этому совсем легко: «Пусть никто не ждет, что сделает другой, пусть каждый из вас пойдет первым, и все оккупится там»¹⁾.

Если в приведенных отрывках дан в общем правильный, хотя далеко не полный, анализ всей гаммы чувств и настроений мелкобуржуазных слоев Парижа перед лицом гражданской войны, если социально-классовое содержание революции 18 марта затуманено (из тактических соображений) с большим искусством,—то аргументы и лозунги, с помощью которых Андре Лео рассчитывает вывести мелкую буржуазию из состояния «нейтралитета», следует признать слишком отвлеченными и явно недостаточными. В самом деле, она обрывается здесь не столько к уму, сколько к сердцу и совершенно не учитывает материалистической психологии мелкого мещанства, не выдвигая никаких экономических лозунгов, которые могли бы заинтересовать последнее и, хотя бы частично и на время, удержать его в лагере революции²⁾. Почти не имея себе равного в трактовке проблемы союза с крестьянством³⁾, Андре Лео заметно уступает, в постановке проблемы союза с мелкой буржуазией, не одному публицисту Коммуны из прудонистского лагеря⁴⁾.

3.

В прямой связи с проблемой союзников революции и их часть этой проблемы стоит у Андре Лео проблема раскрепощения женщины, каковая (проблема) всегда рассматривается по сквозь призму вопроса о привлечении женщины на сторону революции. В ряде сильно написанных статей обосновывает писательница свою мысль о том, какая несравненная потенциальная революционность таится в массе парижских женщин («преимущественно женщин из народа»), не находя себе применения.

Прежде всего она доказывает, что, вопреки «слепым демократам», женщины не есть «какие-то растительные существа» (*simples phénomènes végétatifs*), что, движимые инстинктом самосохранения и революционной страстью, они способны переживать те же чувства, что и мужчины, и отдаваться революции так же беззаветно, как и мужчины.

«В настоящее время,—продолжает она,—когда Париж далеко не любяет бойцами, когда храбрейшие из них гибнут ежедневно в неравной борьбе..., когда дело справедливости во всем мире тесно связано с судьбой Парижа, содействие женщин становится необходимым. Они должны дать сигнал к одному из тех высоких порывов, которые увлекают за собой всех колеблющихся и опрокидывают всякое сопротивление... Пусть же они на деле вмешаются в борьбу, в которой уча-

¹⁾ «La Sociale», № 31. 30/IV—1871 («Les Neutres»).

²⁾ Любопытно, что впоследствии обосновывая идею блока между «либеральными интеллигентами» и социалистами, Андре Лео аргументирует именно от экономического положения средней и мелкой буржуазии, как и «названной с нею интеллигенции, стараясь показать, что «современный капиталистический режим», «анти-интеллигентский» по своей природе, «держит в рабстве, на ряду с бедняком, ту подавленную массу буржуазии, которая живет своим трудом, своим талантом, и которая, пожалуй, даже в большей степени, чем рабочий, зависит от произвола и прихоти капиталиста, сильных мира сего» (André Léo. «La Question sociale». Neuchâtel 1871, p. 28, 29, 30).

³⁾ Пospopить с ней в этом отношении могли разве лишь Луи Дажо («La Sociale», 1/IV—1871, статья «Ce que dit la province») и Ж. Ришпен («Le Matin», 1/IV—1871, статья «La Révolution rurale»).

⁴⁾ В особенности—Пьеру Делю, главному сотруднику «Le Cri du Peuple».

ставуют уже душою... И солдаты (версальской армии.—А. М.), уже колеблющиеся, питаемые ложью и клеветой, вынуждены будут признать, что перед ними—не горсть мятежников, а целый народ, восставший против ненавистного гнета...». Если не все женщины могут принимать непосредственное участие в боях, то все, кроме разве тех, у кого на руках маленькие дети, могут содействовать, в той или иной форме, делу обороны; это тем более необходимо, что люди, находящиеся на фронте, страдают от всевозможных лишений, что подача помощи раненым поставлена неудовлетворительно, что питание бойцов из рук вои плохо. «Пусть же генерал Ключерс (военный делегат Коммуны.—А. М.) немедленно откроет запись в трех бюро—в о р у ж е н н о й б о р ь б ы, помощи раненым, походных кухонь. Женщины будут толпами валить туда, счастливые тем, что могут использовать святой огонь, которым горят их сердца (*heureuses d'utiliser la sainte fièvre qui brûle leurs coeurs*). А маленький историк, атакующий ныне великий город, вынужден будет добавить к написанным им главам истории следующий абзац: «В то время Париж был охвачен такой неустой страстью к свободе, праву, справедливости, что женщины сражались рядом с мужчинами, и в этом городе в два миллиона душ нашлось достаточно нравственных сил и энергии, чтобы уравновесить остальную Францию и сломить матерьяльную силу двух армий»¹⁾ (т.-е. версальской и прусской.—А. М.).

Рассказывая о мытарствах девяти женщин, добровольно отправившихся на фронт для подачи первой помощи раненым, Андре Лео возмущалась пренебрежительно-легкомысленным отношением к ним со стороны врачебного персонала и командного состава национальной гвардии и подчеркивала, что «женщина на поле битвы, в войне за право—это душа великого города, говорящая солдату: я с тобою, ты поступаешь хорошо». И все-таки,—продолжает писательница,—«общее впечатление, которое мы вынесли из этой экскурсии, вполне благоприятно; ибо рядом с буржуазной и деспотической, узкой и мелочной психикой которой все еще, к несчастью, пропитаны многие командиры,—мы встречаем у наших солдат-граждан живое, возвышенное, углубленное понимание новых идей... В то время, как большая часть командиров—все еще только... военные, солдаты—уже стали гражданами» (*Tandis que la plupart des chefs ne sont encore... que des militaires, les soldats sont bien des citoyens*)²⁾.

Теоретическое обоснование роли женщины в социальной революции Андре Лео дала в большой статье под заглавием «Революция без женщины»³⁾. Возвращаясь к рассказанному ею за два дня перед тем эпизоду с несколькими волонтерками, не допущенными на передовые позиции, она ставит на вид главному командованию (и, в частности, генералу Домбровскому), что революция 18 марта совершилась, «главным образом, благодаря женщинам» (*grâce aux femmes surtout*), разложившими своей агитацией посланные на Монмартр воинские части

¹⁾ «*La Sociale*», № 13, 12 IV—1871 (статья «*Toutes avec tous*»).

²⁾ «*La Sociale*», № 37, 6 V—1871 («*Aventures de neuf ambulancières à la recherche d'un poste de dévouement*»).—Статья Андре Лео произвела впечатление. Военный делегат Коммуны Россель прислал ей письмо, в котором выражая свое сожаление по поводу сообщаемых ею фактов, просил ее указать каким образом он мог бы «использовать ту преданность, которая остается без употребления». В ответном письме Андре Лео рекомендовала Росселю «сформировать специальные перевязочные отряды для обслуживания передовых позиций, управляемые одним или двумя врачами, свободными от предсудков», либо молодыми женщинами, сдавшими экзамены при медицинском факультете («*La Sociale*», № 38 и 40, 7 V и 9 V—1871. Ср. А. Молок «Очерки быта и культуры Парижской Коммуны 1871 г.», Ленинград, 1924, стр. 109—110).

³⁾ «*La Sociale*», № 39, 8 V—1871 («*La Révolution sans la femme*»).

помешавшим увозу пушек. От этого конкретного примера наш автор переходит к более общему вопросу: «Можно ли совершить революцию без участия женщин?» (*croit-on pouvoir faire la Révolution sans les femmes?*). «Вот уже 80 лет, как бьются над этим, и все безуспешно. Первая революция, правда, наделила их титулом гражданок, — титулом, но не правами; свобода, равенство не распространились на них. Оброшенные от революции, женщины вернулись к католицизму и под его влиянием образовали ту огромную реакционную силу, пропитанную духом прошлого, которая душит революцию всякий раз, как та пытается воскреснуть»¹⁾. После этого краткого, но в общем довольно яркого, изложения «истории вопроса» Андре Лео дает интересную и глубокую даже сейчас актуального значения, характеристику жизни старой психики и старых бытовых отношений при новом, революционном строе. «Когда республиканцы возвысятся до того, что воймут свои принципы и научатся служить своим интересам? Они не хотят, чтобы женщина оставалась под нгом попов; но им не нравятся, если она выступает как свободомыслящая. Они не хотят, разумеется, чтобы она действовала против них, но в то же время отвергают ее содействие, стоит ей только заговорить об этом. Отчего это происходит? Я вам сейчас объясню: от того, что многие республиканцы,—я не говорю об истинных,—низложили императора и господа бога только для того... чтобы занять их место. А для этого им, понятно, нужны подданные, хотя бы одного только женского пола (*su jettes*). Женщины, говорят они, не должны больше подчиняться попам, но вместе с тем не должны быть более самостоятельной, чем прежде. Она должна оставаться нейтральной и пассивной...». Но такое положение противоречит самому духу революции, которая означает ведь свободу «для всякого человеческого существа... без всяких расовых или половых ограничений» (*sans aucun privilège de race ni de sexe*).

«Женщины не покинут старую веру до тех пор, пока горячо не примут новой. Они не хотят, не могут оставаться нейтральными. Нужно выбирать между их враждой и преданностью...»²⁾. Положение женщины из народа в осажденном версальцами Париже не менее тяжелое, чем положение мужчины: «Кто страдает больше всего от настоящего кризиса, от дороговизны продуктов, от прекращения работ?—Женщина, в особенности одинокая женщина, которою новый строй занимается не больше, чем занимался ею старый». Игнорируя соответствующее законодательство и практику Коммуны, Андре Лео доходит до утверждения, что если «кто ничего не выиграл, по крайней мере сейчас, от успеха революции, так это женщина; что «не об ее освобождении, а только об освобождении мужчины идет речь». Возвращаясь к своей основной мысли—о женщине, как о потенциальном союзнике революции, она заканчивает следующим характерным абзацем: «С известной точки зрения, можно было бы всю историю, начиная с 89 года, изложить под заглавием: История непосредственных последствий революционной партии (*Histoire des conséquences du parti révolutionnaire*). Женский вопрос составил бы в этой книге самую солидную главу; в ней было бы показано, как эта партия нашла средства толкнуть в непри-

¹⁾ «Именно из-за женщин, главным образом, терпела поражение демократия, и она имеет не иначе, как при содействии женщин»,—говорит она в другом месте (*La Société*, № 18, 12/IV—1871).

²⁾ «Les femmes n'abandonneront la vieille foi, que pour embrasser avec ardeur la nouvelle. Elles ne veulent pas, elles ne peuvent pas être neutres. Entre leur hostilité et leur adhésion il faut choisir».

гельский лагерь половину своей армии, которая не переставала требовать, чтобы ее вели в бой».

В то же время писательница не перестает подчеркивать, что необходимо, «наперекор современным предрассудкам и, являясь, всеми силами стремиться к тому, чтобы возможно скорее достигнуть того настоящего братства между мужчиной и женщиной, той общности чувств и взглядов, которые одни могут установить Коммуну будущего, основанную на честности, равенстве, мире»; она категорически заявляет, что «республика не утвердится прочно до тех пор, пока половина рода человеческого будет жить, погрязши в заблуждениях прошлого, в стороне от интересов и стремлений современности»¹⁾.

Нельзя отрицать того, что в этих, как и других, рассмотренных нами заявлениях Андре Лео по женскому вопросу рассеяно немало метких и верных замечаний, делающих честь ее наблюдательному и трезвому уму. Но если сравнить эти статьи нашего публициста с ее же статьями, посвященными крестьянству (наиболее удачными из всех), сразу бросается в глаза, насколько первые слабее вторых. Оставляя в стороне свой обычный и, как мы видели, довольно острый социальный критерий, Андре Лео оперирует здесь слишком общими понятиями—женщины вообще, мужчины вообще, когда следовало бы говорить о трудящейся женщине, о мужчине - proletарии. Но даже при таких поправках, ее утверждения носят слишком категорический характер и слишком отдают идеализмом. Андре Лео не вполне понимает, например, того, что то действительно равноправие, те гармонические отношения между полами, о которых она мечтает, осуществляются лишь в результате полной ликвидации строя, основанного на эксплуатации человека человеком, и замены его новым, социалистическим. Говоря о необходимости привлечения женщины—поправим: трудящейся и немущей женщины—на сторону революции, она не выставляет ни одного конкретного лозунга, способного заинтересовать и завоевать этого действительно - ценного для последней союзника.

В заключение добавим, что Андре Лео, не ограничиваясь ролью теоретика женского вопроса, принимала активное участие в практической работе женских революционных организаций, действовавших в Париже во дни Коммуны²⁾.

4.

Нам остается рассмотреть, как ставились и разрешались в публицистике Андре Лео вопросы текущей политики. Прежде всего, отметим, что в своей оценке политики Коммуны она исходит из собственного всем бакунистам (и не им одним) недialeктического противопоставления «партии»—«принципу», «силы»,—«праву»³⁾, «Коммуны»—представляемой ею «революции»⁴⁾. С характерным для баку-

¹⁾ «La Sociale», № 40, 9/V—1871 (А. Молюк. «Очерки быта и культуры Парижской Коммуны», стр. 110): «La Republique ne sera inébranlablement fondée, que lorsque la moitié de l'humanité ne vivra plus dans les erreurs du passé, à part des intérêts et des passions de la vie moderne».

²⁾ Об этой стороне деятельности Андре Лео — см. А. Молюк: «Очерки быта и культуры Парижской Коммуны 1871 г.», стр. 102, 103, 106—106 — Андре Лео являлась также в учрежденную 21 мая комиссию по реорганизации женского образования и наблюдению за школами для девушек, которая не успела, однако, приступить к работе (А. Молюк. «Народное просвещение во время Парижской Коммуны 1871 г.», ГИЗ, 1922, стр. 19).

³⁾ «La Commune», № 21, 9/IV—1871 («La France avec nous»): «...il faut savoir que l'on est, que l'on veut être: un principe ou un parti? le droit ou la force?»

⁴⁾ «La Sociale», № 45, 14/V—1871.

ими анархическим пренебрежением к «вождям» недооценивает она значение кадров в революции, заявляя, что «тем, кто сражается за свободу, чужд фетишизм в отношении правящих»¹⁾, что людей (руководителей) «всегда можно найти»²⁾ (les hommes, on en trouve toujours) и т. д. Критикуя колебания Коммуны между функциями муниципальной власти и власти национальной («не итти двумя различными путями, говорить: я—Коммуна, а действовать как Учредительное Собрание»),—она недооценивает—опять-таки по-бакунистски—значения правительственной работы Коммуны, её законодательства: «Пусть он (Париж.—А. М.), не издает декретов, по меньшей мере бесполезных, так как не может осуществить их...». Вместо того Париж должен озаботиться прежде всего тем, чтобы «его голос был услышан Францией и всем миром»; «гордо укрепившись в своем праве и в своей идее, пусть он победит с ними и с помощью их, или это возможно, или пусть падет, оставив невежественному и бедному народу в наследство идею, которая освободит этот народ»³⁾.

Критикуя политику Коммуны, Андре Лео оказывается также необходимой от некоторого фетишизма в отношении формальной демократии. Опасаясь, что репрессивно-диктаторный режим может смутить «тех, кто за людьми не видит идей» (troubler la conscience de ceux qui ne voient les idées qu'à travers les hommes), она настаивает на следующей тактике: «Не подражать насилием, покушениям и свободой и мысль, которые составляют сущность наших требований. Достойным образом поддерживать свои верования, выказать в полном беске идею, которой имеем честь быть представителями, не ватемнять ее своими ошибками или страстями...»⁴⁾.

Высказываясь за соблюдение Коммуною неограниченной свободы печати, она возражает товарищам по редакции «La Sociale», одобряя восторженно разрешение (18 апреля) четырех реакционных газет⁵⁾: «Вы находите, что это хорошо. Я нахожу, что это плохо... А так как мое имя уже появилось на столбцах «La Sociale» и еще не раз там появится, то я считаю необходимым снять с себя в этом пункте всякую ответственность, из уважения к принципам, которые составляют силу и весь смысл существования демократии. Отрекаться от них—значит, по-моему, отречься от своей миссии. Если мы будем поступать подобно нашим противникам, каким образом будут выбирать между нами и нами? А, при таком смятении умов, может ли наше дело рассчитывать на успех! Пусть судебным порядком преследуют клевету и клевету, но свобода мысли да будет ненарушима»⁶⁾.

«...Мы возьмем в жиде из монархических идей и идей социальных, которые беспорядочно сталкиваются между собою»⁷⁾,—комментирует писательница в открытом письме на имя редакции «La

¹⁾ «La Sociale», № 31, 30/IV—1871 («Les Neutres»): «Ceux qui luttent pour la liberté n'ont pas le fétichisme des gouvernants».

²⁾ «La Sociale», № 45, 14/V—1871.

³⁾ «La Commune», № 21, 9/V—1871 («La France avec nous»).—В той же статье следующее характерное для идеализма автора место: «К нам все наши доспехи: чистота, справедливость, равенство! Пусть они выступят в бой за недостатком митралий».

⁴⁾ «La Commune», № 21, 9/V—1871 («La France avec nous»).—Интересно, что в этой статье она вынуждена признать, что без широкого и серьезного образования любое голосование превращается в ловушку, куда попадает и гибнет демократия; «...очень, достаточно далекое от демократического фетишизма».

⁵⁾ «La Sociale», № 23, 22/IV—1871 (статья «C'est bien»).

⁶⁾ «La Sociale», № 25, 24/IV—1871 (открытое письмо в редакцию от 22/IV).

⁷⁾ «...patageons-nous dans un tohu-bohu d'idées monarchiques et socialistes, riant de l'écrit et s'entre-choquant».

Sociale», датированном 11 мая ¹⁾, и написанном по поводу выставленного против бывшего военного делегата (Росселя) бездоказательного обвинения в измене. «Революция 18 марта также имеет свой официальный тон и свое официальное молчание, притом как раз в критических, решающих случаях... Но по какому праву? Неужели не ясно, что действовать так,—значит отрицать народный суверенитет и права истины?.. Но если вы отвернетесь от избирателей, то что будете представлять собою вы, их избранные?.. Вечное отсутствие гласности, государственные тайны, запорные двери! Что это вы так скрываете, граждане? Военные новости,—согласна, хотя они-то как раз скорее всего узнаются, хотя их-то как раз опаснее всего скрывать. Но ваши заседания, ваши взгляды,—не обязаны ли вы отчитываться в них перед народом, который избрал вас?.. Нет, это отжившие монархические извращения, неуместные в столь серьезном положении и недостойные столь правого дела. Народ, который умирает за это дело, имеет право знать, кто ему служит и кто его предаст. Истинная демократия не боится правды, на которой она зиждется, из которой исходит, к которой стремится и от отсутствия которой погибает».

Ни атома революционной диалектики пролетариата нельзя найти в этом страстном обличении «правительственных тонкостей» (*ces fines ses gouvernementales*) и «ветоши маккиавелизма» (*ces vieux machiavélismes*) в политике Коммуны. Наш автор оказывается здесь целиком во власти старых формально-демократических иллюзий, причудливо переплетающихся с новыми анархическими и предрассудками; более того—фактически солидаризируется с «критиками» Коммуны из лагеря радикально-демократического мещанства.

Особого внимания заслуживают статьи Андре Лео, посвященные вопросам военной политики. Примыкая по своим тактическим взглядам и личным связям скорее к «меньшинству» Коммуны ²⁾, резко критикуя якобинско-бланкистское «большинство» ³⁾, как «плагиаторов» и «школьников», подражающих ошибкам великой револю-

¹⁾ «La Sociale», № 46, 14/V—1871.—Объясняет она это отрицательное явление (царящую в Коммуне ~~идейную~~ путаницу) тем, что своевременно не была проделана необходимая «подготовительная и революционная работа по классификации идей, как революционных, так и мнимо-революционных» (не сознавая, повидимому, того, что подобная работа могла бы быть проделана лишь единой партией, о которой коммунары 1871 года не могли и мечтать).

²⁾ Солидарность Андре Лео с прудонистско-бануинистским «меньшинством» Коммуны не была, повидимому, стопроцентной: по крайней мере, раскольничья декларация оппозиции от 15 мая не нашла себе места в «La Sociale» и не вызвала со стороны писательницы ни единой строчки комментария (правда, уже через два дня газета перестала выходить).

³⁾ «Более, чем кто-либо,—заявляла она впоследствии,—я оплакивала, я проклинала ослепление этих людей, и имею в виду большинство,—безнадежная неспособность коих погубила это величайшее дело» (M-me André Léo. «La Guette sociale», Neuchâtel 1871, p. 6). «...Нужно повторять и повторять,—читаем мы там же (ibid., p. 33).—что революция 18 марта находилась в руках не социализма, как это утверждают с задней мыслью [намек на Марислау «Гражданскую войну во Франции».—А. М.], но все время в руках якобинизма, якобинства буржуазного и своим большинством, составленного преимущественно из журналистов, людей 1848 года. Студентов, клубистов. Меньшинство, рабочее и социалистическое, удерживало их иногда, протестовало почти всегда, но никогда не могло повлиять на ход дел в желательном для него направлении». Андре Лео обвиняет якобинцев Коммуны в том, что они извратили смысл революции 18 марта, сделав «из коммунистической идеи, этого следствия свободы, Комитет Общественного Спасения, ее противоположность» (ibid., p. 33). В частности, Рауль Риго и Ферре, организаторы расстрела некоторых заложников, оказываются «двумя самыми злостными личностями Коммуны» (ibid., p. 7: «deux des plus malheureuses personnalités de la Commune»), которым, якобы, лишь сопротивлявшееся «меньшинство» помешало добиться применения закона о заложниках до 23 мая (ibid., p. 7).

ия, а не ее сильным сторонам (смелости и вере в свое дело)¹⁾,—она в дискуссии, завязавшейся вокруг отставки и бегства военного делегата Росселя²⁾, заняла позицию пламенного сочувствия последнему и решительного осуждения политики правящей группы, в частности развешивающей национальную гвардию комитетчины³⁾. «Перед лицом всех обвинений, всех угроз, направленных против гражданина Росселя,—писала она в статье, опубликованной без подписи⁴⁾,—мы остаемся верны ему до конца. Мы достаточно успели оценить военные таланты и мужественную энергию военного делегата, чтобы не отступить от него в тот момент, когда на него отовсюду сыплются обвинения... Мы заявляем, что его единственной ошибкой было то, что он не использовал до конца своих полномочий военного делегата, чтобы одним ударом покончить и с Центральным Комитетом [национальной гвардии], и с начальниками легионов, которые во все время его миниперства только ставили ему палки в колеса. Если бы он это сделал, он был бы еще с нами и помог бы нам выйти из того тупика, в который мы шли». В заключение писательница выражала надежду, что заменивший Росселя «гражданский делегат по военным делам» Делеклюз сумеет упразднить «праздных носителей галунов» и окружить себя спешалистами; она заклинала членов Коммуны,—если только они не хотят, «чтобы революция пала вместе с Парижем»,—предоставить руководители военного аппарата полную свободу действий, поставив их, однако, под соответствующий политический контроль.

Несколько дней спустя, возвращаясь к тяготеющим над Росселем обвинениям в предательстве, она—от лица «людей с сердцем и здравым смыслом», «верных революции 18 марта, но страдающих при виде того, как ею руководят»—заявляла, что военный делегат «подал в отставку потому, что действия Центрального Комитета сводили его преданность к бессилию». И что же—рядом со «смехотворной афишей», обвиняющей Росселя в заговоре против революции⁵⁾, красуется другая (также на официальной белой бумаге), в которой Центральный Комитет объявляет решительным тоном, что «берет в свои руки власть и сохранит ее за собою»⁶⁾. Перед лицом таких фактов Андре Лео задает вопрос, что это—«предвзятое решение погубить то, что может спасти революцию, и сохранить то, что должно ее погубить», «слепы, то ли, члены Коммуны, или решились не видеть (les membres de la Commune sont ils aveugles?—ou décidés à ne pas voir?)». «Что делает Центральный Комитет со времени избрания Коммуны?» Всей своей мнительностью соперника Коммуны во власти он занят одной орга-

¹⁾ «La Commune», № 22, 10/IV—1871 («La France avec nous»).—Ср. André Léo, «La Quête sociale», p. 33: «...ces échappés de collége... n'ayant dans la tête que des pensées et des phrases de livre...».

²⁾ 9 мая, под впечатлением известия о падении форта Исси, Россель—открытым образом на имя коммуны—заявил о невозможности для себя, при сохранившемся в военном аппарате хаосе, продолжать исполнение обязанностей делегата. Арестованный и преданный военному суду, он скрылся (на следующий день), после чего Комитет Общественного Спасения поспешил объявить его изменником (см. А. Молох, «Военная организация Парижской Коммуны и делегат Россель»: «Историк-Марксист», 1928, т. 7).

³⁾ Аналогичную позицию в этой дискуссии заняли газеты «Le père Duchêne» (Антверпен), «Le Réveil du Peuple» (якобинско-диссидентская и некот. др.).

⁴⁾ «La Sociale», № 44 13/V—1871 («Le citoyen Rossel»).

⁵⁾ Обращение к-та Общ. Спасения «К парижскому народу» от 12 мая («Journal officiel» Коммуны, 13/V—1871).

⁶⁾ Возмущение Центр. К-та над гвардией к населению (с сообщением о принятии им в свое управление военным ведомством) от 9 мая («Mursilles politiques françaises», Paris 1874, t. II, p. 445).

низацией—организацией беспорядка»¹⁾. Сделав таким образом, последний козлом отпущения за все военные и политические затруднения революции, Андре Лео переходит к требованию следствия над всеми членами Ц. К., среди коих должно быть, как ей кажется, немало подозрительных элементов. Чтобы не быть голословной, она приводит один пример—некоего А. Дюкана, в недалеком прошлом аполитичного человека богемы, ныне члена Центрального Комитета, уличенного в расхищении общественных средств²⁾. Неужели же,—спрашивает Андре Лео,—«дано будет подобным людям погубить самую значительную революцию, самое справедливое и самое плодотворное движение, какое имело место со времени 89 года?». «Препятствие, ния которому Центральный Комитет, должно быть разрушено», ибо там гнездится измена. Итак—«следствия над всеми этими людьми, подозрительными и вредоносными», следствия серьезного, проведенного притом в кратчайший срок, ибо провинция, которая уже шла на помощь Парижу, отступает перед зрелищем раздирающих революцию внутренних раздоров, «а Версаль приближается!»³⁾.

Своего аплога кампания Андре Лео в защиту Росселя, как жертвы якобинско-бланкистского руководства Коммуны,—кампания, объективный вред которой для дела революции, повидному, ускользал от автора,—достигла в статье (опубликованной без подписи) под резким заглавием «Подлецы»⁴⁾, если и не вышедшей непосредственно из-под пера писательницы, то во всяком случае явно ею инспирированной.

Автор заявляет, что «раз члены Коммуны... не дают путем бесспорных доказательств удовлетворения общественному мнению, естественно вызованному» выставленным против бывшего главнокомандующего обвинением,—значит это «обвинение ложно», и Коммуна «употребляла во зло доверие народа, лишив его меча, полезного для защиты города». Затем следовала гневная тирада по адресу «бессовестных обвинителей» бывшего военного делегата: «Гражданин Россель мешал вашему жалкому честолюбию: его военные познания, его проинициальность, его хладнокровие заставляли вас бояться его и недоверять ему, вам нужно было отделаться от него,—и вы употребили самое гнусное средство: обвинение в измене».

Дальше тон статьи переходит всякие границы лояльности. «Вы называете его диктатором! Мы утверждаем, что он был им слишком мало. Неграмотный хозяин в военной делегации, он должен был взять в свои руки всю полноту власти, перешагнуть через все остальное, а вас, члены Комитета Общественного Спасения, вас, члены Центрального Комитета, всех вас, расшитых с головы до ног галунами, бездарных и злобных дураков, которые стесняли его движения, мешали военным действиям...,—не медля ни минуты, приказать расстрелять! Вот как понимаем революцию мы...

«Только диктатура поможет нам выйти из борьбы, которая, к несчастью, стоила нам уже столько жертв; только диктатура отведет от нас бич, который грозит нас уничтожить»⁵⁾...

¹⁾ «Le Comité central ne poursuit qu'une organisation, celle du désordre».

²⁾ Несмотря на разоблачения Андре Лео, названный Дюкан оставался, повидному, до конца в составе Ц.К.: по крайней мере, его подпись стоит под совместным воззванием Военной Комиссии Коммуны и Центр К-та «К парижскому народу» и «К национальному гвардии» от 19 мая (Journal officiel Коммуны, 20/V—1871).

³⁾ «La Sociale», № 46, 15/V—1871 (статья «Une enquête urgente»).

⁴⁾ «La Sociale», № 47, 16/V—1871 (статья «Les Infâmes»).

⁵⁾ «C'est n'est que par la dictature que nous sortirons d'une lutte qui, malheureusement, nous a coûté trop de pertes, ce n'est que par la dictature que nous échapperons au fléau qui menace de nous anéantir».

«Народ ждет немедленных, исчерпывающих разъяснений! Тем паче для вас, если вы окажетесь единственными участниками заговора, который затеяли. Мазас достаточно велик, чтобы вместить вас, и вы будете вынуждены объявить народу, что вы солгали!».

Эта неслыханная по своей резкости статья (интересная еще тем, что логика фракционной борьбы заставляет здесь бакунистско-прудонистский орган говорить о «диктатуре», как о единственном средстве спасти революцию) не осталась безнаказанной: через два дня «La Sociale» перестала существовать¹⁾.

Подведем теперь некоторые итоги проделанному нами анализу публицистической деятельности Андре Лео в период Коммуны.

Мы уже видели, что если (как это сделано в настоящем исследовании) брать только статьи, бесспорно ей принадлежащие или несо-
мненно ею инспирированные²⁾, то содержание их может быть сведено к четырем основным проблемам или группам проблем: 1) проблема классового сущности движения 18 марта, 2) проблема союза э-
ляхов революции (в частности, проблема смычки с деревней), 3) проблема раскрепощения женщины и завоевания последней
сторону революции, 4) проблемы текущей политики Коммуны (в частности, оценка ее военной политики). Мы видели также, что центральное место в этой публицистике занимает проблема союзников
революции, в постановке каковой Андре Лео обнаруживает порой ослепление исключительными для своего времени и своей среды гл-
бы анализа и чувство реальности (в частности, редкое знание мате-
риалистической психологии крестьянина), делающей ее на несколько
полюс выше громадного большинства своих товарищей по перу³⁾. Уста-
навливая мы далее и то, что, при всей своей идеалистической фразеоло-
гии, наш автор, в отличие от большинства публицистов Коммуны, про-

1) Последний (48-й) № газеты вышел 17 мая. Была ли она закрыта распоряжением Коммуны или закрылась сама, во-время предупрежденная о грядущем редакции аресте
мы не знаем, например, с «Mot d'Ordre», который, получив соответствующее пред-
упреждение, перестал выходить с 20 мая: см. Henri Rochefort, «Les Aventures de
ma vie», III, p. 81—82). Вероятнее—второе: по крайней мере, ни в одном из известных нам
исследований Коммуны о закрытии тех или иных газет «La Sociale» не фигурирует.

2) Быть может, дальнейшие исторические изыскания, опираясь на методы сравни-
тельного изучения анонимных текстов, либо на еще неизвестную нам докумен-
тацию, установят когда-нибудь принадлежность Андре Лео другим неподписанным
статьям из «La Sociale» (а может быть, и других газет эпохи) и тем, в той или иной мере,
сложив базу, на которой построено настоящее исследование. Заметим тут же, что на
протяжении после разгрома Коммуны клерикально-монархической «Фигаро», ослепивший
множество «литературных само», свободомыслящих романистов, деклассированных учи-
телей, суицидальных уроков» Коммуны («Le Figaro», 2(VI)—1871, с. «La Femme
et la Commune», сделав попытку приписать Андре Лео опубликованное в «La Sociale» (от 14(VI)—
1871) без подписи обращение «К Коммуне», настаивающее на принятии последнюю репресен-
тацию мео (плато до расстрела) против контрреволюционных элементов («Le Figaro»,
2(VI)—1871, обзор: «Les journaux de la Commune»). Опровержение со стороны писатель-
ства появилось в ее лозаннской речи-брошюре от сентября 1871 г. (André Léo, «La
Commune sociale», p. 12).

3) Эта черта в публицистике Андре Лео (особо повышенный интерес к проблеме
союза с крестьянством) лишний раз подчеркивает ее чуждость прудонизму
и, в частности, интерес к проблеме союза с мелкой буржуазней) и
вспомогательному: известно, какое громадное значение придавал Бакунин—
и в письмах к французам, относившихся к авг. сент. 1870 г.—«действительному
союзнику города с деревней, рабочих с крестьянами» (М. Бакунин, «Избранные сочи-
нения», т. IV, изд. «Голос Труда», 1920). Нужно, однако, добавить, что в постановке
этой проблемы Андре Лео сумела преодолеть патристическо-анархистскую тенден-
цию Лисам к французам (союз пролетариата с крестьянством для спасения Франции от
внешней опасности и для одновременного разрушения государства) и прибавить к
этой программе «Гражданской войны во Франции».

являет достаточно четкое для не-марксиста понимание действительной, социально-классовой, подоплеку движения, не увлекаясь его внешней, политической формой борьбы за коммунальные вольности Парижа, за преобразование Франции на началах федерализма. Отметим мы и то, что проблема раскрепощения женщины рассматривается писательницей как составная часть проблемы союзников революции и, может быть, именно потому далеко не всегда в надлежащем классовом разрезе. Показали мы, наконец, и то, что наиболее слабой частью публицистики Андре Лео являются статьи и заметки, посвященные оценке текущей политики Коммуны; что в своей критике таковой (политики) она оказывается сплошь и рядом во власти характерной для мелкобуржуазного революционера (т.е. для всех почти деятелей Коммуны, этой пролетарской революции без пролетарской партии) антидиалектической мешанины из демократических иллюзий и анархических предрассудков; что занятая ею политическая позиция приводит ее к нелояльным, объективно-вредным для дела революции выступлениям против тех, кто, худо ли, хорошо ли, осуществлял в эти трагические дни пролетарскую диктатуру в Париже; что если, как публицист-теоретик, она сильно способствовала уяснению действительного смысла движения, то, как публицист-политик, причинила ему бессознательно значительный вред ¹⁾.

Спрашивается, является ли Андре Лео типичным представителем какого-либо определенного течения в революционно-социалистической публицистике Коммуны (и если да, то какого). Отрицательный ответ на этот вопрос сам собой вытекает из рассмотренных нами материалов. Социализм Андре Лео так же неопределен, как и социализм большинства ее товарищей по «La Commune» и «La Sociale» (если говорить только о тех газетах, в которых она сотрудничала), и если уж искать для него какого-либо определения, то наиболее адекватным будет, пожалуй, следующее: революционный социализм с довольно заметной бакунистской окраской. Этот вывод облегчается известными нам из биографии писательницы фактами ее сотрудничества в бакунистском по-преимуществу органе, каким была «La Sociale» 1871 года ²⁾, ее близости к бакунистским кругам как до, так и после Коммуны ³⁾.

В заключение—несколько слов о стиле Андре Лео. Приведенные на протяжении данной работы цитаты (ослабленные, правда, переводом), думается, избавляют нас от необходимости доказывать, что она писала исключительно-ярким, богатым всеми оттенками речи, сильным, волнующим даже современного читателя языком, уступая в этом отношении разве одному лишь Валлесу. Нет никакого сомнения, что ее статьи доходили до массы, тем более, что они редко грешили против основного технического требования, которое предъявляется к газете массовым читателем: против ясности и простоты.

¹⁾ Впоследствии, вспоминая о своей борьбе против политики правящего, большинства Коммуны, она (как бы в свое оправдание) ссылалась на то, какие жуткие страдания причиняло ей тогда созерцание того, как эта политика ведет революцию к гибели (André Léo. «La Gazette sociale», p. 5: «Quelle souffrance, jour à jour à la voir périr!»).

²⁾ О бакунистской окраске газеты «La Sociale» 1871 года свидетельствуют не только разобранные нами статьи Андре Лео, но и многие другие, особенно статьи: «La Révolution sociale en 1789 et en 1871» (№ 1, 31/III), «La Liquidation de la propriété» (№ 2, 1/IV), «Le Programme de la Commune» (№ 23, 22/IV) и, конечно, статьи эти опубликованы без подписи, и нам не удалось установить их автора или авторов.

³⁾ Печать бакунизма лежит и на неоднократно цитированной нами лозунговой речен-брошюре Андре Лео «La Gazette sociale», где особенно типичны в этом смысле места, содержащие характеристику социального положения непривилегированной, деклассированной интеллигенции и ее роли революционного фермента в буржуазном обществе.

Жан Варле в эпоху термидорианской реакции¹⁾.

Я. Захер.

Из всего бесконечного количества отдельных моментов и эпизодов, на которые распадается тот сложнейший конгломерат событий, который мы называем Великой Французской революцией, вряд ли есть еще какой-либо период, столь мало изученный марксистской историографией, как первые дни и недели, последовавшие за переворотом 9-го термидора. И это отнюдь не случайно—изучение истории этого периода не только наталкивается на почти неодолимое препятствие в виде недостатка источников, но и крайне затрудняется столь характерной для этого отрезка времени исключительной сложностью классового переплета и борьбы партийных группировок.

Эта сложность объясняется тем, что в основном вопросе, ставшем в порядке дня после переворота 9-го термидора — сохранение или уничтожение революционного порядка управления—социально близкие друг к другу классовые прослойки становились сплошь и рядом в противоположные позиции, не останавливаясь перед вступлением в временный блок с совершенно чуждым, а часто даже и ярко-враждебными, им слоями и группами. Поскольку же, с другой стороны, то или иное разрешение этого политического вопроса еще вовсе не предопределяло направления разрешения отнюдь не менее важной экономической проблемы того времени—быть или не быть, дальше закону о максимуме²⁾,—ясно, что это окончательно спутало все карты и создавало в классовых и партийных группировках первых месяцев термидорианской реакции совершенно исключительную сложность и противоречивость.

Первое, что бросается в глаза историку, пытающемуся распутать сложнейший клубок партийных группировок конца лета (и ранней осени) 1794 года, это то, что на исторической сцене борются в это время две коалиции, сходные между собой только в том, что обе они объединяют одинаково социально и политически неоднородные элементы. Первая из этих коалиций, лозунгом которой является дальнейшее сохранение революционного порядка управления и мысли которой были в наиболее чистом виде изложены в известном адресе, представленном 19 фрюктидора (5 сентября) Национальному Конвенту яко-

¹⁾ Настоящая статья представляет небольшой отрывок из предпринятой автором работы о «бешеных», т.е. крайне левом крыле революционной демократии Великой Французской революции. В основу работы положены материалы Центрального Архива и Национальной Библиотеки в Париже.

²⁾ В самом деле, сторонниками возвращения к частной, а то даже и к полной свободе торговли выступали не только такие правые термидоранцы, как Эдме Нэ («Moniteur», t. XXI, p. 763), Бурдон из Уазы (там же), Дюбуа-Крансэ («Moniteur», t. XXII, p. 6) и Лежандр («Moniteur», t. XXII, p. 80), но и левые термидоранцы в роде Камбона («Moniteur», t. XXI, p. 764; t. XXII, p. 425).

бинским клубом города Дижона ¹⁾, состояла из остатков робеспьеристов, части остатков эбертистов (Карье) и, главным образом, из левых термидорианцев (Билло-Варени, Колло д'Эрбуа, Вадье, Амар и т. д.). Программа этой коалиции была весьма проста: она считала, что переворот 9-го термидора знаменует собой перемену не системы, а только лиц, и соответственно этому требовала сохранения революционного порядка управления ²⁾, террористических законов ³⁾ и ограничения свободы печати ⁴⁾. Цитаделью этого течения являлся якобинский клуб и некоторые из секций Парижа.

Несравненно сложнее и противоречивее по своему классовому составу была противоположная коалиция, все элементы которой сходились на требования уничтожения революционного порядка управления, прекращения террора и установления свободы печати. В состав ее входили, с одной стороны, правые термидорианцы (Талльен, Фрерои, Лекуантр, Бурдон из Уазы и т. д.), т. е. переродившиеся якобинцы, выражавшие интересы создавшейся во время революции «новой» буржуазии, а с другой стороны часть остатков эбертистов (Бодсон, Легр ⁵⁾, остатки «бешеных» (Варле) и, наконец, Бабеф, т. е. явные и несомненные выразители беднейших слоев городского населения. Каким же образом могла создаться столь странная коалиция?

Что касается ее правой части, то совершенно естественно и понятно, что представители «новой» буржуазии, свергшей 9-го термидора неинавистную ей диктатуру «неподкупного», стремились сделать из переворота этого дня все логически вытекавшие из него выводы в виде устранения тех препятствий, которые стояли на пути к экономическому и политическому господству крупной буржуазии. Поэтому неудивительно, что уже 12 фрюктидора (29 августа) представитель правых термидорианцев Лекуантр выступил в Конвенте с обвинением против членов правительственных комитетов Билло-Варени, Колло д'Эрбуа, Баррера, Вадье, Амара, Вуллана и Давида, при чем подлинная сущность его речи заключалась в осуждении не только этих лиц, но и всей системы революционного порядка управления в целом ⁶⁾. Столь же понятным было и выступление правых термидорианцев в защиту свободы печати, при чем исключительно характерно, что, защищая этот тезис в заседании якобинского клуба 1 фрюктидора (18 августа), Талльен говорил, что «пора раз навсегда прекратить ужасный режим насилия, угнетения и тирании» ⁷⁾. Но каким образом могло произойти,

¹⁾ «Moniteur», t. XXI, p. 691.

²⁾ Это требование выставлялось в ряде речей в Конвенте и якобинском клубе. См., напр., восхваление революционного порядка управления в речи Дюперре в заседании якобинцев 15 фрюктидора (1 сентября). А. Aulard, «La Société des jacobins», t. VI, p. 406).

³⁾ В этом духе высказывалась как уже упоминавшаяся петиция Дижонского клуба («Moniteur», t. XXI, p. 691), так и резолюция якобинского клуба от 21 фрюктидора («La Société des jacobins», t. VI, p. 424—428).

⁴⁾ В петиции Дижонского клуба прямо говорилось, что «до тех пор, пока будет существовать революционный порядок управления, свобода печати должна быть ограничена справедливыми пределами» («Moniteur», t. XXI, p. 691). В этом же духе высказывалось и большинство членов якобинского клуба (см., напр., заседание 19 фрюктидора. «La Société des jacobins», t. VI, p. 419—422).

⁵⁾ Это тот самый Legray, который еще до 9 термидора вел пропаганду против революционного порядка управления и о котором Сен-Жюст, упоминая в своей непроизнесенной речи 9 термидора (Buche et Roux, «Histoire parlementaire de la Révolution Française», t. XXXIV, p. 8). Подробнее о нем см. А. Mathiez, «L'affaire Legray». «Annales Historiques de la Révolution Française», 1927, p. 305—319).

⁶⁾ Buche et Roux, op. cit., t. XXXVI, p. 50—56.

⁷⁾ «La Société des jacobins», t. VI, p. 355.

то эти лозунги, столь понятные в устах шедшей к власти победившей 30 термидора крупной буржуазии, могли сблизить представителей того класса с его антиподом—идеологами рабочей и ремесленной бедноты Парижа и других крупных городов?

Ответ на этот вопрос станет совершенно очевидным, если мы вспомним притию «бешеных» в эпоху диктатуры якобинцев. Как известно ¹⁾, как только якобинское правительство, приняв террористическую программу «бешеных», поспешило использовать ее прежде всего против ее собственных авторов, эти последние сразу же стали противниками террора и революционного порядка управления вообще. Таким образом, происшедшее в первые месяцы термидорианской реакции совпадение тактической линии правых термидорианцев и остатков «бешеных» и близких к ним элементов (в частности Бабефа, которого, как мы дальше увидим, в эту пору его деятельности можно целиком идентифицировать с «бешеными»), на первый взгляд кажущееся столь непонятным, было лишь результатом того, что «бешеные» и после 30 термидора продолжали ту тактическую линию, которая была ими проведена еще в до-термидорианский период революции.

Все сказанное выше станет совершенно понятным, если мы теперь от общих рассуждений перейдем к конкретному рассмотрению известных нам из источников отдельных выступлений «бешеных» и социально родственных им элементов в первые недели и месяцы термидорианской реакции. Первым из таких выступлений является вышедшее 30 термидора находившейся под несомненным влиянием Бабефа ²⁾ секцией Музея ³⁾ постановление, гласившее, что «одной из основных причин общественных бедствий является узурпация прав народа, совершаемая заговорщиками, стремившимися назначить на все должности негодяев, помогавших им в их деспотических стремлениях» ⁴⁾. В силу этого секция Музея заявляла, что «ничто не может помешать собраться комиссарам и собраниям народа, ибо они должны быть рассматриваемы не как учрежденные, а как учредительные власти, воля которых может быть выявлена в любое время и может быть свержена только тиранией» ⁵⁾.

Одновременно с этим, секция Музея обратилась к другим секциям Парижа с предложением обратиться к Национальному Конвенту с петицией, требовавшей: «1) соблюдения законов, регулирующих организацию установленных властей; 2) устранения всех безразличных и свободопротивных агентов, назначенных тиранами в их своекорыстных интересах; 3) гарантии принципа, в силу которого никакое

¹⁾ См. нашу статью «Клара Лаконб и клуб революционных республиканок 1793 г.» в сборнике «Проблемы марксизма».

²⁾ Это видно из ряда мест газеты Бабефа. См., напр., «Journal de la liberté et la presse», № 13 (1 vendémiaire), p. 2; № 19 (8 vendémiaire), p. 2 и т. д. Пользуемся экземпляром газеты Бабефа, имеющимся в Ленинградской Публичной библиотеке.

³⁾ В этой секции проживало довольно значительное количество рабочих, занятых по близости предприятий по изготовлению предметов роскоши. См. J. Bachel, «La Commune du 10 août 1793», p. 21. Любопытно, что революционный комитет этой секции энергично защищал арестованного 2-го термидора за протест против революционного порядка управления Legray (A. Mathiez, «L'affaire Legray», «Annales Historiques de la Révolution Française», 1927, p. 316). 9-го термидора секция Музея решительно и без колебаний выступила против Робеспьера. См. I. K. Захар, «Левый термидор», стр. 80.

⁴⁾ «Journal de la liberté et la presse», № 18 (6 vendémiaire), p. 3.

⁵⁾ Ibidem, p. 3—5.

должностное лицо не может быть смещено без окончательного приговора суда, при чем его заместитель должен быть избран народом»¹⁾.

Предложение секции Музея было принято 12—15 другими секциями Парижа²⁾; несколько других секций сперва было одобрило предложение секции Музея, но затем изменили свою точку зрения³⁾; наконец, секции Гренелльского Фонтана, Пик, Красного Колпака, Горы, Муция Сцевола и Хлебного Рынка решительно протестовали против него⁴⁾. Но это, само собой разумеется, не могло помешать широкому успеху среди парижской бедноты петиции секции Музея, к тому же горячо поддержанной Бабефом в его газете «*Journal de la liberté de la presse*»⁵⁾. Характерно, что полицейское донесение от 11 фрюктидора (27 августа), рассказывающее о постановлении секции Музея, подчеркивает, что аналогичные разговоры слышатся и среди граждан Сент-Антуанского предместья⁶⁾.

Значительно дальше, нежели секция Музея, пошел в своих предложениях возродившийся около этого же времени так называемый электоральный клуб, по своему классовому составу весьма близкий к тем общественным слоям, интересы которых отражали «бешеные» и Бабеф⁷⁾. В петиции, представленной Национальному Конвенту 20 фрюктидора (6 сентября), электоральный клуб без обиняков требовал «неограниченной свободы печати и права выбора народом всех должностных лиц»⁸⁾, что, само собой разумеется, было равносильно отмене революционного порядка управления и введение в действие демократической конституции 1793 года.

Совершенно ясно, что эта петиция была принята господствовавшими в этот момент в Конвенте левыми термидорианцами крайне

¹⁾ Ibidem, p. 4—5.

²⁾ Ibidem, № 13 (1 vendémiaire), p. 2.

³⁾ Ibidem, p. 2.

⁴⁾ Заседание Национального Конвента 11 фрюктидора. «*Moniteur*», t. XXI, p. 610—612.

⁵⁾ «*Journal de la liberté de la presse*», № 13 (1 vendémiaire), p. 2: «Voilà une section de Paris toute entière à nous». Ср. также № 18 (6 vendémiaire), p. 3—5, и № 19 (6 vendémiaire), p. 2.

⁶⁾ A. Aulard, «Paris pendant la réaction thermidorienne et sous le Directoire», t. I, p. 64.

⁷⁾ Классовая природа электорального клуба устанавливается не только объективным совпадением его тактики с тактикой Варле и Бабефа этого периода, но и имеющимися в газете последнего многократными восхвалениями электоральцев («*Journal de la liberté de la presse*», № 3 (22 fructidor), p. 7; № 7 (28 fructidor), p. 3—7; № 13 (1 vendémiaire), p. 5; № 22 (10 vendémiaire), p. 7—8; «*Le Tribunal du Peuple*», № 23 (1) (4 vendémiaire), p. 6—7; № 27 (22 vendémiaire), p. 214, и т. д.). Единственное, что как будто бы проткаоречит утверждению, что электоральный клуб выражал интересы парижской рабочей и ремесленной бедноты, это тот отзыв о законе о максимуме, который находится в петиции электорального клуба 10 вандемьера («*Moniteur*», t. XXII, p. 127—128). Здесь удивительно не то, что электоральцы высказываются против максимума и реквизиций (еще Е. В. Тарле в свое время доказал, что рабоче а этот период были настроены против максимума, и, несмотря на все старания его проткаников, эта точка зрения не может считаться оспоренной), а то, что они аргументируют свой тезис положениями, звучащими, как будто бы они исходят не от потребителей, а от производителей или торговцев. Но это либо сознательный тактический ход, либо новое доказательство того, насколько идеология еще не успевшего вполне отделяться от мелкой буржуазии рабочего класса того времени косила мелкобуржуазный и путанный характер. К тому же нужно помнить, что вопрос об отношении различных классов и партий этих первых месяцев термидорианской реакции к проблеме максимума марксистской историографией не только не разрешен, но еще едва лишь поставлен. Поэтому для окончательного выяснения только что затронутой проблемы предстоит еще проделать очень большую и кропотливую работу.

⁸⁾ «*Moniteur*», t. XXI, p. 694.

железно. Поднявшийся на трибуну Билло-Варенн обвинил электоральный клуб в контрреволюционных тенденциях и потребовал перенести его петиции на рассмотрение Комитета Общей Безопасности ¹⁾, председатель напрямик заявив, что второе из предложенных электоральным клубом мероприятий несовместимо с революционным порядком управления ²⁾. Таким образом, мы видим, что в требовании свободы печати и отмены революционного порядка управления крайне левые элементы французской революционной демократии того времени вполне солидаризировались с правыми термидоранцами, в то время как термидоранцы левые одинаково энергично выступали против тех и других.

Такова была политическая обстановка первых недель термидоранской реакции, и, заканчивая наше несколько затянувшееся введение, мы должны теперь возвратиться к Варле и ознакомиться с той жизнью, которую он занял в этот период своей жизни и деятельности. Иковое, что следует отметить, отвечая на этот вопрос, это то, что Варле, по его собственному признанию, участвовал в работах электорального клуба и выступал там с защитой уже известных нам требований этого клуба ³⁾. Вполне в духе этого клуба, секции Муля ⁴⁾ и Бабефа ⁵⁾, Варле выступает в эту эпоху как ярый анти-робеспьерист и идет в этом отношении так далеко, что готов приветствовать произведенную в заседании Национального Конвента 12 фрюктидора (29 августа) ⁶⁾, попытку правого термидоранца Лекуантра обвинить в соучастии с Робеспьером бывших членов Комитета Общественного Спасения Билло-Варенна, Колло д'Эрбуа и Баррера и Комитета Общей Безопасности Вадье, Амара, Вуллаана и Давида. Как известно, попытка эта натолкнулась на решительное сопротивление подавляющего конвентского большинства ⁷⁾ и именно защита Варле точного зрения Лекуантра послужила ближайшим поводом его ареста 19 фрюктидора ⁸⁾.

¹⁾ Ibidem, p. 694.

²⁾ «Journal de la liberté de la presse», № 3 (22 fructidor), p. 5.

³⁾ «L'explosion», p. 3—4. Bibl. Nat., Lb⁴4090; «Le citoyen Varlet prisonnier la force en réponse à les motifs d'arrestations». Arch. Nat., F⁴775⁹.

⁴⁾ См. уже цитированную резолюцию этой секции от 30 термидора. «Journal de la liberté de la presse», № 18 (6 vendémiaire), p. 3—5.

⁵⁾ Как известно, в первое время термидоранской реакции Бабеф выступает как ярый ненавистник Робеспьера. Ср. П. П. Щеголева, «Заговор Бабефа», стр. 56 и след.

⁶⁾ Buchez et Roux, op. cit., t. XXXVI, p. 50—55.

⁷⁾ Ibidem, p. 58.

⁸⁾ По вопросу о причинах ареста Варле в литературе существует довольно неопределенная путаница. П. П. Щеголева (цит. соч., стр. 60), следуя в этом отношении за Делламом (Gabriel Deville, «Thermidor et Directoire», p. 28), считает причиной ареста Варле его выступление в Национальном Конвенте с петицией от имени электорального клуба, в которой выставлялись требования свободы печати и предоставления народу права избирать своих должностных лиц. Но все дело в том, что именно эта была оглашена в Конвенте 20 фрюктидора («Moniteur», t. XXI, p. 694); тогда тем, как показывают приводимые в тексте документы, Варле был арестован не 24 фрюктидора, как это полагает П. П. Щеголева (цит. соч., стр. 60), а 19. Кроме того, приводимый в «Moniteur» текст отчета о заседании Конвента 19 фрюктидора не дает ровно никаких оснований полагать, что оратором электорального клуба был именно Варле; то же самое относится и к Buchez et Roux (op. cit., t. XXXVI, p. 44—45). Наконец, и Бабеф, в своей газете неоднократно возмущавшийся и петиции 20 фрюктидора, упоминает об аресте как ее автора—Бодсо-ва, как и лица, читавшего эту петицию в Конвенте, но отнюдь не утверждает, что этим лицом был Варле («Journal de la liberté de la presse», № 7, p. 6; № 10, p. 4; № 11, p. 5—8).

15 фрюктидора некие граждане Сове (Sauvé) и Латерьер (Laterrière) обратились в Комитет Общ. Безопасности с заявлением ниже-следующего содержания:

«Мы, нижеподписавшиеся, сообщаем, что 13 фрюктидора около 6 часов вечера, после заседания Национального Конвента, в котором было принято постановление по поводу обвинения Лекуантром нескольких членов Конвента, мы возвращались домой в сопровождении гражданина Бульона, сапожного подмастерья, проживающего в № 12, по улице Жак Лабушери, в секции Ломбар. В это время к нам подошел Варле, выборщик из секции Прав Человека, и стал расхваливать гражданина Лекуантра, говоря, что он хороший и честный человек, который себя достойно вел. Он добавил, что восхищается энергией и смелостью Лекуантра, заставившего его сказать правду.

«На это мы ответили, что если бы это было так и если бы Конвент этим проникся, то его обвинения были бы оценены иначе. Каждый хороший гражданин, выслушав обсуждение, статью за статьей, всех выдвинутых Лекуантром обвинений, при чем этот последний, в противность своему обещанию, не смог привести в подтверждение их ни одного доказательства,—поступил бы точно так же, как Конвент, поведение которого должно удовлетворить всех добрых граждан.

«На это сказанный Варле ответил, что они все виновны, так как пили из одного стакана с Робеспьером и другими (ayant bu à la même coupe que Robespierre et autres) и, несомненно, дело этим не ограничится.

«Это было сказано на улице Сент-Оноре, около рынка. Затем, дойдя с нами до улицы Дени, он захотел от нас убежать. Но названный Сове потребовал от него, чтобы он последовал за ним в революционный комитет секции Ломбар, членом какого-то он является. Названный Варле, увидев на улице Дени нескольких граждан, закричал: «Ко мне, граждане! Меня хотят арестовать за то, что я высказал свое мнение. Это, по видимому, робеспьеристы (ce sont sans doute des robespierre)!». Несколько граждан схватили нас и повели в кордегардию рынка, откуда мы через четверть часа вышли, оставив за собой право изложить все вышесказанное Комитету Общей Безопасности» (Курсив наш.—Я. З.)¹⁾

Результатом этого доноса было решение Комитета Общей Безопасности от 19 фрюктидора (5 сентября 1794), в силу которого «Комитет, узнав из датированного 13 фрюктидора доноса о высказанных гражданином Варле в различные моменты взглядах, решительно противоречащих существующим законам и революционному порядку управления, постановляет, что Варле будет взят и помещен в арестный дом Плесси для заключения там впредь до соответствующего распоряжения, а бумаги его будут доставлены в Комитет»²⁾. Постановление это было в тот же самый день 19 фрюктидора выполнено революционным комитетом секции Прав Человека совместно с особо уполномоченным на то Комитетом Общей Безопасности лицом³⁾.

Арест Варле вызвал негодование его секции, и в своем заседании 30 фрюктидора⁴⁾ секция Прав Человека постановила ходатайствовать

¹⁾ Arch. Nat., F⁷ 4775^{no}.

²⁾ Arch. Nat., F⁷ 4775^{no}.

³⁾ Comité Révolutionnaire. Section des droits de l'homme. 19 fructidor. Arch. Nat., F⁷ 4775^{no}. Там же имеется выписка из тюремной карточки Варле.

⁴⁾ В этот же самый день электоральный клуб подал Национальному Конвенту petition об освобождении Варле и арестованного вскоре после него автора petition 20 фрюктидора Бодсона. «Moniteur», t. XXI, p. 782.

об его освобождении, исходя из того, что «он был первым обвинителем Робеспьера, Колло, Билло, Баррера и их клики... и как до 9 термидора, так и после него никогда не боялся обличать вождей тираннии. Секция удостоверяет, что он пламенный патриот»¹⁾.

Само собой разумеется, что такая рекомендация в данный момент, когда деяние термидорянцы еще не только не были побеждены, но, напротив того, задавали тон в Конвенте и его комитетах, могла только еще плотнее захлопнуть за Варле двери его тюрьмы. Поэтому меньше всего следует удивляться имеющейся на ходатайстве секции Прав Человека резолюции, наложенной, очевидно, в Комитете Общей Безопасности—«отложить на неопределенный срок»²⁾.

Арест Варле не был единственным ударом, нанесенным Конвентом и его комитетами электоральному клубу и его единомышленникам. Петиция 20 фрюктидора, поддержанная рядом секций и клубов³⁾, в частности клубом на улице Vert-Bois⁴⁾, была слишком крупным событием, чтобы ее можно было оставить безнаказанной. Почти одновременно с Варле был арестован Бодсон, один из авторов петиции 30 фрюктидора⁵⁾, а в своем заседании 22 фрюктидора Национальный Конвент, заслушав протест секции Муция Сцевола против деятельности секции Музея и электорального клуба⁶⁾, по предложению Роже-Дюло постановил, чтобы та часть здания Епископства, в которой заседали электоральцы, была превращена в больницу⁷⁾. Когда же в заседании 30 фрюктидора делегация электорального клуба выступила с протестом против ареста Бодсона и Варле⁸⁾, она снова подверглась резким нападкам Билло-Варенна⁹⁾, а председательствовавший в заседании Бернар из Сента пригрозил петиционерам разделить судьбу аристократов¹⁰⁾. Это, впрочем, несколько не помешало электоральному клубу, в лице новой депутации, явившейся в Национальный Конвент 7 вандемьера (28 сентября), снова требовать освобождения Бодсона и Варле и протестовать против декрета о превращении зала заседания в больницу¹¹⁾.

Настойчивость электорального клуба имела своим результатом новые преследования против него. Несмотря на то, что в заседании 7 вандемьера Национальный Конвент постановил передать петицию электоральцев на рассмотрение обоих правительственных комитетов¹²⁾, доклад которых должен был последовать через три дня¹³⁾, утром 8 вандемьера предводительствуемые архитектором 200 рабочих вторглись по предписанию властей в помещение клуба и произвели там полный разгром¹⁴⁾.

¹⁾ «Section des droits de l'homme, rapport». Arch. Nat., F⁷ 475⁶⁰; Séance du 30 fructidor l'an 2 de la République Française une et indivisible. Extrait du registre des délibérations de l'assemblée générale de la Section des droits de l'homme. Arch. Nat., F⁷ 475⁶⁰.

²⁾ «Section des droits de l'homme, rapport». Arch. Nat., F⁷ 477⁶⁰.

³⁾ «Journal de la liberté de la presse», № 13 (vendémiaire), p. 6.

⁴⁾ Ibidem, p. 5—7. В конце петиции этого клуба говорилось: «...Nous nous demandons le premier rapport de nos comités sur la garantie la plus illimitée des opinions et de la liberté de la presse. Nous nous demandons que le peuple rentre dans la plénitude de ses droits, en nommant immédiatement ses fonctionnaires».

⁵⁾ «Journal de la liberté de la presse», № 7 (28 fructidor), p. 6.

⁶⁾ «Moniteur», t. XXI, p. 709.

⁷⁾ Ibidem, p. 709.

⁸⁾ Ibidem, p. 782.

⁹⁾ Ibidem, p. 782—783.

¹⁰⁾ Ibidem, p. 782—783.

¹¹⁾ Ibidem, t. XXII, p. 96.

¹²⁾ Ibidem, p. 96.

¹³⁾ «Journal de la liberté de la presse», № 22 (10 vendémiaire), p. 7.

¹⁴⁾ Ibidem, p. 7—8.

Между тем из глубины тюрьмы Плесси, в которую он был заключен, Варле следил за всеми перипетиями борьбы электоральцев и их противников, и в самый острый момент этой борьбы он выпускает в свет брошюру под названием «Взрыв»¹⁾, снабженную эпиграфом «пусть лучше погибнет революционный порядок управления, нежели принцип», и датированную 10 вандемьера²⁾.

Как уже показывает этот эпиграф, Варле, оставаясь верным своим до-термидоровским взглядам, и в своей новой брошюре выступает, как решительный и убежденный противник революционного порядка управления. «Меня обвиняют в контрреволюции,—говорит он,—это не подлежит никакому сомнению... Я признаю себя виновным в этом, если под контрреволюцией подразумевать оппозицию революционному порядку управления...» (Курсив Варле.—Я. З.)³⁾.

«Республиканцы, причина гнета, под которым республика стояла, начиная с памятных дней 31 мая, 1 и 2 июня, находится не в чуждом, как в революционном порядке управления⁴⁾. Республиканцы, враг бриссотинцев ненавидит также и робеспьеристов. Их вождей больше не существует⁵⁾... Но из тирании Робеспьера исчез только сам тиран, а его ужасная система продолжает полностью существовать⁶⁾... Может ли быть большая социальная нелепость, большее произведение маккиавелизма, нежели этот революционный порядок управления! Для всякого рассуждающего существа, понятия управления и революции несовместимы друг с другом...»⁷⁾.

Решительно осуждая, таким образом, всю систему революционного порядка управления, Варле осуждает также и связанную с ней систему террора.

«Граждане, желающие знать управляющие вами законы, не вздумайте обращаться к сторонникам революционного порядка управления с просьбой объяснить вам его сущность. Распущенные, но не свободные; жестокие, но не энергичные, вот каким образом они растолкуют вам это прекрасное изобретение:

«Две трети граждан являются мерзавцами, врагами свободы. Их следует изничтожить. Террор является высшим законом, а орудие казни — предметом поклонения. Если разрушение не будет постоянно стоять в порядке дня, если меч перестанет работать, если палач перестанут быть отцами отечества,—свобода будет подвержена опасности. Свобода стремится царствовать над горой трупов и питаться кровью своих врагов.

«О, друзья мои, чувствительные люди, не возражайте им! Путинк отступает в сторону перед потоком; не спорьте с разъяренными, которые принесли бы вас в жертву своей ярости. Скажите лишь самим себе: «О чем собственно должна идти речь — об уничтожении мерзавцев или об убеждении обманутых? Являются ли тысяча и один заговор чем-то действительным или, может быть, просто результатом воображения? Может ли палач возродить нацию или же эта задача должна быть связана с правильной организацией первоначального

¹⁾ «L'explosion». Bibl. Nat., L b⁴¹ 4090.

²⁾ Ibidem, p. 1. Эта брошюра была через 5 дней, а именно 15 вандемьера переиздана под названием «Берегись взрыва». Содержание обеих брошюр совершенно идентично. «Care l'explosion». Bibl. Nat., Lb⁴¹ 1330.

³⁾ «L'explosion», p. 4.

⁴⁾ Ibidem, p. 5.

⁵⁾ Ibidem, p. 7.

⁶⁾ Ibidem, p. 11.

⁷⁾ Ibidem, p. 8.

образования? Может ли революционный порядок управления разрешить трудности общественных дел?..»¹⁾.

Мы видели выше, что позиция, занятая в первые месяцы термидорианской реакции «бешеными» и близкими к ним социальными элементами в вопросе о революционном порядке управления, неизбежно приводила их к восхвалению правых термидорианцев, и осуждению термидорианцев левых и совершенно ясно, что и Варле не мог не последовать по этому пути. И действительно, восхваляя Таллена²⁾ и Лекантра³⁾, Варле вместе с тем решительно осуждает тогдашнее большинство якобинского клуба⁴⁾, а также Билло-Варенна, Баррера, Бабю, Колло д'Эрбуа, Амара, Вуллана, Дюгема, Каррье и т. д.⁵⁾, выношенных, по мнению, в «соучастии или подлости при царстве Робеспьера, императора и первосвященника»⁶⁾. Особенно достается Барреру за его знаменитые «карманы»⁷⁾, при чем подчеркивается, что все по раздуваемым Баррером победы «не принесли никакого улучшения угнетенного нищетою трудящемуся народу (le peuple des artisans) (Курсив наш.—Я. З.)»⁸⁾.

Такое основное содержание брошюры Варле я самое любопытное в ней—это, конечно, полное и абсолютное совпадение его мыслей не только с относящимися к этому же времени выступлениями электоральцев, но и с выступлениями Бабефа⁹⁾. Это, с одной стороны, проливает новый свет на генезис идеологии Бабефа и доказывает, что вся его пропаганда выросла из движения «бешеных» (ибо, как мы видели выше, позиция Варле и электоральцев осенью 1794 г. не была чем-то случайным, а логически вытекала из всего предыдущего развития «бешеных») ¹⁰⁾; с другой стороны, это объясняет нам тот успех, кото-

¹⁾ Ibidem, p. 9—10.

²⁾ Ibidem, p. 11.

³⁾ Ibidem, p. 11—12.

⁴⁾ Ibidem, p. 13—14.

⁵⁾ Ibidem, p. 5.

⁶⁾ Ibidem, p. 5.

⁷⁾ Ibidem, p. 12—13.

⁸⁾ Ibidem, p. 13.

⁹⁾ В самом деле—не говоря уже о том, что выражение Варле «Робеспьер император и первосвященник» дословно совпадает с многократными высказываниями Бабефа этого времени, мы можем установить абсолютное единство точки зрения Варле и Бабефа этого периода. Так а № 5 *Journal de la liberté de la presse* и 26 фрюктидора Бабеф обрушивается на революционное правительство: «ce gouvernement qu'abhorrent tous les coeurs, ce gouvernement de sang, que tous les amis de la patrie voudraient effacer des pages de l'histoire» (здесь Бабефа). В том же номере, стр. 6: «on opprime, on excite des coups d'armes, d'arbitraire, de violation de tous les droits de l'homme, depuis comme avant Robespierre». Номер 6, 27 фрюктидора: «Quand le mot de comité de gouvernement a été lancé pour la première fois, faute de réflexion on n'a pas senti quel coup l'institution qu'il dépeint allait porter à la liberté. L'expérience a fait connaître depuis que l'état dictatorial le plus odieux, le plus envahissant ou le plus tyrannique» (p. 4). Количество этих примеров можно было бы привести до бесконечности—см., напр., № 19, p. 2; № 21, p. 6—7 и т. д. В № 25 *Ibidem du Peuple* (17 вандемьера) прямо говорится: «Eh bien, oui, tous les amis de la liberté tendent au renversement du gouvernement révolutionnaire et la raison c'est qu'il est la négation de toute liberté». Что касается до восхваления правых термидорианцев и осуждения термидорианцев левых, то они встречаются в *Journal de la liberté de la presse*, № 11, p. 2; № 12, p. 3; № 14 (passim); *Tribun du Peuple*, № 25, p. 8; № 27, p. 218—222 и т. д.

¹⁰⁾ В определении позиции Бабефа а этот период революции а марксистской литературе существует некоторая неясность. Так П. П. Щеголев («Заговор Бабефа», стр. 65) говорит, что «в первые месяцы термидорианской реакции Бабеф выступает как довольно банальный антиякобинец»; А. Пригожин («Граф Бабеф», стр. 60 и др.), напротив того, считает, что Бабеф а это время находился «на левом фланге якобинцев». Первое определение, на наш взгляд, слишком широко, так как не дает возможности отличить Бабефа этого периода от термидорианцев;

рый выпал на долю брошюры Варле. Об этом рассказывает изм датированная 15 вандемьера корреспонденция в номере «*Courrier republicain*» от 17 вандемьера:

«Электоральный клуб все продолжает увеличивать количество своих приверженцев. В его вчерашнем заседании было зачтено произведение под названием «Берегись взрыва!», эпитафией к коему взяты слова «Пусть лучше погибнет революционный порядок управления, нежели принцип!». Его автор, молодой Варле, в настоящее время заключенный в тюрьме Плесси, нападает непосредственно на революционный порядок управления, который он называет диктатурой. Это первый писатель, посмевший выступить с такой смелостью. Его памфлет характерен для его исключительно резкого нрава, не считающегося ни с местом, ни с временем»¹⁾.

Между тем, электоральный клуб, в ответ на захват помещения Епископства, перенесший свои заседания в залу секции Музея²⁾, обратился 10 вандемьера к Национальному Конвенту с петицией, в которой требовал восстановления свободы торговли, отмены декрета, ограничивавшего заседания секций одним разом в декаду, возвращения Парижу и прочим коммунам права избирать свою администрацию и «постановки прав человека в порядок дня», т. е., явным образом, отмены революционного порядка управления³⁾. На следующий день, 11 вандемьера, петиция электорального клуба была поддержана секцией Музея, присоединившейся ко всем требованиям электоральцев и одновременно с этим протестовавшей против уже известной нам петиции Дижонского клуба⁴⁾. В таком же духе выступили и секции Революционная, Сите и Тампля⁵⁾, а секции Арси, Бони-Нувель, Монмартрского предместья, Гавиллье, Ломбар, Рынка, Северного предместья, Пантеона, Кенз-Вен и Республики, не поспав, правда, депутатов в Конвент, все же одобрили петицию электоральцев⁶⁾.

Совершенно ясно, что перед лицом таких событий большинство Национального Конвента должно было решиться на самые крайние меры. Уже 10 вандемьера председательствовавший в Конвенте Андре Дюмон в своем ответе электоральцам подчеркнул, что их пожелания противоречат «революционному порядку управления, который существует и который Национальный Конвент поклялся поддерживать вплоть до заключения мира. Конвент уважает право петиций, но он умеет также уважать и свои клятвы»⁷⁾. Затем петиция электорального клуба была передана на рассмотрение Комитета Общей Безопасности⁸⁾.

18 вандемьера (9 октября) Национальный Конвент издает обращение к французам, в котором заявляет о своем намерении «поддерживать до полного уничтожения всех врагов революции» революцион-

второе же грубо ошибочно, так как «левыми якобинцами» в это время можно называть никак уж не Бабефа, а только его ярых противников, в роде Билло-Варенна, Колло д'Эрбуа и т. д. На самом же деле Бабеф был в этот период инквизитом, как типичным «бешеным». (Само собой разумеется, что это еще вовсе не значит, что Бабеф пришел к своим взглядам осенью 1794 г., идя по тому же пути, что и остальные «бешеные». Напротив того, в генезисе своих взглядов Бабеф был совершенно самостоятелен).

¹⁾ A. Aulard, «Paris pendant la réaction thermidorienne et sous le Directoire», t. I, p. 149.

²⁾ Ibidem, p. 149. «Journal de Perlet» du 15 vendemiaire.

³⁾ «Moniteur», t. XXII, p. 127—128.

⁴⁾ Ibidem, p. 134—135.

⁵⁾ «Le Tribun du Peuple», № 23 (14 vendemiaire), p. 8.

⁶⁾ Ibidem, p. 8.

⁷⁾ «Moniteur», t. XXII, p. 128.

⁸⁾ Ibidem, p. 128.

ний порядок управления, «очищенный от тех утеснений и жестоких мер, поводом к принятию которых он явился и с которыми наши враги его сознательно смешивают»¹⁾. В этом воззвании Конвент, большинство в котором к этому времени начинает, как известно, переходить на сторону правых термидорианцев, одинаково резко обрушивается как на тех, кто являются «наследниками преступлений Робеспьера»²⁾, и кто «все время говорит о крови и эшафоте»³⁾, так и на тех, кто «в своих корыстных интересах требуют конституционного порядка управления»⁴⁾, и для которых «беспорядок является средством обогащения»⁵⁾.

В то время как Национальный Конвент таким недвусмысленным образом заявлял о своем твердом намерении поддерживать революционный порядок управления, электоральный клуб продолжает свою пропаганду за его немедленное уничтожение. В своем заседании 11 вандемьера, электоральный клуб, рассказывает номер «*Courrier publicain*» от 19 вандемьера, «продолжает с очень большой смелостью свои нападки на революционный порядок управления. Орапра, выступавшие в последнем заседании, утверждали, что, пока этот порядок управления будет существовать, мы никогда не добьемся мира и что необходимо, наконец, чтобы Франция получила твердый и устойчивый порядок вещей. Клуб постановил представить Конвенту петицию в этом духе»⁶⁾.

Результатом этого поведения электорального клуба был произведенный 21 вандемьера Комитетом Общей Безопасности арест его председателя Легрэ⁷⁾. 22 вандемьера за этим последовал приказ об аресте Бабефа⁸⁾, как раз в этот день выступившего в электоральном клубе⁹⁾. Это, впрочем, несколько не помешало клубу в своем заседании 27 вандемьера принять на себя печатание газеты Бабефа¹⁰⁾. Следствием этого был арест 3 брюмера председателя и секретаря электорального клуба и наложение печатей на его бумаги¹¹⁾.

Но что происходило в это время с Варле, которого мы оставили в момент написания им брошюры «*L'explosion*», т.е. около 10 вандемьера? Он все еще находился в тюрьме Плесси и вскоре, повидимому¹²⁾, после выхода только что названной брошюры выпускает новую брошюру под названием «Из Плесси»¹³⁾. Брошюра эта, по словам Варле, составляет отрывок из задуманной им брошюры «Да здравствует диктатура Декларации прав человека», составляющей продолжение «Взрыва» и подобно ему имеющей выйти под эпитафией: пусть лучше погибнет революционный порядок управления, нежели Франция¹⁴⁾.

¹⁾ Buchez et Roux, op. cit., t. XXXVI, p. 127. Воззвание Конвента подверглось жесткой критике Бабефа в № 27 «*Tribun du Peuple*» от 22 вандемьера.

²⁾ Buchez et Roux, op. cit., t. XXXVI, p. 126.

³⁾ Ibidem, p. 129.

⁴⁾ Ibidem, p. 127.

⁵⁾ Ibidem, p. 128.

⁶⁾ «*Paris pendant la réaction thermidorienne et sous le Directoire*», t. I, p. 155.

⁷⁾ «*Le Tribun du Peuple*», № 27, p. 214.

⁸⁾ Ibidem, p. 228—232.

⁹⁾ Ibidem, p. 228—232.

¹⁰⁾ Ibidem, p. 232.

¹¹⁾ Речь Мерлена де Тьонвилля в заседании Конвента 5 брюмера (26 октября). «*Moniteur*», t. XXII, p. 356.

¹²⁾ Говорим «повидимому», так как брошюра не датирована.

¹³⁾ «*Du Plessis*». Bibl. Nat., Lnⁿ 200066.

¹⁴⁾ Ibidem, p. 6.

Однако, несмотря на это заявление автора, новая брошюра Варле по своему тону весьма сильно отличается от «Взрыва» и, если не считать острых нападок на Баррера ¹⁾, выдержана в общем и целом в несравненно менее резком духе. Повидимому, к этому времени тюремное заключение уже надломило характер Варле, и не этим ли объясняется то странное обстоятельство, что не менее трех четвертей этой небольшой брошюры наполнены совершенно отвлеченными и написанными в полумистических тонах рассуждениями о патриотизме автора, не имеющими никакого отношения к переживаемому политическому моменту?

Есть все основания предполагать, что именно эти особенности новой брошюры Варле сделали возможным написание исключительно любопытного письма, подписанного пятью друзьями Варле из различных секций Парижа и направленного ими 7 брюмера (28 октября) в Комитет Общей Безопасности ²⁾. Вот важнейшие места этого письма:

«Находящийся в заключении патриот имел несчастие потерять рассудок. Он молод, и есть надежда на выздоровление, если он получит быструю помощь. Но все сделанные нами шаги, имевшие своей целью доставить ему таковую, оставались до сих пор без результата.

«Его друзья просят для него не свободы, а суда. Однако во имя гуманизма... они просят, чтобы ему была доставлена скорая помощь, ибо, может быть, еще не поздно вернуть республике потерянного ею гражданина.

«Мы говорим о Варле, заключенном в тюрьме Пlessis. Желательно, чтобы он лечился дома. Если нужны поручители на время его лечения, то мы готовы взять эту роль на себя. Если Комитет распорядится иначе, мы все же будем удовлетворены, лишь бы только Варле получил помощь, диктуемую в данном случае гуманностью» ³⁾.

Трудно сказать, было ли данное письмо написанием искренним или же оно составляло только известный тактический ход: факт тот лишь, что на дальнейшую судьбу Варле оно никакого влияния не имело. Варле продолжал сидеть, и, тцетно прождав еще больше четырех месяцев, он обращается 20 вантоза (10 марта 1795 г.) в Национальный Конвент с письмом ⁴⁾, в котором просит о назначении над ним скорейшего суда! ⁵⁾. «9 месяцев заключения, полная оторванность от моей семьи,—говорит в своем письме Варле,—все это не сломило мою душу... Во имя общественного спасения, прошу вас извлечь меня из тюрьмы, дабы я мог сообщить вам важные для вас вещи» ⁶⁾.

К письму Варле был приложен ⁷⁾ рукописный экземпляр брошюры, написанной им в тюрьме в течение вантоза и озаглавленной «Французский Пантеон» ⁸⁾. Эта новая брошюра Варле, отчасти напоминающая доклад Робеспьера 18 флореала или «Отрывки республиканских установлений Сен-Жюста, написана, подобно брошюре «Из

¹⁾ Ibidem, p. 2.

²⁾ «Paris, le 7 brumaire l'an 3-e de la République française». Arch. Nat., F⁷4775^o.

³⁾ Ibidem.

⁴⁾ «De la maison de Justice du Plessis, l'an 3-me de la République une indivisible et démocratique le 20 ventose». Arch. Nat., F⁷4775^o. Письмо это, поступившее в Комитет Общественного Спасения, было переслано им в Комитет Общей Безопасности.

⁵⁾ «De la maison de Justice du Plessis, l'an 3-me de la République une indivisible et démocratique, le 20 Ventose». Arch. Nat., F⁷ 4776^o.

⁶⁾ Ibidem.

⁷⁾ Ibidem.

⁸⁾ «Le Pantheon Français». «De la Maison de Justice du Plessis, l'an 3-me de la république une indivisible et démocratique. Ce... Ventose». Arch. Nat., F⁷ 4775^o.

Плессис», в полу-мистических тонах и представляет собой проект организации празднеств в честь юношей и стариков. Никаких откликов на политические и социальные проблемы текущего дня в ней не имеется.

Письмо Варле от 20 вантоза оказалось столь же безрезультатным, как и ходатайство его друзей от 7 брюмера. Варле продолжал сидеть в Плессис, откуда он постановлением Комитета Общей Безопасности от 3 флореаля (22 апреля 1795 г.) был переведен в тюрьму Ла-Форс ¹⁾. Переведенный затем в Консьержери ²⁾, он пробыл там до 23 прернала (16 июня), когда он вместе с «другими агитаторами» ³⁾ был, в силу постановления Комитета Общей Безопасности от 23 прернала ⁴⁾, переведен в Бисетр ⁵⁾.

Находясь еще в тюрьме Ла-Форс, Варле обратился в Комитет Общей Безопасности с пространном письмом, озаглавленным им «Гражданин Варле, заключенный в Ла-Форс, в ответ на мотивы его преста» ⁶⁾. Это письмо показывает, что в противоположность Бабефу и которого тюремное заключение оказало самое благотворное влияние, преаратия его из Бабефа - «бешеного» в Бабефа-коммуниста, и Варле восьмимесячное тюремное заключение, во время которого он даже ни разу не был допрошен ⁷⁾, оказало влияние совсем иного рода. Оно его совершенно сломало, и перед нами теперь совсем новый человек, весьма мало похожий на бесстрашного Варле прежнего времени.

В своем письме из Ла-Форс Варле прежде всего пытается выжить жалость своих тюремщиков и с этой целью особенно подчеркивает, что он круглый сирота, лишенный родственников и друзей и не могущий рассчитывать на чью бы то ни было поддержку ⁸⁾. Но, не ограничиваясь этим, он пытается доказать, что предъявленные ему обвинения лишены какой бы то ни было серьезности. «Меня засадили и взгляды, исповедывание которых делает мне честь и которые я неоднократно громко высказывал. И вот я спрашиваю—разве высказывать свои взгляды значит быть заговорщиком? Тот, кто высказывает свои взгляды, выявляет себя и выступает при полном свете. Он отводит от себя какие бы то ни было подозрения, и его намерения столь же прямы, как и те способы, которые он употребляет для их высказывания. Такой человек поступает самым доверчивым образом, и между тем наградой за его доверчивость служит тюрьма» ⁹⁾.

В дальнейшей части своего письма Варле доказывает, что вся его антиробеспьеристская и антитеррористическая деятельность была всецело на пользу нынешнему режиму и что таким образом те мотивы, а силу которых он был в свое время арестован, а настоящее время потерял какое бы то ни было основание.

¹⁾ «Du 3 floréal l'an 3-e». Arch. Nat., F⁷ 4775⁰⁰.

²⁾ «Paris, le 29 Prairial an 3-e de la République Française, une et indivisible. Commission de police administrative de Paris. Aux Représentants du peuple Membres du Comité de Sureté Générale section de la Police». Arch. Nat., F⁷ 4775⁰⁰.

³⁾ «Convention Nationale. Le Comité de Sureté Générale. Du 23 Prairial». Arch. Nat., F⁷ 4775⁰⁰.

⁴⁾ Ibidem.

⁵⁾ «Paris, le 29 Prairial an 3-e de la République Française, une et indivisible. Commission de police administrative de Paris». Arch. Nat., F⁷ 4775⁰⁰.

⁶⁾ «Le Citoyen Varlet, prisonnier à la force, en réponse à des motifs d'arrestation». Arch. Nat., F⁷ 4775⁰⁰.

⁷⁾ Ibidem.

⁸⁾ Ibidem.

⁹⁾ Ibidem.

«Каким образом могло случиться, что я до сих пор вынужден прозябать в тюрьме без всяких серьезных мотивов и, более того, по делающему мне честь обвинению? Это обвинение имело некоторые основания 19 фрюктидора, когда честолюбивые децемвиры, все еще находившиеся в правительственных комитетах, пользовались еще остатками своего прежнего могущества. Ныне их тиранния свергнута, а я, между тем, все еще нахожусь в угнетении» (Курсив наш.—Я. 3.)¹⁾.

Как показывают подчеркнутые строки, Варле в это время абсолютно не отдавал себе отчета в истинном значении для хода революции победы правых термидорянцев над левыми и готов был возлагать все свои надежды и ждать своего освобождения от Талльена, Барраса, Фрерона и их друзей. Но последовавшие вскоре за его письмом пернальские события должны были раскрыть ему глаза на подлинную сущность правых термидорянцев и разбить все его наивные мечты. Поэтому неудивительно, что в написанном им 28 мессидора (16 июля) уже из Бисетра письмо к членам Комитета Общей Безопасности под названием «Горячая голова и доброе сердце»²⁾, Варле совершенно отказывается от всяких доводов политического характера и, усиленно подчеркивая свою горячность и экспансивность³⁾, бьет теперь только на жалость своих преследователей⁴⁾. Вряд ли нужно добавлять, что это письмо осталось столь же безрезультатным, как и все предыдущие, и 2 вандемьера (24 сентября) Варле снова обращается в Комитет Общей Безопасности, прося на этот раз уже не о свободе, а лишь о допросе⁵⁾.

Весьма вероятно, что это ходатайство Варле, а вместе с ним и все его надежды на свободу, разделило бы судьбу всех его предыдущих обращений, если бы через десять дней после этого не произошло контрреволюционное восстание 13—14 вандемьера, круто изменившее политику Национального Конвента и толкнувшее его, как известно, налево. В конце вандемьера или начале брюмера (точная дата освобождения Варле неизвестна) Варле, подобно многим другим, был освобожден, а постановлением Комитета Общей Безопасности от 13 брюмера IV года (4 ноября)⁶⁾ ему были возвращены забранные у него при аресте бумаги⁷⁾.

¹⁾ Ibidem.

²⁾ «Tête chaude et bon coeur, aux citoyens députés, composant le Comité de Sureté Générale». Arch. Nat., F⁷ 4775^{ms}.

³⁾ Ibidem.

⁴⁾ Ibidem. Особенно характерна фраза: «Je suis un orphelin de père, de mère, isolé, abandonné, oublié».

⁵⁾ «De bicêtre. L'an 4-me de la république française. Le 2 vendémiaire. Quatre mots au Comité de Sureté Générale». Arch. Nat., F⁷ 4775^{ms}.

⁶⁾ «Du 13 Brumaire l'an 4-e». Arch. Nat., F⁷ 4775^{ms}.

⁷⁾ Дальнейшая судьба Варле нам не известна. Имеются, правда, неясные указания на его попытку выйти из частной жизни и возобновить свою общественную деятельность летом 1799 г., но имеющиеся в нашем распоряжении документальные материалы об этом молчат.

Рефлексология и искусство¹⁾.

Из книги А. Иванова «Искусство. Опыт социально-рефлексологического анализа». Изд. Пролеткульт. 1927).

И. Дукор.

1.

А. Веселовский в 1893 году, после нескольких десятков лет плодотворнейшей работы в области «сравнительного» изучения истории литературы, порешил констатировать: «История литературы напоминает географическую карту, которую международное право осветило как *res nullius*, куда заходят штыки историк культуры и эстетик, эрудит и исследователь общественных идей. Каждый выносит оттуда то, что может, по способностям и воззрениям, с той же этикеткой на товаре и добыче, далеко не одинаковой по содержанию. Относительно нормы не сговорились, иначе не возвращались бы так настоятельно к вопросу о том, что такое история литературы».

Та же проблема, в ином социально-бытовом и историко-культурном окружении, констатировалась Андреем Белым. Он писал: «Развивалась ли эстетика, как точная наука? Произошло ли здесь такое же ограничение объектов исследования, как во всякой точной науке? Нет, всегда эстетика была прикладной, а не самостоятельной областью; она становилась отдельной частью то метафизики, то психологии, то социологии, то теологии, то лингвистики, то физиологии, искони в ней царствовал хаос методов; искони памятники искусства оценивали, и только оценивали, при прямой невозможности найти иную форму оценки, кроме личного вкуса, авторитета или соответствия с догматом, не имеющим прямого отношения к эстетике, как науке»²⁾.

Эти цитаты не случайны. На их фоне станет ясным тот исследовательский пафос, который лежал в основе первых формальных экспериментов того же А. Белого; который двигал вперед работу В. Шкловского, Б. Эйхенбаума и других представителей «формальной» школы. Конструкция историко-литературных исследований вне специфики литературного материала стала невозможной. В сознание литературоведа вошли новые факты. И если раньше эти факты подавались разрозненно, иногда случайно, в виде отдельных курсов (у академика Корша, Потебни, Буслева и т. д.), — то последнее десятилетие являет собой попытку систематизации, детальной проработки этого сдвига, начало которому положили А. Белый, эпигоны символистов и формалисты. Свежесть самих фактов, их конкретная осязательность, их большое научное и пропедевтическое значение сделали то, что уже сегодня Л. Якобсон пишет: «Увлечение формализмом распространилось со скоростью эпидемических заболеваний... едва ли не на всю среду литературоведов и словесников, включая учителей и учительниц школ первой ступени»³⁾. Такая быстрая и

¹⁾ Печатается в порядке обсуждения. Ред.

²⁾ А. Белый, Символизм, стр. 236.

³⁾ «Родной язык в школе» 1927, I, стр. 3.

«массовая» победа—законна. Лучшие исследовательские умы жаловались на то, что у литературы нет объекта, который был бы дифференцирован с той же точностью, с какой это сделано уже, хотя бы в области естествознания. Отсутствие точной константы, терминологическая эвфония—все это лишило литературоведение того прочного материального базиса, без которого не существует эволюции науки. Формальная школа была, фактически, феноменологией специфики, ибо она двигалась в замкнутом кругу выпяченных (из методологических соображений) эпизодов «технологии»: мелодики, композиции и т. д. Это было требованием эпохи. Рассуждения «по поводу» никого не удовлетворяли. Материалистическая структура литературной «вещи», двигавшая ее в подчеркнуто-лабораторный план, наглядно показывала процессы «делания» романов, поэм, лирических «вздохов»— всего того, что раньше было раздавлено глыбами филологических, метафизических и иных абстракций.

Это самоограничение эстетически значимыми элементами вчера закодировано. Формалисты отлично учитывают, что дальнейшую черновую работу в этой области они могут бросить на плечи своих учеников. Отношение между эстетически-значимым и эстетически-безразличным стало для них значительно более сложным, чем 10—15 лет тому назад.

Статьи Эйхенбаума и Тынянова в «На литературном посту»; полемические заметки В. Шкловского в «Новом Лефе»—все это показательные симптомы. Из области литературной специфики они не уходят. Но самый материал движется сейчас по периферии. Всплывают вопросы литературы и литературного быта; прагматической обусловленности фактов, в какой-то мере, разнородных. Быть может, это сопоставление разнородных фактов приведет к углублению связей, к углублению сопоставлений дальше, к той «социологии», от которой сами же формалисты раньше откешивались? Во всяком случае: формалистический аскетизм сдан в архив. На его место, пока исподволь и очень осторожно, приходит та ситуация, против которой раньше была объявлена беспощадная война. Географическая полоса, которую международное право объявило как *res nullius*, появилась опять, но уже в новом освещении.

Если формалисты уничтожали всю систему оценок искусства вне его специфики, то социологи-марксисты свою работу вели в другом направлении. После Плеханова, этого первого и лучшего представителя «теоретико-методологического периода¹⁾, марксистское искусствознание (и, в частности, литературоведение) пошло по нескольким путям. К сожалению, «просветительский» характер большинства марксистских статей по-октябрьской эпохи в известной степени дискредитировал самый метод. Это «просветительство» имело свои глубокие социологические корни. Этот схематизм был естествен. Но то, что он шел мимо углубленной специфики (о формалистах-социологах я не говорю), отпугивало от него и закрепляло за формалистами их специализацию. А между тем завет Плеханова—социология должна настежь раскрывать двери специфики, а не захлопывать их—требовал своей конкретизации. Поверхностное просветительство, с одной стороны, и система замкнутых эстетических значимостей, с другой, не давали нужного контакта для того подлинно диалектически-материалистического анализа, который был поставлен как заданный²⁾. Очевидно, в тот период жизни класса, когда он утверждает себя как объект истории, схематичным, на первых порах, является не только искусство, но и искусствознание. Оно инстинктивно

¹⁾ Термин У. Фохта. «Печать и Революция» 1927, I, стр. 62.

²⁾ Формально-социологическая школа (Арватов, Цейтлин, Якобсон и др.) этой проблемы не разрешила. «Органический» синтез, проповедуемый Фохтом, остался заданным.

двигается впитать в себя те тенденции, которые обеспечивают наиболее здоровую и плодотворную перспективу. Именно поэтому растущее сейчас марксистское литературоведение опирается, в известной степени, на предшествующий, богатый опыт формалистов. Родственность по линии отрыва от идеалистической метафизики властно диктует взаимопереплетение. Эта идеалистическая заданность будет постепенно заполняться живой кровью крифметических определенностей. Налицо две основные дисциплины, определившие пути современного литературоведения: марксизм и формализм. Стало так, что две гуманитарных науки прошли мимо естествознания. Условно, понятно! Естественно-научный базис марксизма достаточно широк. «Лабораторность» формалистов также пыталась воссоздавать в своей методике «анатомию и гистологию» литературы. Но не было достаточно мощной уловки, такой, которая давала бы подлинно-проверенный и экспериментально-доказанный опыт. Нужен был синтез, который шел бы не по линии аналогии методик и который умел бы трансформировать не только естественно-научный «дух», но и самое содержание наиболее прогрессивных, наиболее «широких» гипотез и экспериментов.

II.

Одной из наиболее интересных попыток в этой плоскости были у нас «Основы позитивной эстетики» А. В. Луначарского. Это типичный пример социо-биологической эстетики. Она шла от понятий эволюции и регресса, от первичных ощущений боли и удовольствия (положительного и отрицательного аффекционала), от динамического взаимодействия организма и среды, от принципа наименьшей траты сил. На этом базисе вырастала эстетика, как наука об оценках: биологических, этических и др. К сожалению, «Основы позитивной эстетики», по словам самого же автора, остались только предварительным экскурсом. В нем важна тяга к биологии, к экспериментальной психологии, к опытам Фехнера, Гельмгольца, к точному математическому учету восприятий, т.-е. ко всему тому научному вкладу, который дали немецкие психологи-экспериментаторы конца XIX века. Этот здоровый позитивизм резко противопоставлял себя всякой беспочвенной метафизике, всей той серии эстетик, от Б. Кроче до Христиансена включительно, которые пытались на почве неокантианства, интуитивного познания и частичного отказа от нормативной грамматики—строить довлеющие себе системы.

Рядом с эстетикой, основанной на данных экспериментальной психологии, росли эстетические постройку, связавшие себя с психологизмом. Их родоначальницей являлась клиника венского психиатра—Фрейда. От анализа психоневрозов—к индивидуальной психологии вообще, а потом—еще дальше—к широким социологическим и эстетическим обобщениям. И если в начале своей научно-литературной работы З. Фрейд писал: «Не верю также, что психоанализ не интересовался негетеросексуальной частью личности. Как раз отделение «я» (носителя сознания.—И. Д.) от сексуальности должно нам дать возможность с особенной ясностью понять, что влечения «я» также проделывают значительный путь развития, которое протекает не совсем независимо от развития либидо и, в свою очередь, влияет на последнее»¹⁾,—то сейчас, после «я и оно» его позиция в вопросе взаимоотношения сознательной и подсознательной сфер²⁾ стали достаточно определенной.

В свое время, лет 20 тому назад, фрейдовский психоанализ имел свое методологическое значение в деле исследования творческой психики. Он,

¹⁾ Проф. Sigmund Freud. Лекции по введению в психоанализ, Гиз, 1922, т. II, стр. 141.

²⁾ Для терминологии Фрейда.

во-первых, помогал уяснять всю поверхностность quasi-научных обобщений типа Ломброзо-Нордау, предлагая инструмент значительно более тонкий и точный, чем теория «гений и помешательство»; во-вторых, он давал возможность координировать экспериментальную эстетику с психоанализом¹⁾. Но и психоанализ дискредитировал себя, ибо его замкнутые психические механизмы пытались объяснить «из себя» идеологические явления, не привлекая факторов социального порядка²⁾. Психологические закономерности, отягощенные либидинозными компонентами, сносили всю творческую потенцию к наклонности к конфликтам между «я» и «подсознанием» на почве загнанных в «подсознание» сексуальных комплексов. Фактически, понятно, этот замкнутый круг не дает никаких серьезных возможностей марксистскому анализу эстетических объектов, выключая из сферы взаимодействия всю наличность социально-производственных связей. Приоритет бессознательных влечений, основанный на преобладании психических аборигенов; филогенез, сведенный к специфически-сексуальной наследственности, вне учета каких-либо иных влияний, не дает никакой марксистски-осмысленной установки. Разжеванным триумфом является уже то положение, что «выше-подсознательная» среда наравне с психическими «аборигенами»³⁾ определяет «выше-подсознательной» области и создает достаточные возможности для «рефлексивного» давления.

В результате фрейдизм не ушел от методички интроспективной психологии. Проникая в искусствознание, он сохранил все ее грехи, не выдвигая тех объективных регистраций личности, углубление которых сейчас так необходимо. А. К. Воронский верно подметил, что учение о динамическом подсознательном еще не наносит удара наивно-реалистическому пониманию искусства⁴⁾. Придать научный оттенок искусствознанию, разрабатывая символизм сновидений,—это значит вытравлять из символизма наиболее мощных творений человеческого гения, его живую актуальную связь не только с экономическим, но и с психологическим окружением. К чему приводят такого рода исследования, с достаточной полнотой показали книги русских фрейдистов о Гоголе и Пушкине и западных о Достоевском. Это—яркие образцы последовательного агностицизма, отказа от какого-либо учета «влияний», за исключением стихии бессознательного. В этом есть некий параллелизм с формалистами. Если для формалистов (в первый период их работы) искусство являлось исключительно суммой (комбинируемой каждый раз из различных слагаемых) технических приемов, то для фрейдистов тем же приемом явилась сексуализированная сфера «подсознательного». Только здесь вместо технологии звуковой, ритмической, синтаксической—технология снов-символов. Все дело в расшифровке. Связь между эстетикой и жизнью фрейдизм мыслит только в одной категории: категории сексуальности. За формой этих «психоаналитических», очень тонких и местами ценных суждений, нет эквивалентного им эстетического бытия. Если раньше дуализм между «я» и либидо говорил о каком-то разграничении, частью плодотворном, при привлечении других данных биологии и социологии, то сейчас сексуализированный «монизм» Фрейда явно нецелесообразен для искусствознания, претендующего на экспериментально проверенный базис.

В последнее время диктатура подсознательного подвергается критике со стороны многих психиатров. В этом смысле показательна работа П. Карпова⁵⁾, которая предлагает иную концепцию подсознательной сферы. Карпов

¹⁾ К сожалению, обе эти дисциплины шли, почти не задевая друг друга.

²⁾ Это убедительно показано в статье И. Сапира: «Фрейдизм и марксизм» (в сборнике «Медицина и диалектический материализм», вып. II).

³⁾ Термин Фрейда.

⁴⁾ А. Воронский и, Литературные записки, стр. 8 и дальше.

⁵⁾ П. Карпов, Творчество душевно-больных, Гиз. 1926, стр. 161—180.

приходит к выводу, что элементы бессознательного обладают той же структурой, что и «контролирующее» (бодрствующее) сознание. Таким образом, уничтожается разграничение контролирующего сознания от подсознания. Это тоже «монизм», но резко противоположный монизму Фрейда. Всякий искусствовед в концепции Карпова найдет много плодотворных для себя замечаний о интуитивном творческом состоянии, о роли готовых решений, идущих из сферы подсознания (а логического сознанию) и кристаллизирующихся потом в сознании; о «психических сенсациях» таких решений и замыслов; разрушение на почве этого механизма взаимодействия родовственных по структуре сфер-легенд, о «пророческой осциляции» творцов и т. д. Методологическая ценность работы Карпова заключается в том, что она разрушает схему Фрейда изнутри. Задача искусствоведа — привлечь к этой критике данные другого порядка, помогающие уяснению основных творческих процессов.

III.

Последние годы нашего искусствознания дали несколько попыток приуготовить рефлексологию. «Психопатологический» анализ, в известной степени интегрированный работами Ломброзо, проф. Чиж, фрейдистов, — нуждался в серьезной переработке.

Рефлексология предложила иной метод. В нем меньше всего оставалось места для субъективных высказываний. Небольшое количество объективных данных, находящихся пока в его распоряжении, давало тот первичный, крепкий костяк, на основе которого можно было строить естественнонаучный анализ (правда, ограниченный пока узкими рамками развития самой рефлексологии).

Одним из первых опытов в этой трудной и еще мало исследованной области была статья акад. Бехтерева¹⁾. Но и здесь сразу читатель наталкивается на факты, не удовлетворяющие даже элементарную научную любознательность. Что конкретно ценного могут дать, в результате длительных психопатологических экспериментов, подведения под рубрики: «подвижные», «медлительные», «практики», «мечтатели», «обвиняемые» и т. д.? Ведь психопатологическая сторона личности художника в живой социальной практике зависит от огромного количества условий! И дальше: какая объективная данность лежит в основе исследовательских программ? Почему исследователь должен в 13-м пункте упереться в символизм, а в 15-м — в стиль? Почему тоническая и временная ориентировка поставлена в программе после дифференцировки содержания? Рефлексологический анализ предполагает обратную因果 обусловленность. Зато «внепрограммное» исследование радует своей объективной направленностью. Анализ анкеты певца Ершова показывает, как надо начинать эту трудную и ответственную работу. Здесь на маленьком примере доказан статический тип художника. Примитивность этого анализа не должна пугать. Нужно помнить: на таких экспериментальных примитивах строится всякая наука. Рефлексология началась с изучения простейшего слюнного рефлекса. Мозг, прежде всего, аппарат отношения. Каким научным терпением нужно запастись, чтобы в сложной гамме сочетательных рефлексов находить законы репродукции и стимулирования; их обусловленность мимико-соматическими и ориентировочными рефлексами — еще глубже — влияние социальной среды, наследственности, профессиональных навыков — всего того, что формирует такой чуткий, капризный тип большого, настоящего художника.

Попытка акад. Бехтерева не является единичной. Статья Волькенштейна²⁾ разрабатывает проблемы рефлексологического анализа драмы. К сожа-

¹⁾ Сборник «Арена», изд. «Время», Л. 1924, стр. 25—44.

²⁾ «Драма, как изображение рефлекса цели», — «Вестник Ком. Академии», кн. XIV, стр. 163—170.

лению, анализ этот поверхностен и груб. Автор ценной книги «Драматургия» попал в мало знакомую ему область и, увлеченный новыми перспективами, движется по линии наименьшего сопротивления, по линии того одностороннего, не-диалектического материализма, который может только запутать, вместо того, чтобы помочь. Когда Волькенштейн пишет: «Мы требуем от драмы стройной и цельной конструкции. Этому учит нас не драматургическая догматика, не логическое ухищрение, не наблюдение над существующими драматическими произведениями; мы пришли к этому требованию путем физиологического анализа природы драмы, вооруженные методом естественно-научной мысли», то такие фразы только декларативны, ибо физиологический анализ драмы весь в будущем. «Рефлекс цели» есть в каждом произведении искусства. Он необходимый, его не только физиологический, но и классово-формальный компонент. Каково взаимоотношение этих компонентов—пока неизвестно. Насколько осторожнее указание акад. Павлова, когда он, этот «рефлекс цели» связывая с ориентировочным и пищевым, говорит пока только о частом его заглушении обратными механизмами¹⁾.

Несравненно серьезнее и значительнее представляется нам, для целей предварительных социо-рефлексологических экспериментов, статья С. Выше-славцевой: «О моторных импульсах стиха»²⁾, несмотря на то, что в рефлексологии, как таковой, в ней не упоминается. Мысли автора (впрочем, далеко не новые), что примат «звучания» в современной поэзии обязывает к изучению ритмической моторности; о родственности типов этой моторности в поэзии и в музыке; о необходимости изучения связей ряда раздражений нервной системы и мышечных, моторно-ритмических ощущений; о точном учете тех моментов моторно-мышечных ощущений, которые охватывают всего человека, не имеют точной локализации, и о тех, которые эту локализацию имеют; об изучении градаций импульсивности эмоционально-аффективной стиховой речи и т. д.,—все они представляют благодарнейший материал для тех, кто пожелает это перевести на язык социо-рефлексологии.

IV.

Книга А. Иванова «Искусство. Опыт социально-рефлексологического анализа (изд. Пролеткульт, Москва 1927 г.)» является, прежде всего, чрезвычайно симптоматичной. Параллельно с применением методики фрейдизма, все больше и больше прав завоевывает рефлексология. Капитальные работы Павлова и Бехтерева; внедрение в интроспективную психологию реактологии Коринилова и психологии, как науки о поведении—Уотсона; ряд специальных исследований по анализу основных элементов художественно-творческого процесса (д-ра Халецкого, Бехтерева); исследования, посвященные проблеме профилактической роли произведений искусства (проф. Тимирязевский и др.); все уточняющийся анализ патолого-психических комплексов у крупных представителей художественного творчества—все это раскрывает новые возможности рефлексологического анализа искусства. В их основе: решительный отказ от метафизических и замкнуто-интроспективных спекуляций; серьезное и вдумчивое изучение физиологии и патологии нервной системы. Попытки такого рефлексологического анализа искусства—пока еще спорадичны. Но методологическая ценность их вырастает, когда делаются попытки увязать анализ рефлексологический с социологическим. Самым фактом такой увязки сигнализируются те пути, по которым в близком будущем пойдет искусствознание. Естественно, всякий опыт в этом плане пока еще обречен на известную схематичность, на заведомую туманность общих

¹⁾ Акад. И. Павлов, Двадцатилетний опыт, Гиз, 1924, стр. 297—303.

²⁾ «Поэтика», вып. III, стр. 45—63.

формулировок, на узость исходных положений. В таких опытах сознание внутренней научной целесообразности превалирует над точным учетом специфики. Объясняется это не только новизной самого метода, но и тем, что конкретные завоевания рефлексологии только сейчас начинают выходить из стадии предварительных экспериментов, только сейчас основоположник теории условных рефлексов начинает нащупывать широкие обобщения.

Для того, чтобы иллюстрировать всю принципиальную важность книги Иванова, я приведу только один пример: в 1914 году (всего 13 лет тому назад) появилась в свет «Эврология или всеобщая теория творчества» П. Энгельмейера¹⁾. Энгельмейер долго работал над проблемой теории творчества, пытаясь транспонировать теории Маха и Авенариуса в внутреннюю механику творческого процесса. Он тоже боролся против «божественности гения», исследуя природу технических открытий и пытаясь сблужать их с «открытиями» художественного порядка.

Таблицы механизмов творчества, предложенные Энгельмейером в 1911 году международному философскому конгрессу в Боломье,—достаточный показатель всей этой «эврологической» беспомощности. На первом месте: интуиция, идея, принцип, замысел и т. д. И только, где-то в конце, рефлекс (и то только как агент моторный). Увлечение эмпириокритицизмом не прошло для Энгельмейера даром: «Учение об интроспекции есть путаница, протаскивающая идеалистический вздор и противоречащая естественной науке (курсив мой.—И. Д.), которое непреклонно стоит на том, что мысль есть функция мозга, что ощущение, т. е. образы внешнего мира, существуют в нас, порождаемые действием вещей на наши органы чувств»²⁾.

В книге Иванова рефлекс с задворок энгельмейеровской таблицы перенесен на первое место. Искусство понимается Ивановым, прежде всего, «как некоторый внешний раздражитель среды», а стремление к творческой работе в искусстве, «как реактологический, рефлекторный результат своеобразно усвоенного внешнего раздражения»³⁾. Этот раздражитель влияет на вегетативную, сосудодвигательную и иные системы, образуя особые «чувства» и «эмоции». Кроме того, усиленно эмоционального процесса способствуют «гормоны». Такова первичная, возможная физико-химическая схема происхождения эстетической эмоции. На этой физико-химической базе воздвигается «сочетательная» надстройка (на языке субъективной психологии—«ассоциативная»). В ней скрещиваются, с одной стороны, результаты физико-химических воздействий, с другой—идеи, темы, сюжеты, которые Иванов относит к воздействию социального порядка. В результате своеобразный трехакт: средство (физико-химическое раздражение) характер организации (идеология)—функция (эстетический результат восприятия).

Внешняя среда дает в большинстве комплексы раздражений неорганизованных как в смысле последовательности, так и сочетаемости. Эта дисгармония раздражений—результат производственных и социальных раздражений. Произведения искусства в противовес этим хаотическим восприятиям, представляют собою «организованный раздражитель внешней среды» (ритм во временных искусствах и симметрия в пространственных). Специфичность организации искусства усугубляется еще тем, что они действуют как «средние» раздражители, которые охватывают как рецепторные, так и моторные процессы; последние, не исчезая, переключаются в реакции mimico-соматические. Отсюда общий замедленный темп реальности в произведениях искусства, отсюда же «левые» формы искусства призваны их усилить

¹⁾ Вопросы теории и психологии творчества, т. V, стр. 130—160.

²⁾ Ленин, Материализм и эмпириокритицизм, Гиз, 1920 г., стр. 84.

³⁾ Иванов, стр. 7 и дальше.

за счет интенсификации динамики. «Изображая» жизнь, искусство в то же время ставит нас в некоторое к ней отношение. Таких произведений искусств, которые не выражали бы того или иного акта в отношениях художника к общественности и через общественность к себе, к культуре и к природе,—нет и не может быть. Далее. Соответственность, к установлению которой стремится искусство, всегда носит, более или менее, явный, классовый характер.

Особенности художественно-производственных процессов заключаются в том, что художественные моторные реакции есть много раз обработанные раздражения. Некогда полученные художником раздражения, подкрепленные извне, или стимулированные изнутри, дают эстетически-значимую разрядку. Задержка, уход в подсознательную сферу внешнего и внутреннего рефлексирования, создают реальную подоплеку крайней возбудимости и «нервной распушенности» художников. Этот же факт определяет собою реактологический тип художника, как систему длительного и ослабленного раздражения. Эстетический продукт его может быть противопоставлен или подчинен привычному раздражению, он может его проецировать (обрабатывать) или воспроизводить в форме апперцепции.

В основе своего происхождения художественный труд имеет профессиональное производство игрово-обрядового ритуала в целях классового господства. Классовая борьба властно диктует смену искусства как пассивно-защитного реагирования в искусство протест-утверждение, в искусство активно-защитное и наступательное. В социальном плане продукты искусства могут обслуживать либо узкую касту потребителей, либо оно обращается к общественным группам, стоящим «над» или «под» художником. Отсюда и пассивно-защитный, и активно-наступательный (как крайние схематические полосы) типы творчества. Суженно-групповое потребление искусства приводит к реактологическим координациям утонченного, пассивно-защитного, патологического характера; «расширенное» потребление—наоборот.

Характер социального заказа не всегда совпадает с реактологической структурой художника. В ответе художника на воздействие среды будет выявлена степень его классовой сознательности, выросшей на отношениях художника к данной среде. Художник ориентируется не только на «настроение» среды, но и на тип социально-рефлекторного реагирования. Как только эта смычка установлена, доминанту творчества определяет среда.

Требование нашей эпохи к искусству: искусство, как «высококвалифицированная профилактика», действительная утилитарность его; учет активных тенденций и развитие их в актуальном плане.

V.

Таков, в кратких чертах, каркас книги Иванова. Нам необходимо было несколько подробно остановиться на главных теоретических предпосылках его, чтобы стала ясной принципиальная разница такого рода схем от интроспективного психоанализа и эмпириокритицизма. Выдвижение на первый план подлинно-материалистических дисциплин при исследовании еще достаточно загадочных творческих процессов; стремление прочно увязать рефлексию и реактологию с социологией; желание научно осветить наиболее значимые для нашей эпохи тенденции—все это выгодно выделяет попытку Иванова из ряда других работ.

Необычайная трудность самой проблемы; недостаточность опытного багажа тех отдельных компонентов, которые Иванов пытался органически увязать, и, в значительно большей степени, выдвижение за счет научного экспериментального базиса научно необоснованных и спорных

теорий—все это бесконечно снизило основное задание и сделало книгу в целом не удачной. Мы остановимся на нескольких, наиболее спорных и заведомо ложных положениях.

Говоря о том, что организация того или иного материала в физическое раздражение есть средство (т.-е. форма.—И. Д.), а характер и метод организации, сообщаемой данному раздражению социальное содержание и значение вместе с тем есть и аргумент¹⁾, Иванов отрывает «форму» от «содержания». Ссылка на вытекающий отсюда результат восприятия—«функцию»—не спасает положения, ибо такая функциональность есть функциональность внешнего, качественно не обусловленная. Это—ложная диалектика, ибо подлинно диалектический процесс всегда имманентно соприсутствует в тех явлениях, из которых он вытекает. Характерно, этот отрыв от формы, от содержания, выявлен на протяжении всей книги: он разбивает внутри все рассуждения автора и делает их неубедительными. Берем наудачу несколько основных абзацев.

1) «В произведении искусства мы имеем замедленный темп реальности»²⁾. Почему?.. Несмотря на факты «среднего раздражения», у нас есть достаточно произведений искусства с темпом не замедленным, а, наоборот, (джаз-банд, «неигровое» кино, «Левый марш» Маяковского, конструкции Лавинского³⁾).

Автор, говоря уже потом, в конце книги, о роли агнт-искусства, сам подчеркивает динамический темп его, и этим сам разоблачает себя. Если указание на замедленный темп, обусловленный «средними раздражениями», не имеет какую-либо методологическую ценность, то только до известного «порога». Нет ни одного творца, который не мог бы указать кардинальных для себя моментов, которые так хорошо подает строфа Пушкина:

И мысли легкие волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут.
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге.
Минута—и стихи свободно потекут.

Нужно вдуматься в это подчеркивание «легкости» и «бега», чтобы уяснить себе, насколько произвольна и условна теория «замедленного темпа» и с точки зрения творца, и с точки зрения читателя, в особенности—первого. Из неверного абсолютизма «среднего раздражения» вытекает другая ложная посылка: «ослабленного раздражения»⁴⁾. Живая творческая практика говорит об обратном явлении. Ослабленность раздражения бывает до поры до времени. Она постепенно аккумулируется, чтобы дать, в результате, творческий взрыв, который может затягиваться на длительные периоды. И опять Иванов потом сам же опрокидывает свои утверждения указаниями на «нервную распушенность» художников.

2) «Рефлекторный процесс художника при реагировании на самоощущение или самобудирование близок к типу галлюцинаций ярко аффективный и характеризует процесс распада рефлекторных координаций, процесс ослабления, разложения рефлексов адекватного отношения к среде⁵⁾. В качестве «характерных» примеров: Достоевский и Врубель. Сдвинутая в архив формула «гений и помешательство», прикрывающаяся маской рефлексологии, опять появляется на сцену. И тут же еще одно, «поясняющее» замечание: «конечный путь художника в данной реакции—бесконтрольное (? —И. Д.) создание сильнейшего раздражителя, то вне реального, то обратно: до нату-

¹⁾ Иванов, стр. 17.

²⁾ Иванов, стр. 56.

³⁾ Иванов, стр. 74.

⁴⁾ Иванов, стр. 56.

⁵⁾ Иванов, стр. 74.

реализма (?—И. Д.), напоминающего (?—И. Д.) реальность». Такие заявления делать сейчас, когда проблема геннальности начинается, наконец, переводиться из области нитропективных догадок и бездоказательных патолого-клинических демонстраций на предварительный экспериментальный путь,—по меньшей мере рискованно. Для того, чтобы показать, какая щепетильность, осторожность нужна в этой области, целиком принадлежащей будущему, приведем два, противоречащих друг другу, мнения двух достаточно авторитетных психиатров. Проф. Осипов¹⁾ указывает на понижение творческого тонуса у душевнобольных. Он дает многочисленные примеры полной алогичности их продукции, понижения душевной чувствительности. Карпов же дает яркие примеры расцвета творческого процесса²⁾. Одно из лучших руководств по психотерапии с достаточной ясностью говорит о тех немомверных трудностях, которые связаны с изучением «тяжеловесного» мышления эпилептиков, и как часто невозможно проследить развитие бредовых идей³⁾. В первую очередь, все эти замечания относятся к подобного рода, мягко выражаясь, легкомысленным характеристикам Достоевского и Врубеля. И не только в таких суждениях (на которых Ивановым построено отрицание галлюцинаторного, пассивного типа творчества) коренится принципиальная ошибочность автора. Она значительно глубже. Она искажает всю экспериментальную направленность книги—в сторону стопроцентной ура-рефлексологии. Разве можно отмахиваться от иллюзионизма легковесным указанием на то, что «произведения мистических импрессионистов всегда (?—И. Д.) представляют собою первобытный хаос, среди которого организованность занимает такую же роль, как песчинок в море⁴⁾ (стиль-то каков!—И. Д.). И опять, желая маскировать такие «научные» положения, автор через несколько страниц, между прочим, говорит о том, что «н здесь может быть организация». А ведь в этом и сконцентрирована значимость этого творчества, его внутренняя мощь, соответственности мистической, галлюцинаторной и т. д.⁵⁾. Опять вся постройка опрокинута самим же автором. Его же утверждения об относительности подобного рода рефлексолого-абсолютистских формул недействительны на фоне всех этих ляпсусов.

Размеры этой статьи не дают возможности остановиться на них подробнее. Их можно было бы привести еще достаточное количество. Мы остановимся еще на некоторых, принципиально-важных положениях, чтобы точно указать, куда ведет такого рода социо-рефлексология.

VI.

Цельная программа «левого» патриотизма, выросшая на дрожжах ложных экспериментально-реактологических «открытий», дает, естественно, следующую схему современного искусства:

Право на существование имеет только агит-искусство (лучшее с точки зрения Иванова тенденции Лефа, ВАПП'а Пролеткульта, и то не все на этом «левом» фланге приемлемо для него), искусство быстрой, точно-учитывающей утилитарности, искусство, умеющее постулировать реакции в плане наступательном.

Этим фактически сбрасываются с «корабля современности» проблемы «попутничества», кардинальные вопросы синтетического раскрытия «живого

¹⁾ Проф. Осипов, Курс общего учения о душевных болезнях, Гиз, 1923 г., стр. 297—299.

²⁾ Вся книга «Творчество душевно-больных» ставит четко эту проблему.

³⁾ Проф. Шульц, Руководство по психотерапии, изд. «Врач», Берлин, стр. 185 и дальше.

⁴⁾ Иванов, стр. 35.

⁵⁾ Иванов, стр. 43.

человека» нашей переходной эпохи; проблемы увязки деревни (где рецепты индустриализированной рефлексологии натолкнутся на пока еще достаточно ожившие объективные препятствия) с городом, на проблемы литературной поэтики и т. д., и т. д. И если бы даже машинизация деревни произошла на сегодняшний день, то и тогда, в связи с такой социо-рефлексологической проблемой, всплыли бы другие, еще более сложные вопросы, давным-давно формулированные Марксом: как возможна «Илиада на ряду с печатным станком и типографской машинной?»¹⁾. Его многочисленные указания на «неравное отношение развития материального производства, например, к художественному». Почему, в том же Лефе, у Асеева, на ряду с агит-газетным багажом, есть достаточно иллюзионизма? В пролетарской литературе рядом с «Комсомольей» Безыменского — «Ночные встречи» Светлова? Таких вопросов можно, понятно, задавать сотни. Ответа на них у Иванова — нет.

Это потому, что его схема основных типов художественного реагирования — схема мертвая. Всякая наука прибегает к рабочей схематизации. Иначе она не сумеет ставить себе разрешимых задач. Но схематизации бывают разного порядка. В области таких многогранных и разнородных явлений, как явления искусства, которые часто имманентно включают в себя противоречивые тенденции, такого рода схемы губят самые благие намерения. И еще раз автор маскируется рассуждениями об «эклектизме» нашей эпохи; глухо говорит также о том, что во время «накопления сил и навыков для большей стройки» «возможно и целесообразно начинать производить упреки по отношению к тем художникам, которые в данной обстановке продолжают культивировать агитформы»²⁾.

Тогда зачем было огород городить? Автор окончательно запутал себя. И все это произошло потому, что он взялся за непосильную задачу, что он указал классовую взаимообусловленность художника и среды, которая значительно сложнее и противоречивее его формул, что он не учел специфики художественного труда не только рефлексологической, но и конструктивно-формальной, что он не учел творческих возможностей эпохи революции, — и отсюда безапелляционный приговор: «искусство революции — небольшое искусство»... Нельзя себе представить ничего более вредного, ненужного, давно изжившего оскомину, чем подобного рода мысль³⁾.

VII.

Рефлексологический анализ основных факторов искусства ждет своих любящих и компетентных исследователей. В первую очередь: проблема переплющаемости художника⁴⁾ (Ивановым она вообще не затронута); интенции эмоциональных и специфически-значимых рядов и т. д., и т. д. Если на какие-либо серьезные успехи в этом направлении пока трудно рассчитывать, то ведь нужно помнить, что вся эта художественная специфика есть специфика, прежде всего, детерминированная.

Нам хочется предупредить читателя: наша статья не преследовала узколичных целей. Нам хотелось только указать на то, что сейчас изучение рефлексологии (и «ректологии») является обязательным для всякого художника, для всякого критика; для всех тех, кто серьезно претендует на сколько-нибудь диалектически-материалистическое понимание окружающих его

¹⁾ К. Маркс, К критике политической экономии, стр. 32—33.

²⁾ Иванов, стр. 134.

³⁾ Хотя бы с «максималистской» точки зрения.

⁴⁾ Интересная (и почти единственная) работа проф. Лапина (в V томе «Вопросов теории и психологии творчества») сейчас потеряла свою методологическую ценность.

художественных явлений. Неудача А. Иванова должна толкнуть на новые попытки. В этом ее положительная симптоматичность. Если Маринетта Шагинян жаловалась несколько лет тому назад¹⁾: «Марксизм—огромная организующая сила. А кто из нас стал ее изучать?»—то в таком же положении непризнанной «Золушки» для многих и очень многих является рефлексология. И не столь важно, «что все наши опыты, как и подобные опыты других авторов, направленные к чисто физиологическому анализу высшей нервной деятельности, я рассматриваю как первую пробу»... ибо «получилось неоспоримое право сказать, что исследование чрезвычайно сложного предмета вышло, таким образом, на настоящую дорогу, и ему предстоит, конечно, не блзкий, но полный успех»²⁾.

Не надо забывать: основные рефлексологические механизмы (внутреннее угасание, утомление, раздражения и т. д.) находятся в первой стадии своего изучения. Современная критика в первую очередь должна обогащать свою методику. Отмахивание от формализма давно уже стало пройденной ступенью. Формалистские азы вызубрили почти все. Скоро придет очередь и рефлексологии. Такова объективная логика вещей. «Жизнь разнаживается наотмашь и говорит пронзительные, жестокие слова»³⁾. Эти «пронзительные» слова, на ряду с множеством других факторов внутри противоречивой современной художественной системы, громко говорят и учение об условных рефлексах.



1) «Россия» № 5, стр. 173.

2) Акад. Павлов, Лекции о работе больших полушарий головного мозга. Гиз, 1927, стр. 361.

3) «Писатели об искусстве и себе». Фраза А. Толстого (стр. 18).



Диалектика и логика как научная методология.

(По поводу статьи тов. Перлина).

В. Гриб.

I.

В № 12 «Под Знаменем Марксизма» за 1927 г. была помещена интересная статья тов. Перлина, в которой он дает своеобразное решение одной из актуальнейших проблем современной марксистской философии: проблемы взаимоотношения диалектики и формальной логики в научном исследовании. Правда, статья тов. Перлина посвящена как будто конкретному факту—спору между биологическими и социологическими науками, спору о, так сказать, сферах и границах владения каждой из них. Но, тем не менее, постановка проблемы выходит из рамок специального, казалось бы, вопроса и приобретает общий методологический характер. Поэтому я намерен подвергнуть рассмотрению ту часть ст. тов. Перлина (кстати выделенную им в особую главу под названием «Методологические предпосылки»), которая касается общих философских положений марксизма. Чтобы предотвратить возможные упреки со стороны автора за такое «дисциплинирование» его статьи, упреки «в схоластичности мышления, изолирующегося от практики», я постараюсь кратким изложением взглядов автора показать, что центр тяжести его статьи заключается как раз в методологических принципах, выдвигаемых им. Вопрос о соотношении социологических и биологических наук есть только конкретное применение методологии, а вопросы о том, можно ли считать философию отдельной наукой, имеющей свой особый материал, и какое значение имеет практика, переходят уже в принципиальный спор с тов. Перлиным. Поэтому я намерен возражать против философских построений тов. Перлина, оставляя ту часть статьи, где автор переходит к специально научным вопросам, оценке специалистов биологов, заинтересованных вопросами конкретной разработки методологии в естествознании.

II.

«Каково соотношение причин и следствий социального ряда с причинами и следствиями индивидуального ряда с точки зрения закономерности явлений?» — спрашивает тов. Перлин. Как отделить, изучая личность Ленина, личные индивидуальные принципы, побудив-

шие Ленин поставить себе целью борьбу за рабочий класс, от причин социального характера? Расширяя постановку вопроса, мы сталкиваемся с явлением множественности отдельных наук, изучающих один и тот же объект—человека, конкретную человеческую личность. Науки социологические рассматривают человека как часть некоего целого общества. Науки биологические изучают его как *homo sapiens*, объясняют его свойства и поступки биологическими причинами... Короче говоря, и марксист, и фрейдист, и павловец, и бехтеревец объясняют человека совершенно по-разному. Тов. Перлин хочет выяснить, как разрешить неизбежное столкновение этих объяснений, как отвести каждому свое место. «Наша задача... заключается в том, чтобы отвести всем объяснениям свое место, не впадая в релятивизм и скептицизм по отношению к науке» (180). Так определяет постановку вопроса сам автор.

III.

Не трудно видеть, что задача сводится к противоречию, присущему иному познанию, которое заключается в том, что объект познания, единый и цельный сам по себе, тем не менее сквозь призму наших сознательных свойств преломляется, как множество отдельных своих качеств. Это очевидно, ибо хотя наше познание претендует на полноту, но претензии его (по крайней мере, практически для нас) не могут быть удовлетворены полностью. Познание может быть абсолютным лишь в процессе бесконечного познания мира. Итак, то, что субъективно представляется нам как множество отдельных свойств, как бы пригнанных друг к другу, объективно есть целокупный предмет, цельный объект. Задача познания состоит в том, чтобы все более и более обнуживать единство этих отдельных, для эмпирика, из первого взгляд, обособленных свойств, качеств вещи, механическую ивизнанность, переводить в диалектическое единство.

Но это предполагает уже решенным следующий важный коренной вопрос: как должна методологически вести себя отдельная наука. Должна ли она ту часть объекта, которая подлежит ее изучению, рассматривать как нечто уясняемое лишь в связи с целым или же как нечто обособленное от целого. Другими словами, когда вступает в свои права диалектика—наука о связях: в каждой ли науке, изучающей особую закономерность, или же она возникает только при скрещивании отдельных закономерностей в единичном объекте, когда понятия одного аспекта, отражающие только одну сторону предмета, сталкиваются с понятиями другого аспекта и вступают в противоречие между собой?

IV.

Исходный методологический пункт рассуждений тов. Перлина заключается в противопоставлении двух ступеней знания: чувственного и рационального. Эта противоположность имеет значение в каждом конкретном случае, но в общем ходе развития человеческого знания она исчезает, как и любая противоположность, взятая «вообще».

От непосредственного чувственного знания, весьма ограниченного в своих возможностях, мы переходим к его высшей ступени—знанию рациональному, опосредствованному. Оно, прежде всего, продукт социальный, ибо оно передается, тогда как чувственное знание,

которое нельзя передать другим, индивидуально-созерцательно. Рациональное знание приносит с собой категорию повторяемости, постоянства, причины. Но причинные связи оно рассматривает как временные, абсолютно постоянные, тогда как они в действительности изменчивы, подвижны. Происхождение рационального знания неизвестно. «Оно приходит со стороны», окружает чувственное бытие, «оседает на нем, овладевает им» (182). Оно находит надежный путь в сущности явлений, ибо оно свободно от *idola tribus*, всегда может быть проверено другими.

Познание выступает как процесс именно с того момента, когда рациональные категории «овладевают» чувственным бытием, когда сочетается с рациональным чувственный материал (184). Познание изменчиво как действительность, ни постигаемая, но в еще большей степени, ибо действительность течет не останавливаясь, тогда как познание вынуждено возвращаться, сопоставлять моменты своего развития: «как известно, истина явления есть его результат... но... только сопоставляя результат с началом, мы познаем результат как результат» (184). Но такое сопоставление есть уже движение в понятиях, «ибо, когда мы доходим до результата явления, его начало существует уже лишь в понятии» и обратно. В этом и заключается диалектический характер познавательного процесса (184).

Познание следует за реальностью, и путь его «как бы в свернутом виде» содержится в понятии, характеризующем предмет познания. Чувственные отличия предмета не дают познанию сбиться с пути. Это отличие осознается нами благодаря тому, что объект бесконечными связями опосредствован через другие предметы, от которых мы его отличаем. Поэтому понятие «охватывает предмет только в одном отношении» (185). Объяснительная и обозначающая роль одинаково присущи понятию, что зависит от «рациональной обработки его» (186). Например, электричество может быть и обозначением явления и объяснением грозы. Легко возникающая возможность смешения этих функций устраняется тем фактом опыта, что «иной рациональный процесс ползет, как змея, по иным отношениям этого объекта» (186). Чувственный объект фигурирует «под покровами различных понятий» (187). Например, «перелет птиц» может быть объяснен и понятием «инстинкт», и понятием «рефлекс», «тропизм». Замещение одного объяснительного понятия другим тов. Перлин называет «рациональной переключкой понятий» (187).

Понятие и объясняет предмет и обозначает, предопределяет путь дальнейшего исследования, ибо, как мы видели, оно содержит в себе путь следования познавательного процесса. Ясно, что теперь «понятие направляет нас в ту сторону, откуда мы пришли». Если мы характеризуем вещь как «товар», то странно было бы притягивать к исследованию «электронную теорию». Такое, предопределенное исходным понятием, направление понятия «рациональному объекту в связи с группой объектов или взяты в определенном отношении к другим объектам» автор называет «рациональным аспектом данного объекта» (курсив автора, 188). Число аспектов соответствует числу рациональных переключек, ибо каждое понятие служит предметом особой науки. Это разложение объекта, расчленение его на рациональные аспекты тов. Перлин называет «дисциплинированием предмета» (189). Дисциплинирование на аспекты пополняется дисциплинированием на элементы в том случае, если объект допускает деление на различные части

и «если части эти настолько различимы для непосредственного познания, что их зависимости, их отношения могут быть подвергнуты самостоятельному исследованию» (189). От анализа дисцернирование на элементы отличается тем, что оно не просто разложение на элементы, но «исследование в определенном направлении на основе разложения» (190). Если, изучая горох в аспекте наследственности, мы дисцернируем его на верхушку, стебельки, и если мы изучаем верхушку как наследственный признак, то нас очень мало интересует: виден ли этот признак из-за забора или нет. Понятие руководит подходом к данному явлению. Наконец, дисцернирование «порывает с точкой зрения целого объекта именно потому, что элемент становится самостоятельным объектом» (190).

На разных ступенях познания аспекты выступают в разных значениях, в зависимости от того, какую цель ставит себе познавательный процесс. От установления повторяемости и закономерности причинных отношений в целом ряде объектов мы переходим к исследованию конкретного, единичного предмета. В первом случае мы находим различные ряды абстрактных закономерностей, а затем уже скрещиваем их на чувственной данности. Сообразно этому, автор различает «аспекты закономерности», когда «аспект охватывает много объектов», и «единичное сочетание аспектов», когда «много аспектов охватывает один объект» (192—193). На рациональной ступени познания, когда исследование бытия идет в отдельных аспектах закономерности, господствует строгий монизм, формальная логика: «над аспектами закономерности, так сказать... простерла свою длань старая традиционная логика; понятия, входящие в аспект, должны обладать точностью, определенностью, устойчивостью... каждый из них пользуется логическими приемами дедукции и индукции» (201). Но, когда мы сочетаем аспекты над чувственной данностью, «мы попадем в царство диалектики» (201). Формально-строгие понятия каждого аспекта, освещающая только одну сторону объекта, сталкиваются между собой и вступают в противоречие: «понятия впадают в противоречие с собою, распадаются и заменяются новыми понятиями». Происходит «саморазвитие понятий» (202). Происходит «свертывание рациональных аспектов в применении к одной реальности, диалектические переходы одного аспекта в другой» (204).

V.

Нам еще придется вернуться к некоторым положениям, выставленным тов. Перлиным, когда мы будем разбирать вопрос о единстве и множестве. Пока же предыдущее краткое изложение «методологических предпосылок» с достаточной убедительностью показало, мне думается, что методологические воззрения тов. Перлина отнюдь не являются каким-либо частным применением марксистской методологии, но затрагивают одни из существеннейших вопросов ее: соотношение между диалектикой и формальной логикой. Тов. Перлин дает попытку объяснить возникновение диалектики, намечает вехи ее исторического развития; словом, мы имеем своего рода «феноменологию диалектики» в параллель гегелевской «феноменологии духа» с традиционной схемой: 1) чувственное познание; 2) рациональное познание; 3) чувственно-рациональное (диалектическое) познание—синтез первых двух ступеней. 3-й раздел статьи представляет собой конкретное применение методологических принципов тов. Перлина. Но с таким же

успехом их можно было бы применить и в области литературоведения, физики и т. д. Поэтому правильнее будет, если мы дисциplinируем статью и методологические предпосылки подвергнем рассмотрению отдельно от биологии и социологии. Что касается до возможного упрека в схоластичности, ибо метод я отрываю от проблемы, связанной с ним, то этот упрек будет не заслуженным. Наука о методе, наука о законах движения понятий—философия имеет равное другой любой науке право на существование, что в настоящее время в доказательствах не нуждается. Методологические положения должны быть рассматриваемы и оценены с точки зрения этой науки, которая может в виде примеров привлекать материал из других наук, но не служить для них материалом, «суммой примеров». Рискуя показаться иным «практическим марксистом», «гегельянцем», я добавлю, что «практику» можно так же легко фетишизировать, как и все остальное, и под видом «апелляции» к «практике» протаскивать метафизику. Да, практика—исходный критерий познания, но, потерявши характер непосредственности, она является нам опосредствованной через логику, через диалектику. Философия, исследующая законы мышления, имеет практику в самой себе, ее фактический материал—факты мышления. Приступая к исследованию мышления, мы, как эмпирический факт, наблюдаем то обстоятельство, что мышление известного типа всегда успешно овладевает действительностью. Подмечая законы его, мы снова применяем их на практике, подтверждающей истинность диалектических законов мышления. Следовательно, непосредственное отношение познания к практике заменяется в значительной мере опосредствованным законами диалектической логики, ибо мы убеждаемся, что диалектические формы мышления не накладываются нами, как сетка, на реальную действительность, но предопределяются ею, являются ее предомлением в голове познающего. Критерий логический, критерий формальный не заслуживает того недоверия, с каким к нему, обыкновенно, относятся, ибо диалектическая логика—логика бытия. Поэтому философская часть статьи тов. Перлина и должна быть предметом обсуждения в философии, а не в биологии.

Вот как раз такое понимание диалектики, как особой науки, имеющей свой материал, свою область, очевидно, отрицает тов. Перлин. С этой целью я и остановился так подробно на таком «постороннем», казалось бы, вопросе, как вопрос о том: можно ли дисциplinировать статью тов. Перлина или нет? Диалектика по тов. Перлину возникает только при сочетании отдельных аспектов; каждый аспект пользуется приемами формальной логики, как мы видели. Если это так, если отдельная наука ведет исследование по старому, испытанному пути формальной логики, то нужна ли особая наука о диалектике, как о методологии наук, нужна ли философия? Науки прекрасно обойдутся без нее, как обходились и до сих пор, а диалектика возникает сама собой при сочетании различных научных аспектов на отдельном объекте, возникает как механическое следствие столкновения этих аспектов, ибо отдельные, разобщенные понятия каждого аспекта вступают, естественно, в противоречия друг с другом. Но что дает такая диалектика? Нужна ли она практически? Она превращается в «сумму примеров» для учебника, в нечто музейное, к чему относятся с большим уважением и ставят под стеклянный колпак. Именно против такого отношения к диалектике направил Ленин свои замечки «К вопросу о диалектике» («Под Знаменем Марксизма» 1925 г., № 5—6), горячо настаивая на том, что нельзя брать диалектику как «сумму при-

меров» (в чем Ленин обвиняет, напр., Плеханова). Она—закон познания, закон объективного бытия. «Диалектика и есть теория познания (Гегеля и) марксизма»... «Таким образом, в любом предположении можно (и должно), как в «ичейке», «клевочке», вскрыть зачатки всех элементов диалектики, показав, таким образом, что всему познанию человек свойственна диалектика. А естествознание показывает нам (и опять-таки это надо показать на любом конкретном примере) объективную природу в тех же ее качествах, превращение отдельного в общее, случайного в необходимое, переходы, переливы, взаимную связь противоположностей». Ленин подчеркивает, что диалектика—«раздвоенное единое и познание противоречивых частей его» имеет сугубо практическое, действительное значение, что «таков же должен быть метод изложения (изучения) вообще». Поэтому разделение формальной логики и диалектики, разграничивание этих ступеней познавательного процесса ведет к тому, что диалектика уступает место формальной логике в науке, в научной работе. Ее возникновение лишь при условии столкновения аспектов осуждает ее на почетную, но непрактическую роль бездействия, ибо, в сущности, не она возникает, а «ее возникают». Но будет ли тогда диалектика диалектикой? Не угрожает ли ей опасность превратиться в субъективное свойство познающего?

Такая опасность, несомненно, есть. Основной сущностью диалектики является самодвижение понятий, отражающее самодвижение реального бытия, т.-е. раздвоение единого на противоречивые части. Когда человеческое познание сталкивается с бытием, оно, бытие, представляется ему сначала как плюралистическое бытие, как множество эмпирических раздельных фактов, за раздробленностью которых нельзя усмотреть никакого единства. На высшей ступени познания это множество уже сводится к единству (в значительной степени, предполагаемому, правда). Научное развитие с каждым годом все более и более сводит к единству такие непоколебленные, казалось бы, раздельности, как, напр., химические элементы. Отдельное эмпирическое явление может быть объяснено только как часть целого, как одна из частей противоречивого, раздвоенного целого. Диалектика связывает целое с частью, она показывает нам развитие, движение явления, как проявление целого. Мельчайшая частица действительности, если мы хотим понять ее, должна быть изучаема как целое, т.-е. она противоречива, она диалектична. Каждое понятие, которым оперирует научное исследование, включает в себя свое противоречие, оно движется, и его движение отражает движение материи. Понятие «прямая» уже в теоремах о длине окружности и площади круга показывает свое единство с «кривой». Но диалектику, тут обнаруживающуюся, геометрия с формально-логической точки зрения объясняет как «приближение», как «предел» и т. д. Я взял простейший пример, ибо число их неизмеримо. Каждое понятие—противоречиво. Но у тов. Перлина этот момент—«самодвижение» исчезает. Противоречие у него выступает как борьба двух противоположных сущностей, как механическое следствие этой борьбы. Поэтому, хотя эти сущности являются свойствами одного предмета, нельзя эти противоречия приписать ему, свести их в единство, ибо тогда бы это единство проявлялось в каждой из сущностей, в том, что она, развиваясь, неизбежно, необходимо превратилась бы в противоречие, но не боролась бы с ним, с противоречием, как с нечуждым, направленным на нее извне, противостоющим ей, как другая, не известная откуда взявшаяся сущность, что имеет место в концепции тов. Перлина. Можно сказать, что

у тов. Перлина эти сущности сосуществуют друг с другом, и их единство не монистическое единство *alleinheit*, но низизанность, сцепление. Тогда диалектика или порождение нашего разума, не могущего охватить действительность, или сводится к простой механической борьбе двух сил, направленных друг против друга. В обоих случаях диалектика перестает быть диалектикой.

Любопытно то, что известный В. Джеймс в своей книге «Вселенная с плюралистической точки зрения» близко подходит в своем понимании диалектики к тов. Перлину. Джеймс с большим уважением относится к Гегелю за его «смелую» попытку разрушить формальную логику. Гегель, по мнению Джеймса, показал несостоятельность претензий формальной логики на точное познание действительности. «Действительно, вещами свойственно диалектическое движение, если вам угодно так его называть, создаваемое общей структурой конкретной жизни» («Вселенная» etc. 50).

«Эмпирические примеры того, каким образом высшие единства примиряют противоречия, бесчисленны...» (55, там же). Но диалектика эта вовсе не присуща самой реальности, нет, она зависит только «от формы дискурсивности, заступающей реальность», от того, что формальная логика делает лишь «разрезы» действительности, «засушивает» ее непрерывное движение подобно тому, как кинематограф схематизирует движение на ряд отдельных статичных моментов. Допустить реальность диалектики Джеймс не хочет, ибо это разрушило бы всю его плюралистическую концепцию, заменяющую монистическое единство единством «низизанности, непрерывности, смежности или сцепления» (там же, 180). Ему кажется «чем-то фантастическим, что стиль, пренебрегающий элементарными правилами, существующими для общения здравых умов (т.е. диалектика.— В. Г.), имеет претензии быть подлинным языком разума» (60). Он нападает на Гегеля за его убеждение в том, «что в каждом клочке опыта и мышления, как бы он ни был ограничен, присутствует реальность вся в целом» и что «детства его диалектики доказывают его верность» (там же, 78). Я привожу пример Джеймса не для того, чтобы обвинять тов. Перлина в субъективном идеализме или в фидеизме. Я хочу показать, что механическое понимание диалектики может привести к субъективному идеализму, к Джеймсу, если логически развивать эти положения. Основная ошибка тов. Перлина заключается в том, что он, изобразив (правильно или нет, это— другой вопрос) историческое развитие познания от непосредственно-чувственного через рациональное к диалектическому, считает эти ступени необходимыми в каждом конкретном познавательном акте. Но ведь эти ступени только исторические вехи развития познания и все они опираются на диалектическую ступень, которая содержит их в себе. Зачем же обязательно возвращаться назад и продвигать сызнова весь путь развития человеческого познания? ¹⁾ История познания уясняет нам конструкцию самого познания. Мы осознаем то, что мы раньше делали, как нечто само собой разумеющееся, но это отнюдь не значит, что единый познавательный акт с этих пор мы должны дробить на стадии его не иначе, как в порядке постепенности этих стадий. В «феноменологии духа» Гегель ясно определяет задачу и значение феноменологии. Говоря об «истинном идеализме» — тождество субъекта и объекта, он замечает: «сознание, составляющее эту истину, прошло уже

¹⁾ Я, конечно, не желаю отрицать вышесказанным тот факт, что индивид в своем развитии проходит в сокращенном виде путь развития рода.

этот путь и забыло о нем, так как оно непосредственно выступает как разум; иными словами, этот непосредственный, выступающий разум является лишь как достоверность этой истины. Он только уверяет в том, что он составляет всю реальность, но сам не понимает этого, так как именно забытый путь составляет понимание этого непосредственно-выраженного утверждения. Точно также тому, кто не прошел этого пути, это утверждение непонятно, если он узнает его в этой чистой форме,—но, конечно, в конкретной форме он сам осуществляет его» (Курсив мой.— В. Г.). И далее в «Энциклопедии», ч. I, § 79, Гегель предостерегает против того, чтобы брать моменты логической идеи в их раздельности, что как раз и делает тов. Перлин: «Логическая идея представляет с точки зрения формы три стороны: а) отвлеченно-рассудочную; б) диалектическую или отрицательно-разумную; в) спекулятивную или положительно-рассудочную. Примечание: эти три стороны логической идеи не составляют трех раздельных частей логики... Всех их можно было бы подвести под первый момент—рассудок или рассматривать их раздельно один от другого. Но тогда не постигали бы их в их истине» (пер. Чицова, 129).

Тов. Перлин не замечает того, что то, что субъективно кажется формально-логичным, только тогда успешно познает действительность, когда оно объективно диалектично, хотя бы это и не осознавалось. Если для Гегеля, как для идеалиста, диалектика существует лишь как саморазвитие субъекта и пока ее не осознает субъект, ее нет, то для материализма как раз наоборот: диалектика присуща материи; стихийная диалектика присуща нашему познанию. Как пример стихийной диалектики, можно привести открытия Лейбница, Канта. Сами они не осознали скрытой диалектики их открытий, но это не мешает быть их теориям и учениям, космогоническим и математическим, глубоко диалектичными по сути. Но никогда нельзя изображение субъективного процесса исторического развития диалектики смешивать с ее объективным бытием, как это делает тов. Перлин. Конечно, из того, что диалектика стихийно присуща естествознанию, не значит, что мы можем оставить естествознание как оно и было раньше с его «ползущим эмпиризмом», метафизикой и формальной логикой, как сознательным методом. Необходимо диалектику сделать осознанным методом, чтобы избежать ошибок и заблуждений, неизбежных, когда идут к цели наощупь, не при свете знания пути. Формальная логика шаг за шагом уступает напору диалектики в естествознании. Тогда естествознание станет «господином» диалектик, а не «рабом» ее, согласно гегелевской терминологии. Тов. Перлин поддался гипнозу авторитета естествознания, блеску его действительно громадных успехов. Никто не возражает против этого, но отсюда еще не значит, что методы, которыми до сих пор пользуется естествознание, хороши и даже так совершенны, что малейшее сомнение в их правильности об'является «метафизикой», а наука о методе—«гегельянщиной». Естествознание только там указывает успехи, где оно бессознательно материалистично—это общепризнано—и где оно бессознательно диалектично—о чем сейчас идет спор. Энгельс в «Диалектике природы» (Архив Маркса и Энгельса, 229) сравнивает естествоиспытателей с Мольтеровским *bourgeois gentilhomme* 'ом, который не знал, что он всю жизнь говорил про- зой.

Энгельс неоднократно подчеркивает необходимость для естествоиспытателей овладеть диалектическим методом и применять его вполне сознательно. «Естествоиспытатели,—говорит он,—могли уже убедиться на примере естественно-научных успехов философии, что во всей этой философии имеется нечто такое, что превосходит их даже в их собственной области» (7). И Энгельс приводит великие открытия Лейбница (по сравнению с которым Ньютон—«индуктивный осел и ласкный плагиатор»), Канта, Океана, Гегеля, «который синтезом и рациональной группировкой естествознания сделал большее дело, чем все материалистические болваны, вместе взятые» (стр. 7).

Концепция тов. Перлина есть попытка «примирить» марксизм и естествознание, диалектику и формально-логическую метафизику. Но, хочет ли он этого или не хочет, его концепция играет на руку консерваторам-специалистам, не желающим покинуть комфорт столь привычной и близкой формальной логики. Несомненно, что концепция тов. Перлина найдет себе сочувствие в их рядах, ибо такую диалектику с большой радостью примут даже исконные ярвы всяческой «метафизики»—«специалисты». «Мы будем работать, как и раньше, каждый в своей области, а что вы сделаете с результатами нашей работы, будете ли вы их сочетать и находить диалектику и пр. или нет, это нас не интересует. Оставьте нас работать, как мы работали». Такая философия удобна для естествовика, и он, оставя диалектику «спецам по диалектике», будет спокойно работать «по-старинке», непоколебленной формальной логикой. Тов. Перлин стоит за строгий монизм аспектов, он протестует против научного эклектизма, против беспринципной игры в логические категории. Очень хорошо. Но почему же монизм связан обязательно с формальной логикой? Так ли она необходима в отдельном аспекте? Приведу пример, известный, конечно, и тов. Перлину. В своей «Диалектике природы» (Архив М. и Э., стр. 7), Энгельс восстал против так называемого 2-го закона термодинамики, сформулированного Клаузиусом. Этот закон, известный под именем закона энтропии, заключается в том, что будет время, когда вся потенциальная энергия в мире перейдет в тепло, которое без затраты энергии из себя не сможет перейти в другие формы. А поэтому, когда вся потенциальная энергия мира израсходуется, наступит рассеяние теплоты, равенство температуры,—всеобщая смерть. Энгельс доказывал, что закон этот не имеет космического значения, что с такой очевидностью, как то, что энергия когда-то обесценится, мы можем допустить, что она когда-то снова аккумулируется.

И вот, исследования Больцмана и Смолуховского подтвердили предсказания Энгельса, допускающие возобновление энергии, жизни из самой материи, без помощи творца. Кажется, здесь не может быть сомнения, что Энгельс в «термодинамическом аспекте» применял противоречия, категории диалектики. Любопытно знать, где здесь найдет «сочетание аспектов из чувственной данности» тов. Перлин?

Если он не укажет этого, то как тогда совместить диалектику Энгельса и поразительное соответствие движения категорий, «гегелевщины», движению бытия с формально-логическим рецептом научного исследования, который предлагает тов. Перлин?

VI.

Остается еще нам проследить, каким деформациям подвергается объект на вышеупомянутых ступенях познавательного процесса. Как

мы уже видели, рациональное познание разбивает, расщепляет предмет на рациональные аспекты. Целостность предмета, единство его замещается суммой его частей. Это, конечно, неизбежно в научном исследовании, но дело в том, что тов. Перлин порывает с точкой зрения целого объекта, отводит в сторону науку о связях—диалектику и отдает аспекты во владение формальной логике. Тогда то, что мы называем монистическим единством, исчезает, и место его занимает форма единства низинности, механического соединения. Смы автор характеризует эту картину распада объекта в следующих ярких словах: «Объект должен погнбнуть, он уничтожается как цельный объект исследования, он прекращает свое существование, но лишь для того, чтобы воскреснуть в новой форме. Он исчезает как конкретный, цельный объект, но он возрождается в своих частях... Сделавшись предметом исканий науки с точки зрения закономерности явлений, объект отбрасывается от конкретного бытия. Отиные он влчит дискретное существование» (цит. статья, 205). «Новая форма» его воскресенья—это 3-я ступень познания—двлектическая.

Мы уже убедились в иедналектичности двлектикн тов. Перлина. Теперь постараемся показать, что и объектность теряется в концепции тов. Перлина, рассыпается на части без твердой стержневой опоры—диалектики. В самом деле, когда объект расщеплен на свои части — аспекты, когда мы еще не скрестили аспекты ив чувственной данности, куда девается сам объект? Если сохраняется его единство и в аспектах закономерности, то оно проявится в том, что какой-то из аспектов будет наиболее адекватным по отношению к объекту, будет онтологически наиболее значительным. Все же остальные аспекты по отношению к нему будут играть роль его конкретизации, его ступеней. Иными словами, наиболее адекватный объекту аспект есть наиболее абстрактный аспект, улавливающий наиболее общую закономерность. Возьмем тот пример, который приводит тов. Перлин. Произведение искусства объясняют и социологи, и фрейдисты, и формалисты. Наиболее значительный из этих аспектов—социологический аспект, потому что он уловил самую общую закономерность, присущую данному явлению, причинную зависимость произведения искусства от производственных отношений. Остальные аспекты лишь р е а л и з у ю т эту схему процесса перехода, например, от производственных отношений к поэмам Гете. Плеханов говорил, что для того, чтобы показать этот переход, нужен талант художника, т.-е. что мы никогда не сможем путем понятий воссоздать путь процесса, но лишь в художественном произведении. Мы можем сделать это всегда лишь с приблизительной точностью, все увеличивающейся, и эта точность будет тем больше, чем яснее мы можем показать связь между звеньями процесса, между психологией творчества, биологическими свойствами, формами, влияниями, в которых находит себе конкретное выражение основная предпосылка—произведение искусства есть опосредствование производственных отношений.

Я сказал «наиболее абстрактная закономерность». Это, конечно, нельзя понимать абсолютно. По отношению к искусству социологический аспект является наиболее общим, но само искусство есть деятельность человека, как биологического вида «*homo sapiens*». Но можно ли объяснять искусство биологическими свойствами? Ведь это еще «более общая» закономерность? Нет, нельзя, потому что социологический аспект по отношению к «человеческому» аспекту играет роль его конкретизации. Восходя все дальше и дальше, мы видим, что вся

научная деятельность не что иное, как конкретизация «аспекта аспектов»: «мир—матерьялен». Но общее проявляется как частное, имея свои специфические законы в каждом частном. Поэтому-то и нельзя делать незаконные переносы законов одной конкретной формы на части ее—еще более конкретную форму, как, скажем, перенос законов биологии в законы искусства.

Но, став на такую позицию, тов. Перлини вынужден был бы обратиться к диалектике и в каждом отдельном аспекте закономерности. Поэтому критерий степени общности как критерий онтологической силы аспекта он заменяет критерием «массы реальности», захваченной аспектом (200). Напр., онтологическую значимость социологического аспекта он усматривает в том, что социологический аспект «охватывает несравненно большую массу реальности», чем другие аспекты (200). Этот весьма неопределенный и смутный критерий, поднимающий объективное, предметно-логическое значение аспекта чисто количественным, растяжимым понятием, дает зато возможность тов. Перлину сохранить в отдельном аспекте формальную логику, ибо отдельный аспект не выступает тут как конкретная форма целого, наиболее соответствующая ему, а как обособленное нечто, значимое постольку, поскольку практическая потребность признала его самым значительным. Из объекта выбирается та сторона, которая нужна непосредственно в ближайшее время, а сам объект распыляется.

Вернувшись к примеру, взятому из области искусствознания, мы видим, что тов. Перлину с социологической точки зрения не видно функций нервной системы, сознательных и бессознательных моментов психики, законов «развертывания сюжета» и т. д., и «что это само собой ясно». Таким образом, объект распадается на части, друг с другом не связанные, и если одна из этих частей больше значит, чем другие, то не потому, что она больше других соответствует объекту, выражает общий «главный» закон его, нет, а потому, что количественно значительнее, резче других бросается в глаза, «если искусство взять по отношению к социальному бытию, то оно, искусство, выступает не как то или другое произведение, а как школа, течение, и подлежит изменению в зависимости от социального бытия» (200). Чтобы показать и практическую несостоятельность такого дробления объекта на самостоятельные аспекты, я прибегну к тому же литературоведению. Известный формалист Б. Эйхенбаум, горячо протестующий против всякого вмешательства марксизма в область исследований формы, таковое вмешательство он, Эйхенбаум, именует «метафизикой», выпустил в 1922 г. работу «Мелодика стиха». Исследуя специфическое явление в лирических стихотворениях, известное под термином «мелодика стиха», Эйхенбаум, согласно формальному методу, отказываясь выходить за пределы каузальности «формального ряда», ищет законы мелодики исключительно в системе «приемов» (повторы, система интонаций), игнорируя другие элементы стиха: «смысл», лингвистические особенности лирической интонации. На самом деле, как показал Жиринский в своем возражении Эйхенбауму («Мысль» 1922, № 3), одни и те же приемы в зависимости от эмоционального смыслового значения стиха дают различный художественный эффект: то мелодический, то ораторско-риторический и пр.

Перед нами любопытный образец «дясцернирования». Эйхенбаум совершенно сознательно разлагает исследуемое явление, объект на элементы и берет один из них—формальный, игнорируя остальные. И что же вышло? В своем же формальном аспекте, Эйхенбаум потер-

пел неудачу. Видно, игнорирование диалектики — точки зрения на часть как на особую форму целого — дает себя знать. Отделив «форму» от «содержания», сделав «форму» в с е м объектом, Эйхенбаум совершил методологический ляпсус. На самом деле, и «законы развертывания сюжета», и «мелодика стиха», и «проблема сексуальности у Достоевского» — только звенья одного процесса, части одного аспекта: психологического. И когда формальная логика окончательно будет изгнана из литературоведения, когда будет разработана методология искусствования — эстетика, тогда «с точки зрения социалистического аспекта станет видно» и «законы сюжета» и пр.

В особенности растяжимым становится онтологический критерий аспектов, когда дело доходит до сочетания их на чувственной данности. Тут, как мы видели, наступает диалектика, все причины и следствия переходят друг в друга, уравниваются в правах. Чтобы спастись от неизбежного релятивизма, явственно проступавшего уже в массе реальности, автор прибегает к «практике». «Практическая связь с обстановкой выделяет одну из причин из ряда остальных и делает ее тем звеном, которое тянет за собой всю цепь» (204). Опять логически-предметный критерий значимости подменяется субъективно-практическим. Предмет играет роль условного обозначения механически собранных частей, одна из которых эмпирически значит больше, чем остальные; логическое значение аспекта, его соответствие объекту отсутствует.

VII.


Закончив обзор главнейших теоретических положений тов. Перлина и подводя итоги всему сказанному, я могу формулировать мои основные возражения: а) Тов. Перлин, изгоняя диалектику из естественных наук, осуждает ее на бездействие. Его понимание диалектики, как скрещения, столкновения аспектов, страдает недialeктичностью, механическим подходом к «самодвижению понятий». Формальной логике он придает главное значение фактически, тогда как она, как момент, входит в познательный акт, но вовсе не есть необходимая, раздельная от других ступень познания. Нельзя историю развития диалектики смешивать с ее применением. То, что субъективно представляется, как формальная логика в познании, объективно есть скрытая, стихийная диалектика. Но стихийность ее применения нужно ввести в рамки сознательного ее применения. б) Отделяя познание целого от познаний частей, как две различных, раздельных ступени, тов. Перлин раздробил объект. Моистическое единство заменяется у него плюралистической «нианизанностью». Тов. Перлин забывает прекрасные слова Гете:

Willst du im Unendliche schreiten,
Geh' nur im Endlichen nach alle Seiten.
Willst du dich am ganzen erquicken,
So mußt du das Ganze im Kleinsten erblicken.

в) Отсюда характерные черты эмпиризма в системе тов. Перлина. Недоверие к «метафизике», к логике, как самостоятельной науке, привычка к осязному пятью чувствами особенно ярко сказываются в критериях значимости, за которые тов. Перлин берет либо количество реальности, либо то, с чем непосредственно сталкивается человек в своей деятельности. Эмпирик не доверяет силе диалектической логики, ее обобщениям, он не может расстаться с формальной логикой. Обек-

тивно теория тов. Перлина отражает в себе, как в зеркале, то сопротивление напору диалектики на естествознание, которое инстинктивно в философской форме оказывают диалектике специалисты-естествоведы, хотя сам автор может (и должен) считать, что это—не так, что это—непонимание его взглядов.

Однако несомненное сходство с Джемсом показывает, что, каковы бы ни были намерения автора, получается не то, чего он хотел. Я не собираюсь наклеивать на тов. Перлина ярлычок: «механист», «джемсонянец», но несомненно, что тот путь, который он указывает, ведет, именно, к джемсонизму.



КРИТИКА

и БИБЛИОГРАФИЯ.

Архив социальных наук и социальной политики (Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik) за 1927 год. Журнал, основанный Вернером Зомбартом, Максом Вебером и Эдгаром Яффе и издаваемый Эмилем Ледерером в сотрудничестве с Иосифом Шумпетером и Альфредом Вебером. Тюбинген. 57 том, 1—3 вып. 58 том, 1—3 вып.

Ежегодники политической экономии и статистики (Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik) за 1927 год. Журнал, основанный Бруно Гильдебрандом и Иоганном Конрадом и издаваемый Людвигом Эльстером Иена. Выпуски: январь—декабрь.

В теоретико-экономической части обоих журналов в первую очередь обращают на себя внимание статьи о «математической политической экономии». Сюда относятся статья недавно умершего шведского проф. Киута Вискелля: «Математическая политическая экономия» и обширное предисловие к ней проф. И. Шумпетера (в «Архиве»), затем статья Эвальда Шанса: «Уравнения Касселя и математическая политическая экономия» (в «Ежегоднике»). Статья Е. И. Гумбеля: «Масштаб концентрации при материальных распределениях («Архив») сплошь орудует математическими знаками, формулами Парето, интегралом распределения Гаусса и т. д. Отчасти сюда следует отнести также такие статьи, как проф. Артура Зальца: «Понятие эластичности в политической экономии» (Архив) и проф. Руд. Штольцмана: «Учение Отмара Шпана о цельности» (Ежегодник). Критике Касселя посвящены также статьи Отто Коирада и проф. Г. Шака (в «Ежегоднике»). Последняя озаглавлена «К критике теории цен». О ценах тоакуют также статьи Иво Корифельда: «Учетная политика и цены» (Архив) и В. Таухера: «Банкнотная политика, конъюнктура и кризисы» («Ежегодник»). О теории конъюнктуры написаны также весьма содержательная статья проф. Ментора Буниатяна: «Промышленные колебания, банковые кредиты и товарные цены» и статья проф. А. К. Пигу: «Стабилизация цен и стабилизация производства в отдельных отраслях производства» (обе статьи в «Архиве»).

В введении Шумпетера к статье Киута Вискелля имеется кроме словесный Вискеллю, Джевону, Вальрасу, Маршаллу, Менгеру, Кларку, Баулей, Пигу, Эджварту, как представителям математической школы, следующая собственная экскурсия Шумпетера в эту область. Он называет борьбу за размер зарплаты между профсоюзом и союзом фабрикантов «случаем обмена между двумя монополистами» (1), предполагает, что каждая сторона имеет свою определенную «кривую спроса» и—что важнее—желает «только блюсти свой интерес, но не подчинить себе другую» (auf die Kniee zwingen). При этом Шумпетер поучает, что фирменный характер этого «обмена» имеет место гораздо чаще, чем полагают «наблюдатели-интеллигенты, которые узнают преимущественно о тех случаях, когда обе стороны утратили власть над своими нервами и желают борьбы не на живот, а на смерть». К чести Эджворта, Пигу, Вискелля следует упомянуть, что они решительно отвергают возможность установить

в этой области «равновесие» на основании «кривых договоров» и математических формул. Эджворт говорит здесь об «экономическом хаосе», в котором всё решают внеэкономические причины и случаи (?). Шумпетер с ним не согласен, он уверен, что «если продумать все возможные случаи», то «равновесие» установится, даже если начать с Вальрасовского *prix crie par hazard* (цены, выкрикиваемой наугад; кстати, эта цена—доведенное до абсурда отрицание собственной, трудовой стоимости товара).

Статья К. Висселя написана по поводу книги лондонского профессора-статистика А. Л. Баулей: «The mathematical groundwork of economics», 1924. Виссель слегка иронизирует над пристрастием употреблять алгебраические знаки там, где можно обойтись без них (в полит. экономии уже в 1838 г. применил их Курио) и где нет еще ни достаточного статистического материала, ни достаточной точности экономических понятий. Однако он выступает за математическую трактовку, в частности, проблемы монополий и прибыли, где речь идет о комбинациях между ценами и количеством продукции. При наличии двух или нескольких монополий в одной или нескольких отраслях «проблема становится, однако, столь сложной, что даже опытные математики здесь сплосховали», «здесь нужны такие сугубо-математические головы, как Рикардо и Бем-Баверк, которые, однако, обходились с чрезвычайно ничтожными математическими фактами». Виссель приводит случай, что обложение налогом одного из нескольких товаров одного монополиста может повести на практике к снижению цены этого товара, что никак не вразумительно для математика: так, налог на ж.-д. билеты первого класса может повести к снижению цен на билеты всех классов. Виссель подчеркивает, что «только путем суммирования всех предложений и всех спросов по всевозможным ценам можно получить имеющие общую силу кривые предложения и спроса». Баулей тоже замечает, что «индивидуальный обмен между двумя лицами вне рынка является неопределенной проблемой». Виссель неоднократно подчеркивает, что на первый взгляд столь элементарные в математической трактовке проблемы немедленно в сугубой степени усложняются. Так, например, Виссель указывает, что «монополия в классическом смысле предполагает совершенную пассивность всех покупателей, а это возможно только при наличии одного единственного монополиста во всем мире». В дальнейшем Виссель разбирает учение Курио о сбыте двух или нескольких монополистов.

В общем читателю несколько не выясняется необходимость и польза разных «кривых индифференций» Парето и Эджворта, «кривых предложений» Маршалля, «кривых предельных производственных издержек» Пигу и пр., несмотря на их заманчивый и многообещающий математический аппарат. «Кривые индифференции» должны указывать те комбинации благ, например, вина и хлеба, которые имеют одинаковое значение для данного индивидуума. По всем видимостям, эти кривые могут сослужить положительную, конкретную службу разве только с точки зрения предельной полезности, со стороны комбинации потребностей. Характерно, что сам Парето в своей «Социологии» (стр. 1594/5), повидимому, разочаровался в этих «кривых индифференции», развитых им в математическом приложении к своему «Руководству политической экономии». Он заявляет, что и посылка этих кривых теория экономического равновесия (!) должна доказывать из опыта, какие блага индивидуум покупает по определенным ценам. В сущности это отказ от «математического» объяснения.

Звальд Шамс («Уравнения Касселя и математическая политическая экономия») держится того мнения, что применение математики к политической экономии возможно и желательно, но с тем, что предварительно необходимы отвлеченные синтетически-теоретические построения самой политической экономии (так. называемое

Ansetzendes Denken): математический аппарат служит только для дальнейшей проработки этих построений. Шамс ссылается на Отмара Шпайна (Die Haupttheorien der Volkswirtschaftslehre, 1926, стр. 169), на «Логнику» Зигварта (стр. 176, 181), на авторов-математиков, как-то: Otto Hölder, Die mathematische Methode, 1924 г., стр. 897, и др. С этой точки зрения он подходит к критике уравнений Касселя.

Уже Курно,—говорит он,—вследствие недостаточного теоретического анализа понятия конкуренции пришел к ошибочной математической формулировке монополюидной цены; оставив без внимания так называемый сопsumers rent, он пришел к ошибочным заключениям в теории междунородных ценностей. Что касается Касселя, то самый уязвимый пункт его построений, это—понятие «равновесия», на котором построены его уравнения. Шпайн (цит. соч., стр. 171) определенно указывает, что это «равновесие», как фундамент касселевской теории цен, является ничем иным, как тавтологией. В таком же смысле критикует систему Касселя проф. А. А. Аммон. «Не потому,—говорит Аммон,—что задача образования цен заключается в таком ограничении спроса, чтобы предложение покрывало спрос, не потому при равновесии весь спрос должен покрывать все предложение, а потому, что иначе вообще не мыслимо равновесие: это лежит в самом понятии равновесия, составляет его сущность». Кассель считает спрос и предложение математическими функциями цены, а именно всех цен в их совокупности. При этом Кассель говорит о механизме образования цен на основе принципа редкости или скудости (Knappheit). Слово механизм он употребляет при этом не просто как метафору, а по существу. При этом он строит в экономике понятие равновесия, аналогичное равновесию напряжений в мосте, т.-е. чисто-статическое равновесие. Поступая таким образом, Кассель игнорирует динамику экономики, представляет последнюю не как процесс изменения, а как строго повторяющийся круговорот. Он делает это для того, чтобы обойтись без понятия стоимости, ибо очевидно, что нельзя объяснить количественные изменения без понятия стоимости. В результате Кассель в построении своих уравнений абстрагирует от самого содержания экономики. Для установления зависимости количественных изменений пришлось бы коллективные функции Касселя превратить в систему функций отдельных цен. По Касселю, определяющими моментами цен являются: суммы средств производства, технические коэффициенты и коэффициенты уравнений, т.-е. формы функций спроса. Шамс находит, что первые два момента могут определять только начальное положение системы в любом конкретном случае, и что форма функций, т.-е. главный, определяющий цену, момент, остаются у Касселя неизвестными и должны быть предоставлены исследованию конкретных случаев. В результате вся система уравнений Касселя оказывается построенной на песке. Даже Шумпетер соглашается, что «одно установление функционального отношения не окупается, если дальше ничего нельзя сказать о нем». Отметим еще лишь, что Кассель, отрицая само понятие стоимости, отвергает не только трудовую теорию стоимости, но и теорию предельной полезности. «Так называемая предельная полезность,—говорит он,—является точно такой же неизвестной проблемой, как и цена; поэтому явно не имеет смысла объяснять ею цену». В своей математической системе Кассель не прибегает также к методу пределов, к охвату изменений экономики путем анализа бесконечно-малых.

В то время, как ряд корифеев современной буржуазной науки тщетно пытаются влить в нее свежую струю применением «математического метода в политической экономии», проф. Отмар Шпайн, оракул модной школы в Германии и Австрии, низводит математику до «бухгалтерии природы» и объявляет эту науку наук суррогатом, Notwissenschaft. В статье проф. Штольцмана («Учение Отм. Шпайна о цельности») цитируется следующее суждение Шпайна: «Математический метод остается

явно чуждым сущности (!) вещей, он только квантифицирует, по внешности точен (в кавычках!), как естествознание, но на самом деле является только учением о величинах и не заслуживает имени науки в такой высокой мере, как гуманитарные науки, он лишь продукт нужды, *Notwissenschaft*, это как бы прищипанная бухгалтерия природы». Это откровение главы новоявленной «романтической» школы в политической экономии, во всяком случае, любопытно. Но еще замечательнее следующее. Шпани идет далее и строит ортимальную теорию, что учение о стоимости и цене должно обходиться без количественных измерений! Как видим, полнейший разброд: один лагерь ущемляется математикой, другой — не признает вообще количественных измерений в политической экономии. Кстати, откровение Шпанна о «качественных», «монополоидных» ценах не столь оригинально, как может показаться на первый взгляд: оно весьма приближается к допотопному учению о «справедливой цене». Так или иначе, Шпани отвергает в своем понятии цены и стоимости всякое измерение величин, — другими словами, цифровые отношения. Он исходит из того, что отсутствует соизмеримость отдельных отраслей. (С другой стороны, однако, он подчеркивает, что «ни одна цена не существует сама по себе, für sich, при изменении одной цены должны измениться все другие цены»; это — коренное противоречие в учении Шпанна о «монополоидных» ценах). «Мера и число, — говорит Шпани, — при обмене и цене... являются не чем-то первичным и самостоятельным, а производным и косвенным». На этом основании он тоже выступает против теории предельной полезности, выдвигает против нее свое туманное понятие *Gleichwertigkeit*, равной важности.

Учение Шпанна о «цельности» создало уже чуть ли не целую литературу. С одной стороны, это учение выезжает на достаточно заезженном копыте «универсализма»; с другой стороны, однако, в этом учении изворочен такой сумбур, что приходится диниться долготерпением буржуазных адептов этой теории, возящихся с ней, как с писаной торбой. Вот определение понятия «цельности», даваемое Шпанном и приводимое в статье Штольцмана: «Цельность, это — общее понятие, которое включает все непроизвольные основные понятия, а именно, понятие нормы и действительности (*Gültigkeit*), а в особенности понятие цели, а с нею в конце концов также античное понятие формы». В огороде бузина, а в Киеве дядько... Совсем сумбурно-комичны рассуждения Шпанна о том, в какой мере общество и отдельные овцы являются целым или частью на отдельном хуторе, и т. д. Под видом подчеркивания заслуг Шпанна, Штольцман, в сущности, разносит его теорию в пух и прах. Однако один другого стоят. Статья Штольцмана производит впечатление сугубой схоластики. По вопросу о понятии цели, которым Шпани пытается заменить понятие причинности в политической экономии, Штольцман защищает ультра-идеалистическое кантовское различие между высшей (трансцендентной) и простой целью, много распространяется о *Ziel und Zweck*. С другой стороны, Штольцман упрекает Шпанна в том, что он создает «искусственную трансцендентность вещей». Совершенный хаос представляет собой понятие *Leistung* у Шпанна, не то функции, не то средства к цели, не то пользования.

Шпани не только отрицает соизмеримость цен, не только отвергает какие измерения и цифровые отношения в своем учении о ценах. Он идет еще дальше и заявляет, что сами понятия цены, рынка, дохода (*Ertrag*), ренты и т. д. не существенны, важны не понятия, а точка зрения *Einstellung*, подход к ним: в руках «индивидуалистов» эти понятия приводят к совершенно другим образованиям, чем в руках «универсалистов». В статье Иво Корифельд («Учетная политика и цены») этот ученик и последователь Шпанна развивает положения своего учителя. Статья не

лишена известного интереса. Шпани отрицает общий уровень цен, считает его функцией, считает также невозможным научное установление изменения общего уровня цен. Шпани и Корнфельд отрицают также,—это оригинальнее,—единный общий уровень процента, как ссудного процента, т. н. реального или естественного процента (в духе Кнута Висселя и Касселя), под которым понимается тот процент, по которому ссужались бы сами товары в безденежном обществе. При этом Корнфельд приводит следующий аргумент: в течение тысяч лет прибыль (*Gewinne*) в сельском хозяйстве, несмотря на конкуренцию, ниже, чем в других отраслях,—это должно служить доказательством против единого, общего уровня процента. Здесь процент путается с прибылью, вносится также посторонний момент ренты. Так или иначе, Корнфельд уверяет, что не только каждая отрасль народного хозяйства, но даже каждое отдельное предприятие имеет свой особый уровень процента. В дальнейшем Корнфельд со слов своего учителя отрицает также общий характер капиталистических кризисов и их цикличность, однако ему приходится делать оговорки, и он впадает в ряд противоречий.

Что касается статьи В. Таухера («Банкнотная политика, конъюнктура и кризисы»), то автор задается целью проследить роль банкнотной политики в конъюнктурных циклах, строит теоретически десять различных фаз и пытается доказать их на цифровом материале из истории австрийской конъюнктуры в 1923—1926 гг. Он исходит из т. н. Гарвардского барометра, из того, что спекуляция и биржа ценных бумаг первые реагируют на намечающееся изменение конъюнктуры, затем промышленность и транспорт, и в третью очередь — процент. Таухер, повидимому, видит «первопричину» конъюнктурной цикличности в том, что процент падает до такого уровня, который снова делает рентабельным расширение производства. Объяснение одиозное и недостаточное, отчасти прямо ошибочное.

Статья проф. М. Буниатяна («Промышленные колебания, банковые кредиты и товарные цены») представляет собой критику книги проф. А. К. Пигу: «Промышленные колебания» (*Industrial Fluctuations*, 1927). Пигу примыкает к англо-американской школе: с одной стороны, он исходит из статистики и метода корреляции, при чем в результате признается, что имеющийся материал недостаточен и приходится в конце концов прибегать к «догадкам и предположениям» (*guesswork*), с другой — он строит свою теорию на сугубом психологизме. Причину «колебаний» и кризисов в промышленности он видит не в изменениях количества продукции, а в «настроениях» предпринимателей, в их ошибках, их слишком пессимистической или слишком оптимистической оценке положения и шансов! Буниатян правильно, чуть ли не по-марксистски, замечает на это, что это только рефлекс, вторичный фактор, а в основе оценок положения так или иначе должны лежать сами цены и их источники. Пигу, впрочем, кладет в основу периодических колебаний также два реальных фактора (он называет их внешними факторами, не присущими самому производству): среднюю долговечность машин, которую он принимает вместе с директором английского *Census of Production* в 10 лет (почему это—«внешний» фактор?) и величину урожая. Но первый фактор в дальнейшем как-то выпадает у Пигу. Что касается второго фактора (его продолжают подчеркивать сын Джеворна и Гебри Мур в его книге «Экономич. циклы»), то Буниатян, между прочим, ссылается против него на наблюдение Тутана-Барановского, что в истории Англии хорошие урожаи скорее совпадали с периодом промышленной депрессии, плохие—с периодом подъема; хороший урожай,—говорит Буниатян,—должен, снижая цену хлеба, скорее уже привести к противоположным теории Пигу результатам, к уменьшению покупательной силы, а по другому подсчету увеличение уро-

хия на 10% может дать увеличение промышленной продукции только на 0,5%. Пигу—сторонник, можно сказать, ультра-количественной теории денег, и, критикуя его, Буннатиан тоже приближается здесь к марксистским аргументам. В особенности удачно Буннатиан опровергает теорию о «создаваемых» банками кредитах (т. и. *Kreditschöpfung*); он доказывает, что расширение кредитов зависит не от воли и инициативы банков, напротив, банки сами следуют здесь за состоянием промышленности. Пигу объясняет банковскими кредитами колебания цен и вообще промышленные «колебания» (или конъюнктурные фазы и кризисы). При этом он имеет в виду т. н. депозитные кредиты (и подчеркивает, что, благодаря чековому обороту, банки могут давать кредит и сверх суммы депозитов). Буннатиан на это возражает, что эти «депозитные кредиты» — особенность английских и американских банков—находятся в континентальной Европе в «эмбриональном состоянии», а между тем и в этой последней тоже имеются периодические колебания и кризисы. В своем взгляде на банковские кредиты Пигу связывает свою точку зрения на «ошибки» (в данном случае банков), как источник кризисов, с своей ультра-количественной теорией денег. Если до сих пор Буннатиан в своей критике Пигу приводит, можно сказать, марксистские аргументы, то далее сказыывается его «копыто дьявола». Выступая против взгляда англо-американской школы на уровень цен, как на «совершенно пассивный элемент», доказывая, что цены должны иметь свою реальную подоплеку, Буннатиан сворачивает к своему коньку, предельной полезности... В вопросе о реализации Буннатиан так же теоретически беспомощен, как Пигу. Последний утверждает, что при наличии только двух подразделений А и Б увеличение продукции А, создавая дополнительную покупательную силу (17), идет к увеличению продукции также у Б. Такой идиллии мы не находим даже в схемах Тугана-Барановского. На это Буннатиан имеет возразить только то, что нормально каждая отрасль уже имеет свой максимум, а именно данный предельной полезностью! Столь же наивно утверждение Буннатиана, что «централизация покупательной силы» особенно усиливает «потребность (1) в сбережении», проявляющуюся в увеличении спроса на средства производства.

Статья А. К. Пигу: «Стабилизация цен и стабилизация производства в отдельных отраслях производства» носит крайне отвлеченный характер, исходит попеременно из разных презумпций, в общем подчеркивает, что стабилизация производства ведет к дестабилизации цен и обратно. Большинство практиков,—говорит он,—имеет в виду преимущественно стабилизацию цен и полагает, что она должна помешать за собой увеличение производства, но это верно разве только по отношению к товарам, производственные издержки которых уменьшаются с увеличением продукции; кроме того, надо принять во внимание и различную эластичность спроса и т. д. Стабилизация цен, а не производства желательна при известных условиях, а именно при неэластичном спросе. В общем совмещение обеих стабилизаций автор считает почти неосуществимым. Во всяком случае, он рекомендует «союзы производителей», сиречь, картели и тресты, так как им легче проводить стабилизацию (1), например, они могут переводить часть спроса на плохие времена, повышая цены в хорошие времена. Впрочем, и это лишь с разными оговорками.

Из прочих статей «Архива» укажем на статью проф. И. Ястрова: «Естественное право и народное хозяйство» по поводу шведского издания найденной в 1896 г. тетрадки лекций Адама Смита (эта тетрадка не вносит ничего существенно нового в теорию Ад. Смита, как она была известна до этой находки), затем на статью проф. Г. Шака: «Современный капитализм и рабочные» (рационализация и т. п.), Е. В. Рейхарта: «Промыслы в древней Греции и капи-

талистическая промышленность», на статью Евы Флюгге: рассматривающую сочинения Торстейна Веблена (Thorstein Veblen), начиная от его вышедшей в 1899 г. *Theory of the Leisure Class* и до произведений последнего времени, далее на статью Готфрида Габерлера «Против теории банковского кредита Альберта Гана», статью проф. А. Мендельсона-Бартольдн: «Европа в Африке» («Борьба за Родезию остается великой проблемой американской политики... Родезия может взять ориентировку против английского колониального ведомства, или против южно-африканского союза...; в последнее время стремятся перетянуть к себе Родезию и Британская Африка»; приведена обширная литература вопроса), наконец, на статью Густава Майера «Всёобщее германское общество рабочих и кризис 1866 г.» и статью проф. Ф. Оппенгеймера об «Империализме» Штернберга. Остановимся в нескольких словах на этой последней. Оппенгеймер критикует Штернберга совсем с другой стороны, чем его критикуют у нас; Оппенгеймер скорее за теорию Розы Люксембург. Штернберг долгое время был учеником Оппенгеймера, и последний имеет с ним свои счеты: упрекает его в плагиате («он пахал моим теленком») и т. д. Оппенгеймеру не нравятся революционность Штернберга, который настаивает на социальной революции, не дожидаясь «зрелости к социализации»; по этому поводу Оппенгеймер повторяет весь репертуар ревизионизма, доказывает, что и зарплата поднимается, и число мелких собственников не падает и т. д. С явной передержкой и с кивком в известную сторону он на основании «издержек революции» утверждает, что революция лопнула... Нетерпеливость, которая совсем не к лицу немецкому профессору, и в других случаях не проявляется немецкими учеными. Но всего замечательнее Оппенгеймер «разбивает» в этой статье Маркса: «Марксово деление всего капитала на постоянный и переменный капитал, несомненно, является вариантом теории фонда заработной платы, при чем особенно слабым вариантом, так как он сначала складывает зарплату всех рабочих, чтобы получить переменный капитал, а потом снова делит этот капитал на число рабочих, чтобы получить заработную плату—совсем порочный круг!». Это не мешает Оппенгеймеру на следующей странице привести цитату из Маркса, в которой именно Маркс высмеивает этот порочный круг: «Оборотный капитал страны, по словам проф. Фаусетта, есть ее рабочий фонд. Следовательно, чтобы узнать среднюю денежную плату, получаемую каждым рабочим, надо просто разделить этот капитал на число рабочего населения. Итак, мы сначала вычисляем сумму действительно выплаченных индивидуальных заработных плат, затем объявляем, что результат этого сложения представляет стоимость рабочего фонда, установленного богом и природой. Наконец, полученную таким образом сумму мы делим на число рабочих, чтобы снова открыть, сколько в среднем выпадает на долю каждого единичного рабочего. Процедура чрезвычайно хитроумная». Оппенгеймер, тем не менее, продолжает голословно утверждать, что марксовская теория является вариантом теории фонда заработной платы, и что Маркс сам не далеко ушел от Фаусетта. Вместо доказательства Оппенгеймер отделяется высокомерной тирадой: «Не наша задача отыскивать способы, как совместить собственную теорию Маркса с его исчерпывающей критикой теории фонда заработной платы. Это будет благодарной задачей для различных направлений марксизма». Это сделано самим Марксом, господин профессор! Et voilà comment on écrit l'histoire! Вот как буржуазные профессора «разбивают» Маркса...

Заслуживают также упоминания две статьи (Архива) о Китае: К. А. Виттфогеля: «Проблемы экономической истории Китая» и проф. М. Ледерера: «Социальные сдвиги и политическое преобразование Китая». Статья Виттфогеля, знатока Китая, представляет собой критику книги китайской писа-

тезицы Мабель Пинг-Хуа Ли: *The Economic History of China. With special Reference to Agriculture.* Columbia-University. N.-York 1921. В опровержение утверждения Мабель Ли, что «экономическая история Китая фактически не известна», Виттфогель приводит обильную литературу. В общем книга Ли подвергается уничтожающей критике (эта писательница, между прочим, умудрилась перевести в китайских источниках «саранчу» словом *wogras*, черви), при чем Виттфогель ставит ряд проблем: о древнем аграрном коммунизме, о системе Тсинг-Тиен, о распределении земли по квадратам или по колодцам и пр., о феодализме в Китае и т. д. Виттфогель неоднократно ссылается на Маркса и Энгельса. Главную ошибку Ли Виттфогель усматривает в том, что она в своей истории аграрных отношений в Китае недостаточно учитывает неаграрные отрасли: «все время говорится об аренде, арендной плате, и не ясно, кто большинство сдающих землю в аренду: крестьяне или некрестьянские слои, не ясно, откуда эти последние берут средства для покупки земли». Здесь поставлен вопрос, который обсуждался и в нашей литературе. Статья Ледерера гораздо менее содержательна и менее компетентна. О современном положении Китая, о Гомин-дане и др. Ледерер не дает больше того, что можно найти в больших германских газетах.

В «Ежегоднике» на ряду с отделом общих статей весьма ценны также статистические обзоры экономического положения отдельных стран, — эти обзоры помещаются из месяца в месяц, — и отдел информации. В этом последнем мы находим, несмотря на то, что он скромно назван: *Miszellen*, *Chronik*, весьма обстоятельные и компетентные статьи: Развитие мирового денежного рынка и мирового рынка капиталов, а также рынков отдельных стран за 1926 г. и за первое полугодие 1927 г., Профсоюзное движение в Соед. Штатах, Результаты страхования безработных в Англии, Новый закон об электрических станциях в Англии, Сдвиги пролетариата в век электричества; Положение мирового флота в 1926 г. и многие другие.

На двух последних статьях стоит остановиться особо. В статье о «Сдвигах пролетариата» автор П. Крише обработал опубликованные пока данные германской переписи 1925 г. и подчеркивает «прямо ошеломляющий» результат: чрезвычайно сильное увеличение числа служащих и уменьшение числа рабочих. Тогда как в 1882 г. на 100 занятых в народном хозяйстве приходилось 66 рабочих (а также прислуги и помогающих членов семьи) и только 1,9 чиновников и служащих, в 1925 г., — правда, не по всей Германии, а только в 16 больших городах, — на 100 приходится уже только 45,5 рабочих (без членов семьи и др.) и 31,1 чиновников и служащих. Скачок от 1,9 к 31,1 действительно сногсшибателен; надо полагать, он в значительной мере объясняется новыми методами классификации при переписях. Автор объясняет его тем, что мы вступили в эпоху электротехники, когда в рабочем классе происходит сдвиг от горняков и металлистов, как главных представителей пролетариата в век пара, к «высшим квалифицированным рабочим типа чиновника, техника, старшего, короче — типа технического служащего». Автор приводит следующий факт: в сентябре 1926 г., во время стачки английских углекопов, в германской речной гавани Дуйсбург-Рурорт ежедневно грузилось 8.000 вагонов угля на баржи, при чем, благодаря новейшим электрическим устройствам, вагон автоматически разгружался в три минуты, и вся процедура обслуживалась только одним рабочим, тогда как прежде для этого требовались целые толпы грузчиков и пр. Разумеется, буржуазный автор не преминул сделать тот вывод, что с прогрессивным переходом рабочих на положение «служащих» отходит в вечность эпоха «романтической революции», характеризовавшая век паровой машины, и классовые противоречия станут разрешаться мирным путем (11).

Статья проф. Р. Хеннига: «Мировой торговый флот в 1926 г.», тоже останавливается на техническом прогрессе нашего времени, на переходе к топке корабельных котлов нефтью и к теплоходам, при чем констатирует замечательный факт, что, хотя Соед. Штаты—первый в мире производитель и потребитель нефти, они стоят чуть ли не на последнем месте в области перехода к теплоходам: так, например, к началу 1926 г. в Италии находилось в постройке теплоходов на 232.528 брутто-тонн (субсидии от Муссолини!), в Англии 229.481, в Дании 56.940, в С. Штатах однако только сравнительно ничтожная цифра: 17.351. Автор не знает объяснения этой технической ретроградности С. Штатов. Американский торговый флот вообще оказался весьма не на высоте, в сравнении с английским. В Англии тоже замечается некоторое равнодушие к теплоходам: две трети новостроящихся английских судов все еще предназначаются для угля. Это объясняется тем, что Англия должна считаться со своей угольной промышленностью. Таким образом, два важнейших капиталистических государства мира сугубо отстают от столь важного технического прогресса в области нефти. Этот крайне интересный и показательный факт, кажется, мало отмечался. С другой стороны, проф. Хеннинг подчеркивает, что Германия, в сущности не имеющая собственной нефти, имела в середине 1926 г. 10,1 проц. теплоходов против 5,39 проц. теплоходов во всем мировом тоннаже; это ставит ее в зависимость от иностранной нефти. «Такая политика Германии,—говорит автор,—была бы просто непонятна, но надо иметь в виду перспективы жидкого угля».

Оставим теперь экономические статьи и перейдем к рассмотрению статей общесоциологического характера. В «Архиве» их больше, чем в «Ежегоднике», в «Архиве» они даже, можно сказать, преобладают. За исключением статьи Крэгера все рассматриваемые ниже статьи помещены в «Архиве».

Статья проф. И. Шумпетера: «Социальные классы в этнически однородной среде» далеко не дает того, что обещает ее заглавие, хотя автор в начале статьи с большим самонадеянием замечает, что «Маркс понимал значение теории социальных классов, но преувеличил его в одном направлении и дал собственно теорию судьбы (?) классов, но не теорию самих классов». Статья Шумпетера в достаточной мере путана, хотя обнаруживает большие претензии автора. На продолжении всей статьи класс безнадежно спутан с сословием, речь идет в сущности не столько о классах, сколько о сословиях. Критерием принадлежности к одному классу вначале объявляется *coplubium*—право заключения браков между собой; впоследствии автор забывает об этом. Господствующие классы, по мнению автора, имеются не всегда, при чем слово господствующие ставится в знаменательные скептические кавычки. «Действительным индивидуумом в теории классов является не личность, а семья»,—автор во главу угла ставит рост и упадок отдельных аристократических или купеческих фамилий и, конечно, личные качества «предпринимателя» и вообще энергичных натур. Индивидуальный состав классов постоянно меняется, «классы—это оминбус, в котором вечно новые пассажиры». Шумпетер цитирует (со слов Иосуа Стемпла) собрание свыше тысячи семейных биографий у московского проф. Гензеля и делает великое открытие, что классовые рамки не являются непреодолимой преградой для отдельной семьи. Десятки страниц посвящены этому трюизму. Крайне поверхностно решается вопрос о классе и функциях: «В новых функциях (для класса) никогда не может быть недостатка». Автор пространно останавливается на истории германского дворянства со времен Каролингов, на военной реформе Карла Мартелла, при чем отрицает важную роль экономики в образовании рыцарского войска: снаряжение и конь, мол, не «орудия производства». Точно так же Шумпетер

исема оригинально отрицает первенствующую роль изобретения пороха и огнестрельного оружия: роль дворянства не упала вследствие введения наемных армий, нет, последние были введены оттого, что дворянство утраило военный дух¹⁾ и т. д. В том же путаном духе говорится о дворянстве, как государственных чиновниках и помещиках. О буржуазии мы находим такие перлы: она «не так легко, как дворянство, теряет свою классовую функцию по собственной вине, так как оказавшаяся непригодной буржуазная семья очень быстро выбывает из класса», «дворянство завоевало материальное добавление (*le complément*) к своему положению, а буржуазия сама создала это добавление». Итак, экономикна—добавление! В общем эта статья показательна для убожества тех аргументов, которые буржуазная наука противопоставляет марксизму.

Статья Гейнца Циглера: «Учение об идеологиях» останавливается на учении Вильфредо Парето (*Traité de sociologie générale*, 2 тома) и правильно подчеркивает, что это учение является миморной философией упадочной буржуазии, разочаровавшейся в историческом прогрессе; социология Парето отрицает реальность исторического процесса и разумного прогресса. Нет никакой истории, никакой эволюции, вера в историю—метафизика, «новая религия». Есть только иррациональные, эмоциональные, нелогические действия человека, не поддающиеся научному познанию. Парето отрицает монистическое объяснение истории, вообще всякое причинное объяснение ее. В атомистике нелогических действий вырсовывается только аморфная борьба всех против всех, при чем ведут ее верхушки разных слоев и групп, это—вечная смена таких верхушек (*élites*). Классы не имеют, по - Парето, «исторической миссии». В этом крутовороте наука может искать только некоторых внешних повторений (*uniformités sociales*). Другими словами, это теория Ницше об *ewige Wiederkehr* (вечном юзвращении), о «сверхисторическом человеке», который «не видит спасения в (историческом) процессе, нет, для него в каждый данный момент истории готова, достигла своего конца» («О пользе и вреде истории для жизни»). Между прочим, теория Парето бросает яркий свет на упадочный характер философии Ницше, несмотря на квази-властный маскарад этой последней.

Парето исходит, как из основного феномена человеческой природы, из «потребности человека объяснять, оправдывать свои действия», из «потребности наводить логический лоск на нелогические действия». Таким образом создаются на нелогическом остоле, *residu*, варнирующие логические производные, *dérivations*, идеология. Парето подчеркивает, что они не менее реальны, чем их нелогическая основа. Он строит схему возникновения этих производных. Здесь фигурируют «инстинкт комбинаций», «устойчивость агрегата» (социальная рутина), «дальнейшая жизнь абстракций» (нечто вроде марковского фетишизма товара), «чувство иерархии» (на эту часть теории Парето в особенности ссылаются «теоретики» фашизма), наконец, роль языка, как «границ между сознательным и бессознательным». Приведем одну иллюстрацию работы «инстинкта комбинаций»: «Если вы попросите кого-нибудь решить вопрос, равно ли А некоему Б, то—в особенности, если речь идет о социальных вопросах—при ответе на это неизбежно возникнут из хаоса разных мыслей другие сопутствующие вопросы: полезно ли, чтобы А равнялось Б, полезно ли думать, что А равно Б, согласно ли с чувством тех или иных лиц, чтобы А равнялось Б?» Как видим, эта психика не так уж

¹⁾ Как мы видим, Шумпетер отрицает первенствующую роль изобретения пороха не на том основании, что технические изобретения сами обусловлены развитием экономики (в особенности использование их); нет, Шумпетер во главу угла ставит сугубо идеалистические моменты.

«иррациональна»: здесь Парето невольно сбивается на полезность, на интересы групп, на экономическую подоплеку. Идеология в духе Парето не обязательно—кривое зеркало. Но, разумеется, вся установка Парето диаметрально противоположна марксистскому пониманию идеологии.

Подчеркивая, что Парето пользуется в романских странах таким же авторитетом, как Макс Вебер в немецких, Циглер проводит—крайне бегло—параллель между обоими учениями: обе теории построены на социологическом эмпиризме. Дальнейшие—кстати, очень не ясные—рассуждения самого Циглера мы не будем пересказывать здесь, отметим еще только следующее: Парето в своей социологии отчасти идет по стопам синдикалиста Жоржа Сореля, который создал против буржуазной демократии и т. д. теорию политического мифа (*«Réflexions sur la violence, Les illusions du progrès»*). В свою очередь, Сорель отчасти находился под влиянием Маркса, отчасти под влиянием Бергсона. Борьбу против «идеологий», как политического мифа, продолжали Эдуард Берт (*«Les méfaits des intellectuels»*, 1924), Франсис Делейзи (*«Les contradictions du monde moderne»*, 1925) и Л. Ромье (*«L'explication du notre temps»*, 1925; *«Nation et civilisation»*, 1927). В этом отношении показательно содержание книги Делейзи: «1. Очерк политической мифологии. 2. Национальный миф. 3. Миф против действительности». Оба автора занимаются, главным образом, мифом и идеологией национализма, попутно развешивают демократию. «Все западные идеологии,—говорит Ромье,—приобрели такую силу с XVIII века: национализм, демократия, вера в прогресс, интеллектуализм (рационализм) покоятся на единой базе, на предассудке веры в цивилизацию».

В статье проф. Г. Шульце-Геверница: «Духовно-исторические основы англо-американской мировой супрематии» мы находим интересный материал о религиозных корнях современной (буржуазной) демократии. Эта статья характерна, как параллель к учению Макса Вебера об «адекватности» этики кальвинизма и «капиталистического духа». Как сам Геверниц, так некоторые из цитируемых им новых авторов⁴⁾, очевидно, находятся под влиянием идей проф. Макса Вебера. Если уже Токвиль в 1837 г. подчеркивал роль религии в С. Штатах, если уже давно обратили на себя внимание сплетение демократии и библии в войске Кромвелля и «святой эксперимент» в «первом демократическом государстве» Пеннсильвании квакера Вильяма Пенна, то теперь подвергается углубленному исследованию происхождение самого содержания демократии из идеологии религиозных сект XVI—XVII столетий. Макс Вебер подчеркивает: «Люди, привыкшие к демократии внутри церковной общины, перенесли этот принцип на государство». Добровольное подчинение меньшинства большинству, этот основной принцип демократии, заимствован из жизни церковной общины, в которой он покоился на том, что «истина—единая». Принцип суверенитета народа был вначале транскрипцией божеского суверенитета («глас народа—глас божий») и «покоился на мистической вере в народ, через который говорит голос всемогущего бога, вступающего за справедливость; больше всех утилитарных аргументов способствовали демократии трансцендентные аксиомы» (James Brice, *Modern Democracies*. London 1921). Естественное право тоже строилось в первую голову на религиозных и метафизических принципах. Равенство всех граждан в демократии было вначале транскрипцией равенства всех людей перед богом; свобода понималась вначале, как свобода совести в первую голову. «Все понятия современного учения о государстве,—говорит проф. К. Шмитт,—являются секуляризованными (обмирщенными) богословскими понятиями». Впрочем, что касается

⁴⁾ Prof. Carl Schmitt, *Soziologie des Souveränitätsbegriffes und politische Theologie*. Erinnerungsgabe für Max Weber. München 1923.

Франции, то здесь, как подчеркивает Гевеиниц, Великая революция осуществила отрыв демократии от религии. Быть может, эти результаты пригодятся в нашей дискуссии против фетиша буржуазной демократии. Между прочим, Шульце-Гевеиниц усматривает «волну демократии» еще в пресловутых «14 пунктах Вильсона»! В этих пунктах буржуазная демократия оказывается верной своему богословскому происхождению, они существуют только в мифах, сны в небе... Гевеиниц называет «бессмысленным» применение «марксистских формул» к объяснению «святого эксперимента» квакера Пенни³⁾; в этом отношении гораздо глубже сам Макс Вебер, у которого можно найти хороший конкретный материал для марксистского объяснения идеологии из экономического базиса. Отметим из взглядов Гевеиница относительно современной Америки еще только следующее: он находит, что в С. Штатах господствует общественное мнение, но делают его не господствующий класс, не политики и даже не пресса, а «широкие средние слои». О самой супрематии Англии и Америки Гевеиниц говорит в этой статье весьма мало. У Гевеиница приводится также литература о демократии.

В статье проф. К. Шмидта: «Понятие политического» затрагиваются также вопросы о демократии и либерализме, о либерализме и демократии. Понятие политического Шмидт выводит из борьбы; в этом смысле он оспаривает за либерализмом политический характер, так как либерализм превращает борьбу (в экономической области) в конкуренцию.

Совершенно особняком стоит в «Ежегоднике» большая статья Г. Крэгера: «Магия у истоков экономики». Повидимому, редакция придавала этой статье особое значение, поместив ее, несмотря на то, что тема статьи не подходит в рамки этого журнала. Действительно, статья замечательна, как ультра-идеалистическое объяснение начала экономики из магии и религии. Эта статья в то же время показательна для буржуазной науки: Эд. Ган, Шуртц и др. тоже объясняют начало скотоводства и земледелия «магическими мотивами». Любопытно, что в *American Journal of Psychology*, vol. XXIV, тоже появилась аналогичная работа: «Роль магических факторов у истоков человеческого труда».

Крэгер утверждает, что первая одежда (междубедренная повязка, гроб, отгоняющие злых духов, ткани для мертвеца—sic!) появилась из магических побуждений, а не по соображениям пользы, не для защиты от холода. Он пытается доказать, что и первые хижинки были предметами культа, или имели магическое значение; единственным «аргументом» является у него то обстоятельство, что хижинки, имеющие религиозное значение, строятся более тщательно. Автор утверждает, что огонь в первую очередь служил для закланья бури, а уж позднее для приготовления пищи. Доказательств не приводится, хотя автор самым пространством образом цитирует этнографов и путешественников. Совсем несуразным является утверждение: металл ценится не потому, что он годится для оружия и т. д., а потому, что «с ним в особенной силе связано магическое переживание». Здесь определению следствие выдается за причину. Даже буржуазная наука всегда считала священность металлов и ремесел производной от их экономического значения (см., например, O. Schrader, *Sprachvergleichung und Urgeschichte*, 1890, стр. 263 и сл.), и наоборот. В своем объяснении презиаемого положения кузнеца из магического страха перед огнем Крэгер тоже остается позади Липперта и Шуртца

³⁾ Однако Гевеиниц признает экономическую подоплеку в демократии Джефферсона, а именно антагонизм колонистов-должников и англичан-кредиторов; родина Джефферсона, Виргиния, была наиболее задолжена Англичан, и этот момент легал в основе восстания против метрополии. Обращаем здесь внимание на американского автора-марксиста: Beard Charles A., *Economic Origins of Jeffersonian Democracy*, N. York 1915; его же: *The Economic Basis of Politics*, N. York 1924.

(к тому же, таково положение кузнеца не везде; у других племен оно почетно). Не только разведение стад, но и торговлю Крзгер «объясняет» из магии, при чем аргументация его крайне сбивчива, а чаще всего это просто голословные утверждения. Только для низшего, примитивного земледельца Крзгер допускает исключение: оно возникло из потребности найти пропитание для ребенка, и поэтому было делом женщины. В общем статья Крзгера—полное фиаско, но она сугубо характерна, как попытка наступления против материализма и в этой области. Кстати, сама первобытная магия не объяснена автором ни в какой-либо мере, он даже не делает попытки этого.

Ф. Капелов.

W. Sombart. Das Wirtschaftsleben im Zeitalter des Hochkapitalismus. Erster Halbband: Die Grundlagen—Der Aufbau; zweiter Halbband: Der Uebergang des Hochkapitalistischen Wirtschaft. Die Gesamtwirtschaft. Verlag von Duncker u. Humboldt. Munchen—Leipzig 1927. Стр. 1064. (В. Зомбарт. Хозяйственное развитие в эпоху новейшего капитализма).

В настоящей заметке мы хотели бы коснуться лишь одного вопроса, затронутого Зомбартом в недавно вышедшем 3 и последнем томе «Современного капитализма»: его отношения к Марксу.

«Настоящий труд,—пишет Зомбарт в «Введении»,—pretendует лишь на то, чтобы быть продолжением и до некоторой степени завершением марксовской работы. Насколько резко я отрицаю мировоззрение этого человека и все то, что ныне называют обобщающим и претенциозным терминном «марксизм», настолько же безоговорочно я восхищаюсь Марксом, как теоретиком и историком капитализма. (Это двойственное отношение я должен был признать возможным с первых же строк, которые я написал о Марксе). Все, что есть хорошего в моей работе, я обязан духу Маркса» (XIX).

Заявление это Зомбарт делает в связи с впечатлением, произведенным выпущенным перед этим «Пролетарским социализмом» (1924), читателям которого «могло бы показаться, будто я по всем вопросам нахожусь в полном противоречии с этим гением» (Маркс.—А.).

Для того, чтобы проверить зомбаровские признания и оценить их по достоинству, необходимо вспомнить сначала историю отношений Зомбарта к марксизму. Она начинается с борьбы с антимарксистски настроенным профессором Ю. Вольфом (один из позднейших вдохновителей Э. Берштейна в его работе по «ревизии» марксизма) и с изложения третьего тома «Капитала», вслед за его выходом в 1894 году. Этот дебют был удачен. Сравнительная объективность изложения и понимание Зомбартом задач «Капитала», необычные для профессорской среды того времени,нискали ему похвалу со стороны Энгельса (см. «N. Z.» XIV, I B.). Правда, и изложение Зомбарта грешило известным идеализмом в трактовке теории стоимости, как одной лишь логической категории, что и было отмечено Энгельсом. Однако эта работа, как и первые брошюры Зомбарта о социализме (о Марксе, об Энгельсе, «Социализм и рабочее движение»), встретили довольно благоприятное отношение к З. со стороны социалистических и околосоциалистических кругов.

Впервые истинные политические цели этого салонного «социалиста» и «друга рабочих» обнаружились ко времени начала бернштейновской кампании. Нападки Зомбарта на партию в «защиту» нейтральности профсоюзов («Dennoch, aus der Theorie u. Geschichte der Gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung», Jena 1900) и агитация среди рабочих в пользу морских кредитов разоблачили его соц.-политическую физиономию. Зомбарт оказался самым обыкновенным катедер-социалистом и защитником немецкого империализма,

поставшимся под маской симпатии к марксизму пробраться в лагерь рабочих, чтобы проводить обычную буржуазную идеологию классового мира. Поскольку этой же цели служил и бернштейновский ревизионизм, постольку З. оказался его рыным поклонником.

К этому времени относятся знаменитые статьи Розы Люксембург о З., в которых она, между прочим, писала: «Оспаривать открыто социал-демократию, опровергать ее учение?—Фи, как несвоевременно, как нереалистично, как «исторично»! Нет! Стать без обиняков на почву рабочего движения, признать все: профсоюзы и социал-демократию, классовую борьбу и конечную цель, под всем подписаться. Только... подвести под профсоюзы, в их собственных интересах, такой фундамент, на котором они неизбежно станут в противоречие с социал-демократией, «цивилизовать», т.-е. превратить, социал-демократию, в ее собственных интересах, в национал-социальную партию, и социализм, в интересах его собственного осуществления, превратить в нечто тождественное с капитализмом, — словом, в интересах классовой борьбы свернуть шею этой самой классовой борьбе,—вот в чем штука!» (Роза Люксембург, Избранные сочинения, т. I: «Против реформизма», стр. 239).

Дальнейшая эволюция взглядов Зомбарта от крайнего либерализма к «околомарксизму» к... фашизму и антимарксизму шла параллельно с ростом в Германии настроений воинствующего империализма, политической реакции, наступления на все завоевания рабочего класса, оголтелого шовинизма и милитаристической диктатуры во время войны, наконец, окончательной реакции, связанной с начавшейся после войны эпохой социалистической революции.

Еще в последние годы до войны сочувствие социализму и с.-д. движению, понимание научного характера марксизма, в противоположность утопическому социализму, умение (ограниченное) пользоваться марксистским методом («Почему нет социализма в Америке») у З. испаряется и уступает место симпатиям к помещикам, к прусской военщине, к прусской монархии («Народное хозяйство в Германии XIX века», «Война и капитализм» и др.), а сам метод исторического материализма низводится до ранга одного из «возможных» методов. Во время войны Зомбарт—оголтелый националист, противопоставляющий нации торговцев (англичанам) нацию героев (немцев) («Торговцы и герои»).

Но лишь в «Пролетарском социализме» (1924) Зомбарт показал, как далеко может зайти, как низко может пасть буржуазный ученый, когда ему наступят на классовый мозоль.

«Пролетарский социализм», это—энциклопедическая сводка всех ругательств, всей брани, какая когда-либо и где-либо появлялась против Маркса, против марксизма, рабочего движения и рабочих вождей. Это—пропитанный бешеной классовой злобой реакционера памфлет, в котором вместо фактов и научного исследования мы встречаем площадную ругань, клевету, ложь, в лучшем случае бездарную компиляцию всяких критических выпадов против диалектики, философского и исторического материализма, против большевизма и пр. Из каждой строки этого сочинения выглядывает пережившее лицо буржуа, который никак не может оправиться от смертельного страха, недавно еще пережитого им в связи с революционным падением 1923 года.

Сегодня, когда немецкий капитализм снова сравнительно оправился, и когда вместе с ним обслуживающая гинденбурговскую полицию «немецкая наука» вздохнула свободнее, на сцену вновь выступает Зомбарт и, не замедляя, произносит дифирамбы тому самому Марксу, которого вчера еще считал как воплощение «ненависти, мстительности и жажды власти», которого он считал «всего более беспочвенным, раздираемым противоречиями, неуравновешенным из социалстов» (Der proletarische Sozialismus,

l, 59), которому он отказывал и в «граде немецкого духа» (марксизм еврейского и английского происхождения), которого он изобличал в плагиате из английских и пр. социологов XVIII в. (Миллар и др.).

Чем же объясняются эти *salto mortale* буржуазного ученого, эту необычайную «гибкость» его научной совести, зачем понадобилось ему снова прийти на поклон к Марксу? Зомбарт не первый и не последний из буржуазных ученых, «заразившихся» марксизмом. Можно без преувеличения сказать, что все крупнейшие современные немецкие социологи повинны в этом грехе и в той или иной степени, открыто или скрыто, прямо или косвенно отдают дань марксизму (К. Бюхер, М. Вебер, Трельч, Тэннис, Дельбрюк, Плэнге и др.). И это вполне понятно. Нигде, кроме марксизма, они не в состоянии найти метода, хотя бы отдаленным образом способствующего научной разработке фактов. Рост «буржуазного марксизма» в наше время тесно связан с падением и разложением буржуазных общественных наук.

Буржуазные ученые вынуждены идти на выучку к Марксу. Однако, отправляясь в этот опасный путь, они предпринимают ряд предохранительных мер: они выхолащивают из этого учения все революционное, они разбавляют, «дополняют» диалектический метод другими «методами». Посмотрим, как удается эта хирургическая операция Зомбарту и к чему она его приводит.

Маркс пленил Зомбарта своими синтетическими способностями, своим умением организовать конкретный материал вокруг глубоко продуманных обобщений. У Маркса Зомбарт нашел то, что ему не могла дать школа Шмоллера с ее национальной ограниченностью, с ее чисто описательным методом, с ее узостью, бесперспективностью и скукой. Но Зомбарт не осмелился взять Маркса целиком. Он попытался Маркса соединить со Шмоллером. История всех дальнейших методологических исканий Зомбарта (а они повторяются у него систематически от работы к работе, от издания к изданию) есть история согласования несогласуемого, разрешения этой методологической квадратуры круга. Восприняв метод Маркса, как один из «возможных» методов, Зомбарт дополняет его Кантом, Риккертом, Гуссерлем, М. Вебером. Зомбарт — противник выискивания «движущих, побуждающих, определяющих, направляющих сил» вроде экономики, техники, права, законов народонаселения. Он защищает относительность всех этих элементов. И жажда золота, и предпринимательский дух, и государство, и эротические и религиозные потребности, и биологические и психические предрасположения европейских народов с равным правом участвуют по Зомбарту в образовании капитализма. «Объясняя» империализм, Зомбарт выдвигает политические, военные, национальные, религиозные, популяционистские (с дальнейшими четырьмя подразделениями) motives его появления (68—69) и т. д. и т. п. Таким образом, он надеется воспроизвести «разнообразие мира» и «пеструю игру» различных сил вместо того «моноголового, серого однообразия», которое видят марксисты сквозь свои догматические очки. По существу же научное объяснение З. подменяет описанием, марксовский метод — идеализмом, теорией взаимодействия, психологией.

В «живом человеке с его волевыми побуждениями, — с его целями, с его стремлениями, с его мыслями и страстями» (9) — Зомбарт надеется найти движущую силу истории. Следуя дальше за изложением нашего ученого, мы все же убеждаемся, что его мир не так уж «разнообразен», как это он нам обещал. «Движущей силой» в современном капиталистическом хозяйстве — узнаем мы — является... предприниматель-капиталист, и только он один. Без него ничего не происходит. Но поэтому он является и единственной «продуктивной», т. е. «создательной, творческой силой» (12). Так расширяется «живой человек» Зомбарта.

Если покопаться дальше, то нетрудно заметить, что и героический предприниматель, воспламеняемый Зомбартом, не есть для него первопричина истории. Зомбарт верит в мир надпсихических, метафизических истин, а к социологии он требует применения гуссерль-веберовского метода «понимания» (des Verstehens) предмета «изнутри».

К чему приводит зомбаровский методологический эклектизм? К смешению сущности с явлением, абстрактного с конкретным, к абстрактно-логической схематизации, к пустому конструктивизму, к филологической шпательке понятиями, к пустой игре слов, или же к тому же историзму, преодоления которого Зомбарт столь эффектно начал свое реформаторство.

И лишь там, где Зомбарт следует Марксу и его методу, не подмоченному никакими «оригинальными» дополнениями и никакой отсебятией, его исследования в состоянии приводить к ценным результатам. Но последнее редко. Это чувствует и сам Зомбарт. Он видит, что его многолетний труд не привел к выявлению каких-либо закономерностей капитализма. Он готов признаться, что «нет общей науки о хозяйстве человека», и что «мы уже не можем вернуть в творческую силу капитализма» (XXI). И, мелахолически осязая голову, З. ищет утешения в чистом эстетизме, или в поисках реакционных идеалов средневековья. «И в наше мрачное время имеются люди — и их, пожалуй, теперь больше, чем в недавнем прошлом, — которые находят отраду в практически-бесцельном познании, читают книги лишь для внутреннего просветления и с радостью встречают научную работу, имеющую вид удачного произведения искусства. Их я и приглашаю в то духовное здание, которое я, скромный духовный зодчий, воздвиг в этой книге» (XXII).

Вывод, как итог четвертьвековой (1-е издание «Совр. капитализма» вышло в 1902 году) работы, поистине, неутешительный! Правда, З. тут же заверяет нас, что «в наше время даже Маркс, если бы он вообще захотел взять на себя эту тяжелую задачу и описать систему капиталистического хозяйства, был бы не в силах создать что-либо иное, кроме самодовлеющей познавательной конструкции». Но это мало убедительно!

И как связать подобные заявления с замечанием того же З. за несколько строк раньше: «Настоящий труд претендует лишь на то, чтобы быть продолжением и до некоторой степени завершением марксовской работы. То, что говорил Маркс, было первым гордым словом о капитализме, между тем как настоящий труд говорит скромное последнее слово об этой хозяйственной системе» (XXIII). Эта нескромная скромность нашего автора, претендующего на то, что он сумел «расколдовать» (entzaubern) Маркса и привести его в «научный вид», столь мало гармонирующая с пессимизмом заключительных строк Введения — одно из многих противоречий, один из многих эффектов галантиного, умеющего обвораживать своим стилем и своими манерами, но мало беспокоящегося о последовательности своих мыслей, лирика.

Таково противоречивое и запутанное отношение З. к методологии Маркса. Оно недурно выражено у Шумпетера, в его сравнительной характеристике Маркса и З. «Маркс анализирует, Зомбарт избрасывает эскизы. Маркс всю жизнь работал в одном направлении, едином по своей идее и устремлению, З. собирает и регистрирует впечатления. Маркс борется над разрешением проблем, З. рассыпает взгляды и предоставляет их собственной удачи. Маркса интересует ответ, Зомбарта — вопрос. Мысль о противоречиях в системе является для Маркса невыносимым мучением, и он целые годы терзает себя и читателя на сотнях страниц, чтобы их преодолеть, для Зомбарта же ничего безразличнее, чем противоречие. Маркс твердо и страстно держится за каждую раз принятую, убедительную позицию, Зомбарт экспериментирует точками зрения и формулировками, ценность и цель коих часто

состоит лишь в том, что они способны возбуждать споры. Сохранить же их трудно даже самому Зомбарту, даже если он захотел бы. Бесцельно—мудро заканчивает Шумпетер—ломать себе голову о том, какой метод заслуживает предпочтения» (J. Schumpeter, «Zombarts Dritter Band»,—Schmolters Jahrbuch, 51 J., 1927, стр. 8—9). Шумпетер, именующий произведение З. «Bahnbrechende» выдает ему, сам того не чувствуя, убийственную аттестацию.

Непоследовательное служение Марксу приводит Зомбарта к антимарксизму, бегству с поля научной борьбы в область эстетствующего снобизма, ученого жонглирования понятиями историзма, эклетизма и мелких политических услуг злобствующей реакции. Еще одна попытка признать Маркса в какой-либо области, одновременно отвергая «душу марксизма», его диалектический метод, разоблачила себя сама убожеством тех результатов, к которым в конечном счете приходит Зомбарт в своей работе. Маркс «как теоретик и историк капитализма» оказался неотделимым от Маркса—творца исторического материализма. Еще один опыт построения системы «буржуазного марксизма» постыдно лопнул.

И. Альтер.

Rosa Luxemburg. Redner der Revolution. Mit Einleitung von P. Frölich. Berlin 1928. „Neuer Deutscher Verlag“.

(Роза Люксембург. Ораторы революции).

У Розы был свой ораторский стиль. Если Бебель всегда попадал в тон и прекрасно отражал господствующие настроения партийных масс, то Роза массы брала с бою, будила в них наиболее возвышенные чувства классовой солидарности, поднимала до роли активных агентов революции. Если Жорес увлекал аудиторию необычайным блеском и размахом своего ораторского искусства, воспроизводящего приемы великих трибунов классической французской революции то Роза, далекая от поисков ораторских эффектов, овладевала слушателем благодаря глубокой логике, содержательности, продуманности своих положений. Мысль ее, одетая в яркую, пластическую, ясную, резко полемическую, задорную форму, пропитанная горячим пламенем революционной веры, действовала поразительно сильно. У этого лучшего оратора немецкой социал-демократии счастливо сочеталась крепкая мускулатура мысли с огромным напряжением революционной воли. Стиль Розы наиболее приближается к стилю исторических работ Маркса, которые несомненно служили ей образцом.

Собранные Фредрихом речи Розы обнимают 4 ряда проблем: дискуссию с Бериштейном, революцию 1905 г., вопросы мировой политики и войны, вопросы ноябрьской революции. Большинство из них немецкому читателю могли быть доступны лишь из газет и в собрание сочинений Р. Л. еще не попали.

Дискуссия с Бериштейном. Отрывки из речей Розы в Штуттгарте и Ганновере. Бериштейнство — буржуазная фракция внутри рабочего класса. Ее попыткам установить вечный мир с классовым врагом надо противопоставить задачу насильственного захвата власти, разоблечь веру в буржуазную демократию.

Революция 1905 г. Она пробивает брешь в застоявшемся, затянувшемся тупой обывательщины рабочем движении Запада. Она вливает в него новую веру и новый энтузиазм. Она дает образцы тактики будущих пролетарских революций. Она буржуазная по своим целям, но пролетарская по своим методам. Отсюда международное ее значение. Революция 1905 г.—провозвестник новой эпохи войн и пролетарских революций. В сборнике даны отрывки из

речи Розы в Мангейме (сентябрь 1906 г.) и на Лондонском партийном съезде (1907 г.). Особенное внимание обращает вторая речь в Лондоне о пролетариате и крестьянстве. Роза дискутирует с меньшевиками не только по вопросу о буржуазии и ее реакционности в революции, о руководящей роли пролетариата, об отношении к Государственной Думе, но также и об оценке крестьянства в революции. У меньшевиков сухая и безжизненная схема о крестьянстве, как о едином реакционном мелкобуржуазном классе. Это неверно. «В еще недифференцированной массе русского крестьянства, привлекаемого благодаря настоящей революции в движение, имеются крупные слои не только наших преходящих союзников, но также и наших естественных будущих товарищей, и поэтому отказ от подчинения их уже сейчас нашему руководству и нашему влиянию был бы непростительным для судеб революции сектанством» (49). Крестьянство — революционный по своему положению фактор. Подчинить хаотическое, не играющее самостоятельной роли революционное крестьянское движение политическому руководству пролетариата — такова историческая задача русской социал-демократии. Эта речь, как и практика руководимой Розой Люксембург СДРПЦП и Л, показывает, что нельзя говорить о инглизме в крестьянском вопросе польских с.-д. Роза понимала революционное значение крестьянства. Но все же она недооценивала его роль в революции, в частности не мыслила себе сотрудничества представителей крестьянства в революционном правительстве и поэтому отвергла ленинский лозунг демократической диктатуры пролетариата и крестьянства.

Проблемы мировой политики затронуты в отрывках из 3 речей в Лейпциге (7 ноября 1905 г., 1 декабря 1911 г. и 6 мая 1913 г.), из речи на Мангеймском партийтаге 1906 г. и защитительной речи на судебном процессе Розы во Франкфурте 20 февраля 1914 г. Рассмотрение всех экономических и политических явлений с точки зрения новой эпохи империализма — характерно для всех работ и выступлений Розы в германской с.-д. Она придает им особую цельность и дальновидность. По этой линии идет наиболее резкое размежевание между центризмом и левым радикализмом и наибольшее сближение с большевизмом. Обращает внимание речь Розы на процессе. Процесс этот имел огромное агитационное антимилитаристическое значение. К нему были привлечены сотни свидетелей-солдат. Если бы не трусость официального руководства, процесс этот мог бы стать исходным пунктом широкой мобилизации рабочих масс против военной опасности и таким образом подготовить пролетариат к событиям 4 августа. В своей речи Роза, между прочим, кайзеровскому милитаризму противопоставляет лозунг милиции. Но в защите этого лозунга она допускает фальшивые ноты. Защитники современного милитаризма прибегают обычно к фразе о защите отечества. «Но если бы эти интересы отечества были честно и верно поняты, тогда, утверждала я, господствующие классы должны были бы заняться не чем иным, как проведением старого требования социал-демократии о милиционной системе. Но только оно является единственным верным оружием защиты отечества, ибо лишь свободный народ, который по собственному решению идет в поле, является достаточной и исчерпывающей гарантией свободы и независимости отечества. Только тогда можно было бы сказать: дорогое отечество может быть спокойным! Почему же, спрашивала я, официальные защитники отечества об этом единственном действенном способе защиты и думать не хотят? Лишь потому, что дело у них идет ни в какой мере не о защите отечества, а лишь об империалистической завоевательной войне, для которой милиция не годится. И, наконец, господствующие классы потому так же остерегаются дать рабочим массам оружие в руки, что злая совесть эксплуататоров заставляет их опасаться, как бы оружие это не было направлено не туда, куда им хотелось бы» (94). Выдвигаемое здесь Розой требо-

вание милиционной системы не может быть полиоценным лозунгом против опасности войны. Противопоставление же захватнической, империалистической политике чего-то в роде программы «народного оборончества» — идея столь же путаная, сколь и вредная. Она, к сожалению, повторяется Розой на страницах «Кризиса социал-демократии» во время войны.

В последних двух речах (15 и 31 декабря 1918 г.) Роза изобличает контрреволюционность шейдемаиовцев и независимцев, защищает идею советов против национального собрания и широкими мазками чертит дальнейшие задачи и перспективы ноябрьской революции, еще не вышедшей из стадии буржуазной революции. Это славнейший период ее революционной деятельности. В течение этих трех последних месяцев она сумела гениально исправить свои старые теоретические заблуждения и возглавить нарождающуюся коммунистическую партию.

Сборник снабжен предисловием Фрейлиха. Слишком общий характер этого предисловия не дает достаточно конкретных разъяснений к отдельным речам, требующим к себе сугубо исторического и подчас критического отношения. Нашим издательствам следовало бы подумать о выпуске подобного же сборника на русском языке, особо актуального в связи с приближающейся десятилетней годовщиной трагической смерти Розы.

И. А.

Предшественники научного социализма в отрывках из их произведений. Часть первая. Составил В. П. Волгин. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса. Гиз. Ленинград 1928 г. Стр. 309.

Составленный В. П. Волгиным сборник является чрезвычайно ценным, незаменимым пособием для всех, серьезно интересующихся проблемами социализма. В. П. Волгин «ограничивается самым существенным», но в намеченных программой рамках хрестоматия дает очень много.

Подчеркивая значение систем, «не отвечающих в полной мере современному пониманию слова «социализм», В. П. Волгин отводит место и «первым зачаткам социалистической мысли», начиная с «Государства» Платона. Отрывки из последнего дают представление о «потребительском коммунизме» родоначальника «утопизма», у которого позднейшая социалистическая литература взяла «не только идею общности, как радикального средства борьбы против зол частной собственности, но и значительную часть аргументов в защиту коммунизма и против денежного стяжательства» (стр. 11).

Отрывки из Диодора дают представление о древне-греческих утопических романах. Легенда о «золотом веке», переинсценивая осуществление коммунистического идеала в далекое прошлое, находит выражение в знаменитых стихах Овидия, превосходно переведенных (безукоризненными гекзаметрами) О. Б. Румером.

Христианский «потребительный коммунизм» представлен характерными отрывками, в том числе основным для христианской коммунистической традиции отрывком из «Деяний апостолов», отрывком из «Апокалипсиса», без знакомства с которым, как правильно отмечает В. П. Волгин, нельзя понять терминологии мюнстерских анабаптистов и крайних сектантов Англии эпохи революции. Отрывок из Лактанция характерен для попыток «словесно примирить коммунистическую традицию с фактически господствующим в недрах самой церкви неравенством».

Утописты нового времени представлены отрывками из «Утопии» Мора и «Государства-Солида» Кампанеллы. О коммунизме эпохи английской революции дает представление ряд памфлетов, «непосредственно вводящих в мир идей и настроений диггеров», и отрывки из «Закона свободы» Винстона.

Для ознакомления с французским социализмом XVIII века даны отрывки из «Завещания» Мелье, из Морелли и из Мабли и «Катехизис человеческого рода» Буасселя.

Для ознакомления с «кооперативными проектами XVII века» даны переводы проектов Корнелиса и Беллерса, предвосхищающего мысль Фурье и Оуэна.

Всего полнее представлены «Бабеф и бабувизм».

К сожалению, В. П. Волгин ограничивается документами и отрывками из бабувистской литературы, характеризующими идеи бабувизма, «как он сложился к 1795-г.», не останавливаясь на эволюции Бабефа от эгалитаризма к коммунизму.

Наконец, социалистические идеи в Англии XVIII века представлены отрывками из наиболее революционного английского уравнилителя Спенса, из Толла и из знаменитого сочинения Годвина, представляющего собою «высший пункт в развитии рационалистической уравнилительной теории».

Переводы отрывков сделаны вполне удовлетворительно. Следует надеяться, что скоро появится и вторая часть труда В. П. Волгина, посвященная социалистам первой половины XIX века.

Перед каждым отрывком даны весьма содержательные указания, выясняющие место автора в истории социализма. Указатель литературы весьма ценен.

А. Воден.

Л. Шюниинг. Социология литературного вкуса. С приложением статей: «Шекспир как народный драматург», «Семья как фактор эволюции вкуса». Перевод с немецкого Б. Я. Геймана и Н. Я. Берковского. Под редакцией и с предисловием проф. В. М. Жирмунского. «Academia». Лнг. 1928 г.

Эта книга на немецком языке опубликована уже в 1923 году, и только сейчас, через 5 лет,—промежуток времени не малый,—она дошла до русского широкого читателя. Это не случайное, а весьма характерное обстоятельство, и оно характеризует именно то состояние русской науки о литературе, в которой почти нет исследования проблемы читателя. Проблема читателя и зрителя рассматривается, как эстетическая проблема, она же, как известно, находится в марксистском искусствознании на задворках. Некоторые марксисты, и даже весьма маститые и почтенные, с презрением, морща нос, говорят об изучении читателя и зрителя—это, мол, субъективные состояния, состояния сознания; не дело марксиста «расходиться» на их изучение и исследование. Их не убеждает возражение, что субъективные состояния читателя превращаются в свою диалектическую противоположность—объективную силу отчасти материального свойства, как тираж и повторность издания, большое или малое количество критических отзывов и их характер, большое или малое число посетителей в театре и на выставках, социальный облик и сила реагирования зрителей, слушателей и читателей¹⁾. Никто не утверждает, что исследование читателя исчерпывает собой всю проблему изучения литературного произведения. Нужно лишь твердо усвоить, что тщательное изучение читателя абсолютно необходимо, как исследование коррелятивного явления ко всякому литературно-художественному течению. Нет и не может быть полного постижения художественного явления без точного знания того резонанса, который оно вызывало. Но понадобится авторитет немецкого ученого, чтобы несколько всколыхнуть, поколебать самодоволь-

¹⁾ Надо было отдать справедливость напостоявшим на то, что они не игнорируют проблемы читателя, но все же они не подошли вплотную к исследованию его, а лишь ограничиваются голыми цифрами тиража того или иного произведения.

ство некоторых ученых; впрочем, у нас некоторые товарищи относятся к западной науке по-славянофильски: гнилой Запад нам не указ! Гнилой-то он гнилой, и нам не указ, все верно, а только все же изучать и знать его весьма полезно! Никто иной, как В. И. Ленин горячо поощрял кропотливое изучение идейного наследства классового противника, пока еще успешно нам сопротивляющегося.

А теперь мы обратимся к рассмотрению вышеуказанного произведения представителя западной науки.

Разбираемая книга написана ясно, просто и увлекательно, и она доступна пониманию и мало подготовленного читателя, она изобилует весьма красочным фактическим материалом.

Чтобы характеризовать общий склад мировоззрения автора, я приведу небольшую выдержку:

«Кому принадлежит ныне передовая роль? Рабочий класс безусловно имеет много оснований претендовать на нее. Он является истинным носителем многих передовых идей подлинных культурных целей, частично возникших в среде буржуазии, но более или менее ею оставленных, как, например, идеологии пацифизма, или борьбы против механизации физического труда. В этих областях рабочий класс, пользуясь выражением Ибсена, «в союзе с будущим».

Пролетарин, буржуа и сам автор выглядят в этой картине, как очаровательные ягнята с бантиками на шее. Есть классы в Европе, но они мирно пасутся вместе на одном тучном пастбище. Вот эта, с позволения сказать, идея проникает собой всю книгу. Носителями разнообразных литературных вкусов являются, несомненно, различные классы и социальные группы, но борьбы между классами в литературе нет. Как же происходит смена вкусов? В результате смены классов,—вполне отчетливо отвечает Шюккинг. «Как общее правило, не вкус изменяется и обновляется, но у нового вкуса являются другие носители». Но как происходит смена классов? Это покрыто мраком неизвестности для Шюккинга. Вот убедитесь сами: «Присмотримся, например, к условиям, сложившимся в начале XVIII в. в Англии, когда здесь обозначился медленный подъем культуры буржуазии. В это время пуритански настроенная буржуазия имеет совсем иное представление о мире, иную оценку мира и иные принципы морали, чем аристократия. Общественные идеалы тех и других находятся в резком противоречии друг с другом. Согласно приговору последующих поколений, идеалы буржуазии во многом, например, в вопросах брака и семейной жизни, были значительно более прогрессивными. В самом деле, впоследствии они постепенно входят в жизнь. Однако носителями науки, и в особенности искусства, в это время по большей части еще является аристократия, т.е. главные деятели в этой области, хотя и не происходят из аристократии, но преимущественно содержатся и поощряются ею.

Отсюда с полной ясностью следует: не существует вовсе «духа времени», но есть, так сказать, целый ряд «духов времени». Во все периоды можно выделить резко различные группы с различными жизненными и общественными идеалами. С которой из них господствующее в данный момент искусство связано теснее всего,—это зависит от разнообразных обстоятельств, и только тот, кто живет не на земле, а в облаках, приписывает это действию чисто-идеологических факторов».

Здесь изображено мирное сожительство и сотрудничество классов. Те или иные идеалы признаются более прогрессивными, и «они постепенно входят в жизнь». Идиллия! Но, несмотря на идиллический характер социологических построений Шюккинга, они являются бесспорным серьезным сдвигом в буржуазном литературоведении, и он ядовито посмеивается над приторно-

сидящими фантазиями Фосслера, который утверждает, что «поэзия, это — цветок, безмятежно цветущий на скале и во льдах, в мороз и непогоду».

Правильно методологическое требование Шюккинга, что при исследовании какого-либо литературного направления необходимо анализировать не только произведения его участников, а также установить, какие газеты и журналы перешли на сторону нового направления, какую роль играли при этом те или иные политические группировки, какие отличительные черты имел этот процесс в столице и в провинции, выяснить отношение к этому вопросу социальных групп и профессий. Правильно также утверждение Шюккинга, что «прежде всего, в самом процессе творчества вкус, господствующий в обществе (по-нашему в том или ином общественном классе. — Л. З.) играет не последнюю роль».

Далее упрощается верная мысль, что смена литературного вкуса есть «передвижение центра тяжести искусства в сторону иных социальных сил». Таким образом: социальная, классовая обусловленность литературы приводит к материальной зависимости поэта и художника.

Действительно, Шюккинг рисует широкими мазками поучительную картину жалкой материальной и духовной зависимости художника в XVII и XVIII веках. Некоторая иллюзия независимости художника создается в XIX веке, когда его произведение становится товаром на неопределенный рынок. Но и здесь выступает новая огромная материальная сила, от которой зависит художник всех специальностей: издательство, пресса, директор театра, выставочные комитеты и т. д. От этих сил, — справедливо думает Шюккинг, — также многое зависит в установлении и изменении тех или иных художественных вкусов.

И здесь Шюккинг весьма наглядно показывает роль и значение материальных сил в распространении художественных вкусов. «Нельзя, однако, закрывать глаза и на то обстоятельство, что при распространении новых художественных вкусов имеет место не только идейная борьба, но и простая конкуренция вполне реальных материальных сил. Вместе с книжной торговлей (или торговлей художественными предметами) начинается борьба за пубliku, и история методов этой борьбы составила бы в истории литературных вкусов интереснейшую, хоть и не очень отрадную главу. Обычно склонны думать, что в делах искусства реклама — изобретение новой эпохи, но при этом слишком высоко оценивают идеализм прежних поколений. Случай, когда автор сам по мере сил старается облегчить дорогу своему произведению, является отнюдь не новым. Среди знаменитостей новой литературы одним из первых, кто уразумел необходимость рекламы в этом непопулярном в умственном отношении мире, был великий Сервантес, который из боязни, не вовсе бессознательной, что и первый том Дон-Кихота не найдет заслуживаемого им признания, выпустил маленькую брошюру, выдав ее за критику на «Дон-Кихота»; в ней он намекал на то, что в «Дон-Кихоте» можно найти весьма рискованную сатиру на некоторых высокопоставленных лиц; и брошюра эта оказалась тем снежным комом, который повлек за собой целую лавину критических сочинений и возражений. Автор «Тристрама Шенди» и «Сантиментального путешествия» также, по мере сил, помогал издателям в распространении своих книг; он диктовал своей возлюбленной письма, в которых она обращала внимание лондонских знакомых на новую поразительную книгу до сих пор неизвестного священника Лоренса Стерив. Посредничество может облегчаться тем, что поэт и журналист близки друг другу по профессии или даже бывают связаны личной дружбой.

Но вывод из всех этих чрезвычайно интересных фактов и соображений сделан Шюккингом довольно куцей, упрощенный, а именно: «чей хлеб ем, того и песни пою».

Мы представляем себе материальную классовую обусловленность художественного творчества и художественных вкусов много сложнее. Художник выражает психоидеологию того или иного общественного класса не только потому, что он от него зависит, а также от того, что он и сам становится искренним и убежденным поборником данного образа мыслей и чувств.

Разрыв художника с публикой, с непосредственным потребителем, привел, по мнению Шюккинга, к теории «искусства для искусства», к представлению об искусстве, как священнодействии. Начиная с Гете,—думает Шюккинг,—на самом деле, начиная с поэтов «бури и натиска», возникает обоготворение поэта: гению дозволено оскорблять филистерские обычаи, нравы, замашки. Эта тенденция продолжалась в романтизме. Но Шюккину, видимо, неизвестны давно известные слова «Коммунистического манифеста» о положении поэта в капиталистическом обществе, и даже им, повидимому, забыты бичующие, едкие слова Рихарда Вагнера по тому же вопросу.

Окончательный вывод, к которому приходит Шюккинг в конце исследования, совершенно неожидан для читателя: отрицание закономерности в смене литературных вкусов.

«Но почему всякое новшество закономерно? Для этого нужны доказательства. Ведь мы видели, что новшества вызываются множеством разных причин, в конечном счете случайных (подчеркнуто мною.—Л. З.). Утверждению их помогают средства, заимствованные непосредственно из обихода торговли. А в торговле далеко не всегда лучшее прокладывает себе дорогу. Все мы знаем случаи, когда превосходные товары вытеснялись теми, которые ловко рекламировались как более модные. Публике навязывались новые вкусы, а предметы более высокого качества исчезали из продажи, или отступали на второй план, или должны были приспособиться к новой моде. Отношения, существующие в искусстве, вовсе не так далеки от этого, как может показаться с первого взгляда. Внешними средствами можно достигнуть гораздо больше, чем подозревает зритель или читатель. Как ловко подается публике и получает сбыт то, что наинные историки искусства и литературы с важностью называют «необходимостью духовной эволюции», пытаясь в глубокомысленных исследованиях найти ему философское обоснование из «духа времени».

Но разве средства и предметы распространения в области торговли случайны? И разве подчинение искусства тем же законам капиталистического хозяйства есть случайность? Как легко сбить с толку в вопросах социальной закономерности даже очень умного буржуазного мыслителя!

Итак, книга Шюккинга «Социология литературного вкуса», несомненно, интересна и поучительна. Важность и плодотворность исследования литературных вкусов, т. е. читателя различных классов и времен, доказана с предельной ясностью и убедительностью. Но пути, по которым идет Шюккинг, и результаты, к которым он приходит, неправильны. Только подлинно марксистское литературоведение сумеет решить во всем объеме интересные поставленные Шюккином вопросы.

Л. Зивильчинская.

Ю. П. Фролов. Учение об условных рефлексах как основа педагогики. «Раб. Пров.» Москва 1921 г. 312 стр. Ц. 3 р.

Цель автора доказать, что педагогика должна быть основана на учении об условных рефлексах, и, главным образом, оттеснить от педагогики психоидеологию.

Психология при этом для автора олицетворяется Вундтом и Джемсом. Кроме них он не упоминает никого. Определяется психология как «наука, трактующая о душевных процессах или процессах сознания» (стр. 15). По

именно автора, у психологов в моде параллелизм (стр. 2). По педагогической психологии автор цитирует Селли, т.е. опять представителя все той же субъективной психологии, и, конечно, успешно с ним сражается. Современная психология, для которой Вундт и Джемс в общем что-то в роде антиподов, автором в лучшем случае игнорируется. В других случаях хуже. Автор пытается полемизировать с проф. Корниловым, причисляя его к «субъективному объективизму или объективному субъективизму». Проф. Корнилов, конечно, сам сумеет защититься от такой легковесной полемики, если сочтет это нужным. Отвечу здесь только один пункт. Проф. Корнилов говорит, что даже в самой простой реакции организм участвует как целое, и наш автор не может отрицать, что на это «есть» указания в работе Шеррингтона и др. авторов», но все же (несколькими строками выше) он в полемическом азарте бросает лягушку в ведро и торжественно предъявляет отрезанную от нее, но реализующую лапку. Кто же сомневался в том, что, когда нет целого организма, он не может реагировать как целое? И слишком дешевый прием доводить чуждого противника до абсурда: наверное, и проф. Корнилов не отрицает, что при легкой кожной царапине практически реакции всех других органов будут равны нулю. Однако и с отрезанной лапкой дело обстоит не так-то просто. Правда, лапа лягушки в этом отношении не такой удобный объект, но вот щупальцы актинии или руки осьминога, отрезанные от организма, продолжают реагировать как нормальные, т.е. захватывают добычу и влекут ее к тому месту, где нормально должен был быть рот. Так что «целющность», над которой пронизывает наш автор, тут заметна даже после ее искусственного разрушения. А чем выше организм, тем совершеннее он интегрирован. «Организм участвует как целое» — это значит, что если мы вызовем реакцию одной только лапки, то эта реакция будет протекать не так, как она выразилась бы, так сказать, в интересах этой самой лапки, а так, как это нужно «в интересах» всего организма. Чтобы заслониться от удара, мы подставляем руку, защищая ею голову, хотя рука может при этом пострадать. Другими словами, целое определяет собою реакцию частей, и проф. Корнилов совершенно прав, подчеркивая это.

Очень удивителен следующий упрек по адресу психологии. Она, видите ли, недостаточно устойчива, чтобы служить опорой педагогики. Она переживает кризисы, которые отражаются на педагогике. «Степень развития материальной культуры накладывает свою печать на особенности психологических взглядов целых эпох» (стр. 14). Золотые слова. Но какой отсюда вывод? Разве на другие науки материальная культура не накладывает своей печати? Также накладывает и на биологию и на физиологию и даже на математику и, в особенности, на педагогику. Но, может быть, автору известна какая-нибудь «внеклассовая» наука?

Автор «полагает», «что современная социология... должна включить в цикл своих исследований указанный вопрос о целях воспитания». Верно. Не только «должна», а давно уже включила. Мы имеем ряд трудов по «Социологии воспитания» (educational sociology). Позвольте назвать таких авторов последних лет, как D. Snedden 1922, C. C. Peters 1924, W. R. Smith 1917, Chancellor 1919, Clow 1920. Но, к большому огорчению нашего автора, я должен добавить, что все они работают в тесном контакте с социальной психологией.

Конечно, автор понимает, что безнадежно строить педагогику на одной физиологии: «Предмет воспитания так сложен сам по себе, а всякое заключение связано с такой громадной ответственностью, что физиолог не может взять на себя рассмотрения всей воспитательной проблемы во всем ее объеме, а тем более решение этой проблемы» (стр. 60). Поэтому он вставляет промежуточные звенья: то «педагогическую антропологию», то «социальную

физиологию». Очевидно, он им хочет поручить то, что сейчас делают психологи. Не проще ли признать, что научной базой педагогики должна служить психология, конечно, объективная психология или наука о реакциях человека, вообще, и ребенка, в частности (педология)?

Одна из основных ошибок автора заключается в том, что он хочет изучить поведение организма путем изучения только его условных рефлексов. Это принципиально неверно потому, что реакции организма, как целого, отнюдь не представляют собой простой алгебраической суммы отдельных рефлексов, а настолько сложное сочетание их, что они обладают своеобразными качественными особенностями. Поэтому, как ни важно изучить механизмы и элементы реакций, но надо кроме того изучать реакции в их характерной цельности, а это мы и называем изучением поведения. Стало быть, одно дело изучать условные рефлексы и через них высшую нервную деятельность. Другое—изучать поведение организма, как целого и корреляцию той и других.

Совершенно неубедительны возражения автора против правильного замечания В. Вагнера относительно того, что обстановка физиологической лаборатории не такова, чтобы можно было получить данные о нормальном поведении животных. Конечно, у животного в станке мы можем изучать какие угодно рефлексы, но не естественное его поведение. Автор утверждает, что «никаких новых свойств мозг животных в неволе не проявляет» (стр. 73). Это надо было бы еще доказать. А, может быть, теряет старые свойства?

Следующий этап. О высшей нервной деятельности автор пытается умозаключать на основании экспериментов со слюнными условными рефлексами. Строго говоря, такие эксперименты могут говорить только о той части работы нервной системы, которая участвует в образовании и функционировании данных условных рефлексов. На этой основе строятся обобщения о работе нервной системы вообще, хотя, может быть, в рефлексах другого рода, эта работа отличалась бы какими-нибудь своеобразными чертами. К таким обобщениям надо относиться с большой осторожностью. Но даже и о деятельности высших этапов нервной системы при выработке слюнных условных рефлексов мы только более или менее удачно можем догадываться. Автор весьма категорически рисует нам, например, следующую картину: «Клетка пищевого центра приходит тогда в состояние возбуждения. Но на ряду с этим на воспринимающие поверхности падает множество раздражений. Все соответствующие этим раздражениям клетки, находящиеся, главным образом, в коре больших полушарий, приходят в состояние умеренного возбуждения. Если вслед за этим раздражителем средней силы ребенок действительно получает в рот потребное его организму молоко, то в нервной системе (коре головного мозга) раздражение притянется от более слабо возбужденного центра к более сильно возбужденному, т.-е. пищевому» (стр. 241). Конечно, никто никогда не измерял степеней раздражения всех этих клеток и центров и не наблюдал этих «притяжений». Все это гипотезы для объяснения некоторых установленных фактов. Наверное, могут быть построены и иные гипотезы, которые, может быть, завтра будут даже лучше объяснять факты. Все такие построения очень интересны, ценны для дальнейшей работы, но не менее гипотетичны, чем те аналогии и обобщения, которые строятся другими науками, в том числе и психологией, для объяснения своих также прочно установленных фактов. Говорить о том, что сейчас уже физиология мозга может дать основу для педагогики, более чем преждевременно.

Но вернемся обратно к вопросу о поведении. Автор несколько раз в своей книге говорит о поведении младенцев, и надо сказать, что все, что он о них говорит, производит впечатление рассуждений, как говорят американцы, of the armchair variety, т.-е. созданных в кресле

за письменным столом. Автор не цитирует ни одной из немногих экспериментальных работ над младенцами и очень не тверд в своих утверждениях. Так, на стр. 94 он говорит, что в момент рождения «налицо имеется в сущности лишь один рефлекс—пищевой»; на стр. 97: «что некоторые виды или элементы обороны (в особенности пассивной—отдергивание, зажимывание, затахание) свойственны даже и новорожденному», а на стр. 240: «...личная система молодого организма, явившегося в мир, сразу мобилизуется полностью: кожа краснеет, глаза производят мигательные движения, руки и ноги приходят в движение, наконец, ребенок громко кричит», и дальше на стр. 241: «моченоспускание, опорожнение кишечника, дыхание, Зевота и сон дополняют перечень этих элементарных рефлекторных деятельности». Так что же «в сущности»: «одни лишь пищевой» или целый список? Список неполный и неправильный! На каких наблюдениях и в какой обстановке произведенных, основаны данные автора о первых днях жизни младенца, неизвестно. Если у автора имеются собственные наблюдения над достаточно обиходными материалом, то очень жаль, что он, во-первых, не опубликовал их подробно, а, во-вторых, не сравнил их хотя бы с книгой А. Gesell. Если же у него нет таких наблюдений, то я позволю себе утверждать, что источники, которыми он пользуется, недостаточны. О развитии поведения ребенка по таким источникам судить нельзя. Поэтому и утверждение автора, что «напрасно сторонники «скачков» развития стали бы их искать в развитии человека» (стр. 246), надо признать совершенно необоснованным.

С поведением животных у автора тоже далеко не все обстоит благополучно. Во-первых, как известно, в прежнее время для поведения животных всегда под рукой было очень простое и удобное «объяснение»—инстинкт. Современная сравнительная психология старается, избегая таких психообъяснений, анализировать факты, как реакции на раздражители. Можно говорить об инстинктах, если подразумевать под этим словом определенные и своеобразные факты поведения. Однако наш автор воскресит инстинкты в их традиционном субъективном понимании, только переименовав их в рефлексы. Таким способом вновь появляются «рефлексы» преследования и «рефлексы» коллекционерства. Очередь, очевидно, за «рефлексами» чистоплотности, стронительства, религиозности et tutti quanti. «Рефлексы» коллекционерства обосновывается ссылкой на каких-то дико жующих кур, известных из тех же самых охотничьих рассказов, за пользование коими упрекаются другие авторы. Еще «лучше» обоснован «рефлекс» преследования—романом Дж. Лондона. Ерунда, которую Дж. Лондон писал о собаках, превзойдена только им же—в том, что он писал о смуглой и белокурой расах у человека.

Автор полагает, что условный рефлекс может стать безусловным «путем ли отбора или путем суммации приобретенных признаков из поколения в поколение». «Иначе, чем было бы объяснить, что у породистых собак стойка вырабатывается почти сразу?» (стр. 119). Можно объяснить. Потому-то они и породисты, что у них стойка хорошо выражена. Иначе человек взял бы их не для охоты, а для охраны стад или перевозки грузов и т. п. Но, конечно, без сравнительной психологии в вопросах поведения разобраться трудно. Во всяком случае категоричность утверждений автора опровергнуть нельзя считать оправданной в виду отсутствия у зоопсихологии достаточного числа проверенных фактов по данному вопросу.

Во-вторых. Более важный момент. Игнорируя данные и выводы современной психологии поведения, автор возвращает нас к худшим временам донаучных понятий. Совершенно не принимается во внимание роль ранее образованных навыков. Одна собака пуглива и прижимается к полу, другая ласкова и прыгает на каждого нового человека—сангвиники, меланхолики, флегматики, по нашему автору. Но ведь надо раньше доказать, что эти особен-

ности прирожденны. А, может быть, они зависят не только от органических индивидуальных различий, а, в большей степени, от обращения людей со щенятами с момента их рождения? Щенята, в экспериментах автора, падают с узкой доски в сетку. Наверное, один упадет более удачно, и падение на нем мало отразится (хотя сравнительная психология знает, что потери равновесия, вообще говоря, вызывает мощную реакцию так наз. «страха», на которой особенно легко строятся условные связи), у другого, может быть, больно подвернется нога, и результат будет противоположный. Наш автор с этим не считается. Если щенята после падения ведут себя различно, то он объясняет это их различным «типом» (характером или темпераментом тож). Если имеется «тип», то имеются прирожденные способности, и мы полным ходом идем... назад к спекулятивной психологии. Не даром автор в другой связи утверждает, что изучение скорости образования условных рефлексов может быть средством для определения характера или способностей. На самом же деле, скорость образования условных рефлексов может дать представления только о скорости образования условных рефлексов и разве еще о соответствующих эффекторах и рецепторах, а больше ни о чем. К «ретроградным» выводам автора приводит игнорирование роли навыков, а к этому приводит его отрицание какого бы то ни было значения за психологией, которая как раз навыками-то особенно интересуется. Мы давно знали, что «никакой философии» — значит «плохая философия». Оказывается, что и «никакой психологии» значит «плохая психология».

Я не буду подробно останавливаться на «рефлексе цели», изобретенном акад. Павловым и во всем объеме защищаемом автором. О нем в нашей литературе говорилось достаточно. Я совершенно согласен с критиками, которые считают «рефлекс цели» возвратом к «врожденным идеям». Это тоже «плохая психология». Автор довольно наивно пытается обосновать «рефлекс цели» биологически через вышеупомянутый «рефлекс» преследования. Конечно, биолог знает такое поведение и видит в нем либо непосредственную, либо так называемую отсроченную реакцию, но «преследование» или «цель» в такое поведение привносит наблюдатель от себя, от собственного субъекта. Почему все эти удивительные вещи: «цели», «коллекционерство» и прочие именуются рефлексами — так же мало понятно, как оно было и раньше. С другой стороны, в коллекции нашего автора имеются рефлексы, которые оказываются не совсем рефлексами.

«Принюхивание, всматривание, истощивание» «обычно называют ориентировочной реакцией» (стр. 117). Не знаю, где кроме школы Павлова их «обычно» так называют. Зоолог их, конечно, так не называет. Для него это обонятельно-двигательные или оптико-моторные, или фонорецепторные реакции. А «ориентировочная» — это субъективный термин, толкование — от человека, предвзятая теория.

Так вот эти самые «ориентировочные» реакции оказываются и не условными и не безусловными. Они, оказывается, стоят особняком как от условных, так и от безусловных реакций (стр. 118). «От условного рефлекса ориентировочная реакция отличается своим появлением с первого раза» (стр. 306). Конечно, это не условная реакция, не спорю. Ведь автор, вслед за Павловым, иначе называет ее рефлексом на новизну раздражителя — стало быть, она производится на новый раздражитель и не может быть приобретенной.

Автор утверждает, что «рефлекс на новизну» представляет собой явление, стоящее как раз на границе безусловного и условного рефлексов» (стр. 306). Как же это так? Не прирождена и не приобретена, а так «на границе»? Нет сомнения, что те реакции, которые автору угодно называть «ориентировочными», являются безусловными, прирожденными.

Это один из немногих пунктов, в которых изложение автором учения об условных рефлексах отличается—как мы видели, очень неудачно—от изложения тех же вопросов самим академиком Павловым. В остальном автор слепо идет за Павловым и, в общем, те места, которые у Павлова изложены не отчетливо, темны и здесь. Сюда относится, главным образом, вопрос об образовании условных рефлексов (стр. 103 и сл.). Часто мысли, которые Павлов высказывает очень осторожно в виде допущений, здесь изображаются как установленные истины.

Оставим на этом физиологические и биологические вопросы и перейдем к наиболее важным расхождениям автора с психологами. Ввести в суть их может следующий отрывок: «Исследованием дифференцировок заканчивается обычно круг вопросов, изучаемых бихевиористами, которые, покончив с детальным анализом «простых» ощущений, не знают, что делать дальше. Дальше ведь в психологии идет изучение мыслительного процесса, а его-то бихевиорист (последовательный) как раз и не признает» (стр. 184). Не знаю, чему тут больше удивляться! Что это за жалкие бихевиористы, которые не знают, что им делать дальше? Что это за «последовательные» бихевиористы, которые не признают мыслительного процесса? Если бы автор потрудился открыть книгу Уотсона, которая им упоминается, то он нашел бы гая ряд страниц, посвященных анализу мышления. А Уотсон пользуется репутацией вождя наиболее радикально настроенных бихевиористов-естественников. Но автор в другом месте пишет, что «некоторые левые бихевиористы» «хотят видеть в мышлении ряд несуществвавших речевых движений (так наз. немая речь)» (стр. 84). Уотсон тоже охотно говорит о мышлении, как о немой речи, хотя приводит примеры и неречевых видов мысли, так что Уотсон, очевидно, не «последовательный бихевиорист». Смеем утверждать, что таких «последовательных» бихевиористов в природе не существует. Одно ясно, наш автор «не признает» мыслительных процессов, но в этом ни один бихевиорист за ним не последует. Дальше (на стр. 84) мы читаем, что бихевиористы, которые считают мышление немой речью, «однако неизменно наталкиваются на возражение, что люди глухонемые от рождения все же обладают «способностью мыслить». Во-первых. Такое наивное возражение, конечно, ни одного бихевиориста бы не испугало, так как наблюдения над глухонемыми и даже над слепыми глухонемыми только подтверждают представление о мышлении, как немой речи. Об этом автор мог бы прочесть хотя бы у того же Уотсона. Во-вторых. Автор ставит «способность мыслить» глухонемых—в кавычки. Позвольте спросить, что же они, в конце концов, по мнению автора, мыслят или не мыслят? Если не мыслят, то в чем же возражение? Если мыслят даже глухонемые, то как же может «последовательный» бихевиорист не признавать мыслительного процесса? И позвольте еще добавить, что не только бихевиористы, а и Сеченов, например, которого автор очень одобряет, тоже считал мышление немой речью. В своих «Рефлексах головного мозга» Сеченов писал: «Мне даже кажется, что я никогда не думаю прямо словами, а всегда мышечными ощущениями, сопровождающими мою мысль, в форме разговора. По крайней мере, я не в силах мысленно пропеть одними звуками песни, а пою ее всегда мышцами, тогда является как будто и воспоминание звуков» (стр. 75). Правильнее надо сказать так: немая речь—это одна из форм мышления, на ряду с которой имеются и неречевые формы мысли. Психология и физиология должны изучать и те и другие.

Однако прочтем дальше, что говорит наш автор о мышлении. «Совершенно отстраняя понятие о мыслительном процессе, вмешательстве души и прочем, мы, следуя методу условных рефлексов, ищем способов проникнуть в самый механизм анализа, расшифровать те мозговые процессы, которые

лежат в его основе» (стр. 184). Вот, следовательно, даже понятия о мыслительных процессах не нужно, а нужны только мозговые механизмы (с нашей точки зрения: механизм знать нужно, но этого мало). И это типично: все время мы слышим о механизме, о механизмах, наконец, о машинах: «Мозг работает в этом случае (при игре.—В. Б.) как ему следует работать, т.-е. автоматически, а в конечном итоге все определяется внешними условиями игры, а также силой первоначального раздражителя, которым машина пускается в ход...» (стр. 251). Машина, автомат и больше ничего! Здесь мы, конечно, коренным образом разойдемся. Человека никак нельзя сравнить с машиной. У машины нет истории, она тем совершеннее, чем меньше ее предыдущая работа влияет на дальнейшую. У человека все исторично, организм его начал функционировать раньше, чем доразвился, и каждый момент его действия отразился на всех следующих. Если у машины начинается «история», то ее сдают в ремонт. А у человека это естественный и неизбежный ход его жизни. Конечно, и материал, из которого построен организм, создан историей (эволюцией), а не добыт, напр., из руды, как материал машины. Ничего нельзя понять в поведении человека при наиболее полном знакомстве со всеми его «механизмами», если не знать его истории, не знать тех навыков, которыми он обладает. И без психологии, изучающей образование навыков, конечно, социальные навыки у человека, тут двинуться нельзя. Это все та же ошибка, которая, как выше было доказано, привела автора к «плохой психологии».

Отнюдь не умаляя колоссального значения учения об условных рефлексах, я все же думаю, что нельзя строить педагогику непосредственно на физиологии или какой-либо части ее. В основе педагогики должны лежать сравнительная психология и социальная психология человека, а эти, конечно, будут широко черпать из физиологической сокровищницы. Посмотрим, какие советы дает наш автор педагогам. Первый пример. «Вполне достаточно было бы в этом случае устранять лишь главнейшие источники, мешающие правильному развитию (наприм., следить за положением ребенка относительно источника света во избежание развития косоглазия, устранять излишние шумы и запахи, регулировать прием пищи). Всякие специальные приспособления, вроде фребелевских даров, могут на первых порах лишь вредить работе этого тонкого механизма, регулирующегося самостоятельно, и сыграть печальную роль «стула для обучения ходьбе». Необходимо оговорить, что в дальнейшем значение всякого рода игр для образования условных рефлексов сильно возрастает» (стр. 51). Товарищи педагоги, не давайте фребелевских даров грудным младенцам! Второй пример. «Когда педагог разделяет процесс развития ребенка на те или иные периоды, он не должен обманывать себя мыслью, что этим периодам соответствует в процессе развития какая-либо реальность» (стр. 153). Вот, например, проф. Блюмский в «Основах педагогики» вводит такие периоды, как: беззубое детство, молочнокислое, предпубертальное и т. д. Неужели так уже никакой реальности за ними нет? Не верьте, тов. педагоги! Это у нашего автора только полемический выпад против несимпатичного ему скачкообразного развития. Пример третий, последний. Автор рекомендует «принимать против наступающего срыва решительные меры, из которых мы здесь назовем главнейшие: 1. Либо можно дать нервной системе отдых полный или частичный, дабы дать оправиться угрожаемому пункту или целому комплексу их. 2. Либо следует, оставив новые задания, вернуться к старым, ранее сложившимся тормозам и заняться их практикой, пока все не придет к норме. Лучше потерять нечто в скорости продвижения, чем идти дальше, настаивать на своем в этом случае уже становится опасным. 3. Можно сменить все раздражители на новые, т.-е. переменить обстановку, хотя это действительно не для всех случаев срыва». И т. д. Все это в несколько иной терминологии педагоги знали и раньше. Я мог бы

иhrать еще таких примеров, но все они производят такое впечатление, что они не столько выведены из учения об условных рефлексах, сколько, будучи чуждыми из имевшихся педагогических концепций, переведены на рефлексологический язык.

Много более мелких недоразумений я оставляю в стороне, но должен отметить и некоторые очень правильные мысли в разных местах книги, высказанные автором. Наиболее важными из них я считаю три следующих: 1. «Никаких скрытых рефлексов, которые могли бы быть названы внутренними или усеченными, современная физиология не признает, как не признает никакой особой активности, «седалищем» которой служит нервная система» (стр. 85). Это твердо надо усвоить многим психологам со спекулятивными наклонностями, которые для своих спекуляций теперь охотно избирают физиологические отправные точки. У них нередко можно встретить представление о рефлексе, начавшемся, дошедшем до «центра» и там застрявшем. Это, понятно, абсолютная нелепость. 2. Очень правильно автор подчеркивает, что, на ряду с явлением специализации корковых нервных центров, «резко выступает» «также и факт чрезвычайной их замещаемости, а, следовательно, говорить о сколько-нибудь прочной локализации каждого центра условного рефлекса никак не приходится» (стр. 138). 3. На стр. 153 автор утверждает, что сравнительно-физиологический анализ позволяет приписать фактору среды решительное превосходство над действием фактора наследственности. Если это так, то мы получаем новое подтверждение выводов, к которым пришли очень немногочисленные пока массовые наблюдения над младенцами.

Как видно, все эти ценные мысли не имеют непосредственной связи с педагогикой. Конечно, они сыграют свою роль и для последней, после того, как волеются в своеобразный синтез, которому подвергает биосоциологические материалы психология.

Общий вывод таков: автору никоим образом не удалось поколебать следующих положений. 1) Человек, любой организм и даже отдельный орган — отнюдь не машина и не автомат. 2) Поведение организма не есть только сумма рефлексов. Поведение — это деятельность организма как целого. 3) Для понимания поведения человека мало знать органические или физиологические механизмы, лежащие в основе навыков, а нужно знать, сверх того, и самые навыки, т. е. его предыдущую историю. Понять навыки человека можно только беря его как представителя данного общественного класса и учитывая всю сумму социальных раздражителей. 4) Извлечь необходимые сведения о физиологических механизмах из биологии и о социальных факторах из социологии и слить их в своеобразном диалектическом синтезе должна особая наука, которую мы пока продолжаем называть психологией. 5) Педагогика не может строиться непосредственно ни на теории электронов-протонов, ни на физике, с химией, ни на рефлексологии или физиологии, даже ни на биологии и социологии, взятых в отдельности, а должна базироваться на психологии.

В. Баранский.

3. Борель. Основные идеи алгебры и анализа. Авторизованный перевод проф. Д. А. Крыжановского. Гиз. 1927 г. Стр. 307.

В предисловии к русскому переводу своих «Principes d'Algebre et d'Analyse» Борель остроумно замечает, что математику уважают в такой степени, что даже остерегаются открыть математическую книгу из боязни профанировать ее. Борель хочет заменить это почтение со слишком большого расстояния несколько более близким знакомством и постараться указать пути, следуя которым, образованные умы могли бы, не обрекая себя

на слишком долгое и трудное штудирование, попытаться понять, что такое представляет собою математика.

Без преувеличения можно сказать, что эта задача выполнена Борелем блестяще в тех пределах, которые имел в виду автор. Книга, являющаяся первым выпуском «Библиотеки Научного Воспитания» (*Bibliothèque d'Éducation Scientifique*), обращена к тем, кто имеет лишь элементарные научные знания в объеме средней школы. Но редакторы Гиза совершенно правильно назвали книгу Бореля «пособием для высшей школы», так как она может быть очень полезной даже для тех, кто проходит университетский курс математики. Дело в том, что современные составители математических курсов—специалисты математики, часто забывают о том трудном, не царском умственном пути, который им самим пришлось пройти, прежде чем они овладели своей специальностью. Вот почему в современных учебниках и трактатах мы не находим никаких следов черновой предпринимательской работы, никакого намека на кулисы развортываемой научной сцены. Видны только результаты, остроумие которых представляется ошеломляющему читателю, как настоящие *deus ex machina*. В старину ученые писали иначе. Взять бы, к примеру, хоть Кеплера. В сочинениях этого ученого перед читателем разворачиваются все мельчайшие подробности знаменитой «войны с Марсом» и других научных подвигов, пути побед и поражений, совершенные ошибки и вся работа по их исправлению. Но уже у Ньютона мы встречаем современную форму научного изложения. Многие задачи «Начал» бесспорно решены методом анализа, но решения даны в древне-греческой геометрической форме, так что даже Эйлеру изучение «Начал» представлялось делом трудным. Современный же профессор считает для себя позором признаться в совершенной ошибке и если он говорит о своем незнании, то делает это так, как-будто проблема вообще превышает силы человеческого ума.

Основное достоинство книги Бореля в том, что она в очень обнаженной, простой и ясной форме излагает то, что в обычных курсах математики преподносится в чрезвычайно усложненном, завуалированном, часто схоластически-абстрактном виде. Борель раскрывает, так сказать, кулисы научной сцены, ибо известно, что формально очень сложные результаты первоначально получались и изучались на весьма простых примерах, помощью весьма даже грубых моделей. Между тем, если современного студента, изучающего курс высшей математики, попросить дать конкретный и наглядный пример изложения какой-либо «хорошо известной» ему сложной математической формулы (например, известной формулы Грина), то он будет поставлен в тупик.

На самом же деле очень сложные по виду математические формулы и запутанные по форме теории очень просты в своей основе, и это с большим мастерством и остроумием показывает Борель, излагая в своей элементарной книге главное содержание современной алгебры и анализа вплоть до уравнений в полных дифференциалах. Замечателен метод, которым оперирует Борель для популяризации основных идей алгебры и анализа. Это метод качественно-и характеристики объекта, так, что книга Бореля является своего рода пособием по качественному математическому анализу.

Сущность метода Бореля очень хорошо выявляется уже в первой главе книги: «Линейные алгебраические уравнения и линейные формы». Д. А. Крыжановский правильно замечает, что здесь, повидимому, впервые в популярной литературе вопрос об уравнениях первой степени разработан с точки зрения теории линейных форм. Этот факт не является случайным, а объясняется тем, что теория линейных форм очень хороший образец, превосходящая иллюстрация метода качественного изложения математики.

Основная идея теории линейных форм очень проста. Если, скажем, у нас имеется система уравнений

$$\begin{aligned} ax + by + cz + \dots &= f_1 \\ a_1x + b_1y + c_1z &= f_2 \text{ и т. д.} \end{aligned}$$

то решение этой системы зависит от характера многочленов, входящих в состав уравнений. Написанные однородные многочлены первой степени относительно неизвестных (x, y, z, \dots) представляют собою линейные формы, но эти многочлены могут быть квадратичными (второй степени относительно неизвестных), кубическими (третьей степени) и т. д. формами. Изучая общие свойства форм, теория форм ставит проблему решения алгебраических уравнений следующим образом: при каких условиях данная совокупность форм f_1, f_2, f_3, \dots получает заданные значения l_1, l_2, l_3, \dots . Теория форм определяет значения переменных в функциях данных форм и, следовательно, их значений. Совершенно очевидно, что такая постановка вопроса сближает алгебру с анализом — формы являются определенными функциями переменных, значение которых требуется определить на основании заданного значения функции — формы.

Борель в первой главе своей книги дает ряд примеров решений уравнений, но его целью является ознакомление читателя не с техникой решений, а с качеством метода решений алгебраических уравнений на основе теории форм. Изложение у Бореля таково, что даже читатель, не умеющий конкретно решить самого простого уравнения, может великодушно усвоить суть современного подхода к проблеме решения линейных уравнений.

Тот же характер носит изложение остальных глав. Глава II посвящена производной и интегралу, при чем при обосновании этих понятий Борель явно пренебрегает святиней современного математического пуризма, известной под именем «строгое обоснования анализа», и совершенно без смущения оперирует «вульгарными» геометрическими образами (кривая, касательная, площадь). Это придает изложению математический характер, ибо, как это ни прискорбно для математиков-идеалистов, основой математики является не «свободное творчество человеческого духа», не логика, а материя и ее движение в пространстве и времени. Вся история развития математики громко свидетельствует об этой истине, и напрасны попытки ее опровергнуть.

В III главе Борель переходит к логарифмической и показательной функциям, при чем функции эти определяются им на основе понятия интеграла или, что то же самое, дифференциального уравнения. Невозможность выразить какой-либо интеграл помощью элементарных алгебраических функций (иначе решить в этих функциях дифференциальное уравнение) приводит к понятиям о новых функциях. Разумеется (и это оговаривает Борель), не таков часто бывает исторический порядок возникновения новых функций, но ведь исторически, например, низшие формы общества предшествуют высшей капиталистической, между тем, по методологическому замечанию Маркса, хорошо понять низшие формы общества можно, лишь основательно изучая высшую капиталистическую.

Указание определение логарифма и показательной функции соответствует качественному методу Бореля, ибо дает возможность в общей форме изложить основные свойства функций. Очень характерным для метода Бореля является определение свойств показательной (трансцендентной) функции 1^x и вывод на основании этих свойств формулы бинома Ньютона. Логический порядок здесь прямо противоположен историческому и, сверх того, простое «выводится» и «объясняется» из сложного, что является хорошей иллюстрацией к методологическому положению Маркса.

Аналогичным примером является вывод в главе IV (линейные дифференциальные уравнения) свойств тригонометрических функций на основе изучения дифференциального уравнения. Борель сначала дает мастерскую характеристику общих свойств линейных дифференциальных уравнений (раздел 1 главы IV), затем очень остроумно и оригинально выясняет общий метод решения линейного однородного уравнения с постоянными коэффициентами (раздел II) и, наконец, выводит свойства круговых функций (вплоть до разложения в ряды), анализируя определенное дифференциальное уравнение.

Последние главы книги, V и VI, излагают теорию линейных дифференциальных уравнений, уравнений в полных дифференциалах и криволинейных интегралов. Написанные в смысле популярности мастерски, они, пожалуй, являются самыми интересными и поучительными, ибо вводят читателя в круг труднейших вопросов высшего анализа и при том таких вопросов, которые имеют непосредственное отношение к математической физике. Действительно, физики и математики столкнулись с уравнениями в частных производных, лишь только стали изучать свойства сплошных сред, а фундаментальная для теории криволинейных интегралов формула Грина—изобретение ученого электрика—сапожника Грина.

К концу книги приложен краткий очерк теории определителей.

Из философски интересных замечаний, разбросанных по книге, отметим в заключение лишь одно, касающееся теории криволинейных интегралов. § 101 главы VI Борель озаглавил: «Интерпретация полного дифференциала. Принцип наследственности».

Дело в том, что значение интеграла уравнения в полных дифференциалах при некоторых условиях не зависит от пути интегрирования, а лишь от положений начальной и конечной точек. В общем же случае значение интеграла зависит от пути интегрирования. Борель пишет: «Для того, чтобы знать 2 (значение интеграла), недостаточно знать положение точки M, необходимо еще знать ее историю, другими словами, следует знать, через какие промежуточные положения прошла точка, когда она покинула свое начальное положение M₀».

Этот факт математик Вольтерра (Volterra) назвал принципом наследственности, ибо след прошлого сохраняется в настоящем значении функции. Можно подумать, что выражение «принцип наследственности» имеет чисто фигуральное значение, на самом деле оно заключает в себе глубокий физический смысл, который лишь постепенно выясняется развитием науки, которое увязывает самые, казалось бы, абстрактные математические факты и теории с конкретной действительностью. Действительно, всякий изучавший обычную теорию поля, например, теорию поля тяготения, знает, что в этом поле осуществляется упомянутая независимость функции (потенциала) от пути интегрирования. На этом именно свойстве потенциальной функции основан обычный вывод закона сохранения энергии в механике тяжести. Гельмгольц в основу своего знаменитого межуара о сохранении силы положил, именно, указанное свойство потенциала. Получается, таким образом, что тело, движущееся в поле тяжести, не имеет истории: по какой бы линии оно ни перешло из одной точки в другую, возрастание или убыль энергии совершенно независимы от пути, а являются лишь функциями положений точек. С точки зрения философии диалектического материализма такого рода обстоятельство представляется в высшей степени парадоксальным, ибо философия эта является по существу философией истории, так что, по замечанию Маркса, существует лишь одна общая наука—история, включающая в себе две основных части—историю природы и историю общества. В самом ли деле, однако, движение тела в поле тяжести не имеет истории, или, выражаясь математически, значение

потенциала не зависит от пути интегрирования? Прогресс науки дает на этот вопрос совершенно определенный ответ и ответ диалектический, а именно: независимость потенциальной функции от пути интегрирования является лишь приближительной и обусловлена большой скоростью распространения (равной, согласно некоторым основательным данным скорости света) процессов в эфире, вызывающих явление тяготения. Обычная теория тяготения была построена Ньютоном на принципе дальнего действия, т.е. мгновенной передачи действий тяготения через неизмеримые расстояния; современная теория тяготения зиждется на принципе близкого действия и скорости передачи действий тяготения, считает величиной конечной, равной, согласно некоторым теориям скорости света. Отсюда видно, что абсолютная независимость функции от пути интегрирования осуществляется лишь в сфере чистой математической абстракции, в действительности же всякая математическая функция, являющаяся отображением физического процесса, подчинена «принципу наследственности», т.е. истории. И хотя в первом приближении значение потенциальной энергии тела, движущегося в поле тяжести, зависит лишь от положения, но на самом деле оно зависит также от пути, т.е. от скоростей и ускорений. Установление зависимости потенциала от скоростей и ускорений является поэтому диалектическим завоеванием новейших теорий тяготения¹⁾. И значение материалистической диалектики в том, что она вполне отчетливо разграничивает принципиальные основы оценки значения физико-математических понятий и преодолевает консерватизм мысли ученых. Этот консерватизм так велик, что некоторым ученым представление зависимости потенциальной функции от скоростей и ускорений кажется чем-то парадоксальным, несмотря на почтенную давность этого представления (Вебер, Риман, Гаусс и др.) и на то, что это представление фигурирует даже в новейших учебниках²⁾.

3. Цейтлин.



¹⁾ См. по этому вопросу 3. Цейтлин, «Закон движения Энгельса».

²⁾ См. Аналитическую динамику Уайттекера.

СООБЩЕНИЯ и ЗАМЕТКИ

О созыве всесоюзной конференции историков-марксистов.

Быстрый рост марксистской исторической науки и то огромное значение, какое приобретает изучение истории в наши дни, ставят вопрос о необходимости созыва всесоюзной конференции историков-марксистов. Идя навстречу многочисленным пожеланиям, общество историков-марксистов созывает всесоюзную конференцию историков-марксистов наметило на 27 декабря 1928 года. Порядок дня конференции следующий:

1. Развитие современной исторической науки и задачи историков-марксистов—докл. тов. М. Н. Покровский.

2. Сообщения (информационного характера) о работе научных исторических учреждений: а) Общества историков-марксистов, б) Института Маркса и Энгельса, в) Института им. Ленина и Истпарта ЦК ВКП(б), г) сообщения с мест.

3. Секционные работы (Намечены секции: Истории России, Истории ВКП(б), Истории Запада, Истории Востока, Социологическая, Секция военной истории, Архивная и Учебно-методическая).

В задачи конференции входит подведение итогов развития современной марксистской исторической науки, выявление анти- и псевдо-марксистских течений и написание проблем, требующих своей научной разработки. Поставленные задачи, конечно, могут быть успешно разрешены только при условии самого активного участия историков-марксистов как в подготовке, так и в проведении конференции. Поэтому Общество историков-марксистов обращается ко всем его членам, а также и к историкам-марксистам, не входящим в него, приглашая их всемерно помочь Организационной Комиссии по созыву конференции. Эта активная помощь, прежде всего, мыслится в попытке в Оргкомиссию своих пожеланий о конференции, а также заявок докладов, которые будут заслушаны в секциях.

Секционной работе будет уделено большое внимание. Общество историков-марксистов поэтому обращается ко всем историкам-марксистам с просьбой прислать не позднее 1 октября заявки на свои доклады, а также тезисы к ним. Со своей стороны Общество историков-марксистов предупреждает, что 1 октября является последним сроком, после которого Орг. Комиссия приступит к рассмотрению заявок, назначению секционных докладов и предварительной рассылке тезисов утвержденных докладов. В работе секций особенное внимание будет уделено докладом многогородных историков-марксистов, и поэтому Общество просит всех многогородных товарищей присылать свои заявки на доклады и тезисы к ним.

Вопрос о форме представительства в настоящее время еще не решен и о ней будет сообщено дополнительно. Однако, ввиду того, что конференция ставит себе научно-исследовательские задачи, каждый член Общества историков-марксистов может являться делегатом конференции с правом совещательного голоса и принять активное участие в работах пленума и секций. Для тех же историков-марксистов, которые не являются членами Общества, право совещательного голоса будет предоставлено только по получении рекомендации того научного и учебного заведения, в котором он работает, и по утверждении его кандидатуры в Оргкомиссии. Занятия о желании присутствовать на конференции с правом совещательного голоса должны быть поданы до 1 ноября 1928 года. Общество историков-марксистов предупреждает, что никаких расходов по приезду делегатов, пользующихся совещательным голосом, оно на себя не берет.

Председатель совета Общества историков-марксистов М. Покровский.

Ученый секретарь Общества П. Горик.

Адрес Общества историков-марксистов:

Москва. Волхонка, 14, Коммунистическая Академия, Общество историков-марксистов.

Ответственный редактор А. Ш. Доборин.

Редакционная коллегия: { А. А. Максимов, М. Н. Покровский, Н. В. Стел, А. К. Тихомиров.

Издательство „ПРАВДА“ и „БЕДНОТА“

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ

на еженедельный иллюстрированный
литературно-художественный журнал

„ПРОЖЕКТОР“

Под редакцией: Н. БУХАРИНА,
Л. ШМИДА.

„ПРОЖЕКТОР“ на своих страницах помещает: рассказы, новеллы, стихи, очерки на самые разнообразные темы—политические, общественные, культурные, бытовые, исторические, научные.

В „ПРОЖЕКТОРЕ“ печатаются лучшие советские писатели и журналисты. Со всеми крупными пунктами СССР, Западной Европы и Америки налажена постоянная корреспондентская и литературная связь.

В „ПРОЖЕКТОРЕ“ печатаются исключительно художественные фотографии, отражающие события за неделю. Рисунки и фотографии печатаются в одну и в две краски.

В „ПРОЖЕКТОРЕ“ в отношении обработки, оформления и распределения материала введено много нового, что закрепляет за ним прочно установившуюся репутацию лучшего в СССР иллюстрированного еженедельного журнала.

== Во 2-м полугодии будут изданы ==
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМЕРА „ПРОЖЕКТОРА“

ДЕТСКИЙ, СУДЕБНЫЙ, КУЛЬТУРНЫЙ, ОКТЯБРЬ-
СКИЙ, К СТОЛЕТИЮ со дня рождения
Л. Н. ТОЛСТОГО и др.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 1 мес.—1 р.; 3 мес.—2 р. 90 к.;
6 мес.—5 р. 70 к.; 12 мес.—11 р.

ЗАКАЗЫ и ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ:

Москва, 9, Тверская, 48, Главная Контора Изд-ва „ПРАВДА“
и „БЕДНОТА“ во все провинциальные отдел. „ПРАВДЫ“
почтово-телеграфные конторы и письмовоносцам.